Луна, как паломница, бьется в экстазе.
Мы падаем, штурман. Тяжелой уздой
Нас тянет под воду без видимой связи
С попыткой полета над этой водой.

А помните, штурман, как мы обнимались,
Над дельтой стремясь вопреки маякам,
Мы падаем в воду и самую малость
Жалеем, что вряд ли увидимся там.

Опомнитесь, штурман, я знаю, я вижу,
Мы с вами счастливей не будем нигде,
И падая в воду, становимся ближе,
Нежнее и ближе в глубокой воде.

Евгения Голосова, «Летучий корабль»

VIRAGO

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В КОТОРЫЙ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ДВА СООТЕЧЕСТВЕННИКА МОНЫ АЛЕССАНДРИНЫ НЕВЗНАЧАЙ ОТМЕЧАЮТ ДЛЯ СЕБЯ ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЕЕ ПРИРОДЫ.

— Вот вам и Кастилия, мона Алессандрина, — сказал капитан. Поименованная моной Алессандриной подтянула к горлу меховые края очень широкого, очень теплого плаща, и скривила самый уголок рта. По этой ухмылке нельзя было понять, как показалась ей Кастилия, но капитану не это было важно. Важно ему было хоть что-то сказать молодой и знатной даме, вышедшей поутру на палубу его галеры — иначе он уронил бы себя в собственных глазах.

Шел первый рассветный час. По зимнему времени вокруг было серо и сыро. Туман сползал по низким берегам к воде. Беленые известью ограды нечастых подворий тонули в дыму, и воздух изрядно горчил.

— К полудню прибудем, — сказал капитан, полагая, что исчерпал себя, как собеседника, полностью.

Мона Алессандрина на продолжении беседы как будто и не настаивала. Она даже отступила на полшага от капитана, давая тому понять, что он волен хоть вовсе уйти.

Капитан не уходил. В его командах сейчас не было никакой нужды, с рулем справлялся помощник. Поэтому он остался возле моны Алессандрины и уставился на серую струистую гладь, казавшуюся наклоненной в сторону уже далекого моря, так что чернобокая галера словно бы взбиралась по реке, ровно выгребая рядами весел — по два с каждого борта. В промежутках меж всплесками слышно было, как над туго свернутым парусом и «вороньим гнездом» лениво хлопает отсыревший флаг со львами св. Марка.

Комкая рукой в узкой перчатке край капюшона, мона Алессандрина размышляла, и чем далее, тем более удручалась беспорядком в своих мыслях, коих было слишком много, и все о разном, ибо впереди ждали и мессер Федерико, посол венецианский при кастильском дворе, и сам двор кастильский, с королем, королевой и грандами, и дела при этом дворе. А дел этих окаянных не сделаешь, не разузнав до тонкостей того, о чем принято не говорить, но

догадываться. Мысли всю ночь не давали ей покоя, и на палубу она поднялась ни свет, ни заря, чтобы подышать свежим ветром и посмотреть на бегущую воду. Но вода, шелковисто-серая в отдалении, скользила под борта, становясь, как темное с прозеленью масло, под веслами плескалась приглушенно, словно боясь разбудить спящую сушу, а вместо ветра был горький на вкус туман.

— Знаете, мона, отчего здесь такой горький воздух? — неожиданно для себя нарушил молчание капитан, — это, говорят, оттого, что по всей Кастилии жгут на кострах еретиков.

— Паленое пахнет иначе, мессер капитан, — серьезно отозвалась мона Алессандрина, — если бы пахло паленым так сильно, как пахнет сейчас дымом, нам пришлось бы завязать лица мокрым полотном.

— Мона Алессандрина, вам доводилось видеть подобную казнь?

— Почти что. В моем имении сгорел свинарник.

Капитан поперхнулся и заслонил смеющийся рот кулаком.

— Говорят, здесь любят смотреть, как жгут, и лица себе не завязывают.

— Говорят, московиты любят всем на потеху бороться с медведем. У каждого свой вкус к зрелищу.

Капитан хотел было сказать на это, что прилюдное сожжение - не зрелище, но богоугодное и благочестивое деяние веры, так и называемое по-кастильски — auto de fe, однако предпочел промолчать, поскольку полагал, что моне Алессандрине это превосходно известно.

Галера все так же ровными толчками продвигалась вверх по словно бы чуть покатой водной глади. Берега мало помалу яснели, влажно темнела на них зимняя зелень, краснели черепичные кровли подворий. К дымной горечи примешался было густой запах хлеба, и тут же истаял. В туманной еще дали зазвякал колокол, и капитан с моной Алессандриной перекрестились.

На левом берегу в межхолмьи забелело стенами большое село, а у самой воды рядком расселись на коряжках рыбари с длинными удами. Один встрепенулся и выдернул рыбку.

— Вы, мессер капитан, как полагаете — можно ли доплыть до Индий через море Мрака?

— Мона Алессандрина, мне не доводилось плавать далее Тенерифа, — капитан похоронил в кулаке не самую добрую свою улыбку: он не любил, когда женщины расспрашивали о море. Сейчас начнется — про сирен да про морского черта.

— Я просто думаю, мессер капитан, что по здравому рассуждению там никак не может быть Индий.

— И что же там может быть по здравому рассуждению?

— По здравому рассуждению там должна лежать суша, такая же большая, как здесь, но никак не Индии, потому что иначе в мире не будет равновесия. И что это за мир: переплыл море, да сразу Индии.

— Ваше здравое рассуждение весьма любопытно, мона Алессандрина, — снизошел до одобрения капитан, — вы, верно, не чужды космографии.

— По правде сказать, я рассматриваю карту более, как картину, и сужу о ней, как судят о картине. Старые полотна, как известно, полны несоразмерностей, ибо живописцы не были еще столь искусны в изображении жизни и вещей. Возможно предположить, что наши космографы еще пока несведущи и неискусны, потому и карты несоразмерны, и Индии по их воле помещаются в двух неделях пути на Запад.

— Лик земной начертан Богом, что может быть соразмернее? А мы знаем лишь малую часть этого лика. Много ли муравей знает о роще, в которой у него муравейник?

Туман совсем исчез, и до самого окоема разостлалась зеленая, словно бы отдыхающая от людских страд и сует земля.

Капитан искоса присматривался к моне Алессандрине.

Мона была при гербе и свите, не дурна собой, белоручка, и, стало быть, дворянка, да не из бедных. Но по речам судя — кортезана или дочь кортезаны — дворянки впросте говорят редко, и еще реже снисходят до бесед с капитанами галер. В сомнение вводило ее родство с сиятельным послом мессером Федерико Мочениго, но мало ли «племянниц» делят с «дядюшками» кров и ложе? Как бы там ни было, но капитану, человеку учтивому, кой-что на своем веку читавшему и даже весьма прилично знавшему латынь, лицо и разговор ее пришлись весьма по нраву. Он подосадовал, что почти весь долгий путь до Кастилии мона Алессандрина из-за непогоды провела в каюте.

В облаках проступили голубые промоины. Села с колокольнями стали попадаться чаще, а по отлогим берегам зазмеились тропки и стежки.

Капитан рассказывал моне Алессандрине моряцкие побасенки, в меру сил стараясь придать им вид книжных фацетий. Мона смеялась.

В числе прочего капитан рассказал ей о торнадо, исполинском столпе из ветра, земли и воды: ему случилось однажды видеть, как такой вихрь разметал флотилию алжирских пиратов. Неспешно шествуя по линии окоема от одного корабля к другому, окутанный водяной пылью торнадо подхватывал их сужающимся охвостьем, чтобы через миг рассыпать вокруг себя веером черных обломков и раскоряченных тел.

Историй хватило до городских предместий.

Дома обступили реку стадом сбившихся на водопой краснопанцирных черепах. Изо всех выходящих к воде улиц несся гомон, то и дело прорезаемый истошным лаем или ослиным криком; на мутной береговой волне терлись бортами связанные лодки; вереницы ослов, чуть видимых под вьюками, понуро шагали за людьми вдоль пятнистых от сырости стен; босые дети вопили, скача по лодкам и замахиваясь друг на друга палками и клепками от бочек.

— Вот вам и город, как обещано, к полудню.

Тут с носа закричал лоцман, и капитану пришлось, поспешно извинившись, приняться за свои обязанности.

На галере стало адски шумно: звенели невпопад два гонга, орали капитанские помощники, хлопали плетки надсмотрщиков, бранились и громыхали цепями гребцы, истошно вопил лоцман, предостерегая от одному ему известных отмелей, глухо шипела вспененная веслами вода.

Вокруг сразу оказалось множество судов. Большие лодки, парусные и весельные, с надстройками и навесами, шли по течению и против, сновали наискось, переправляя с берега на берег всяческий люд и скарб. Только в воздухе не хватало каких-нибудь рукотворных летающих штуковин — подумалось моне Алессандрине, но не было рядом капитана, чтобы поделиться с ним этой занятной на ее вкус мыслью. Безмятежное облачное небо над кипящим красно-белым городом вовсе не придавало равновесия картине мира, и редкие вороны не могли исправить положения.

Внезапно заблаговестили во всех церквах. И все еще не было рядом капитана, чтобы пошутить: вот, мол, честь какова чернобокой нашей венецианской галере с меченосными львами на флагах и парусах. Впрочем, паруса свернуты, а флаг повис — ветра как не было, так и нет.

От скуки мона Алессандрина залюбовалась едущим вдоль по берегу всадником. Всадник, несомненно, был гранд. Черные перья на его шляпе колыхались в лад легкому шагу его белогривой арабской лошадки, на длинных попонах которой красовался герб — алый, но — ах! вот беда! — не разглядеть, то ли птица то ли зверь. За грандом рысила свита — пятеро отроков в одинаковых черных одеждах, и на одномастных изящных коньках. Народ перед грандом расступался, кланялся и сдергивал шапки, на ком были, а потом, разогнувшись, что-то кричал ему вслед, только не разобрать было из-за шума, что, тем паче ей, владевшей кастильским наречием лишь в той мере, какой достаточно для неторопливых светских бесед.

Гранд пришпорил лошадку, обогнал медлительную галеру, даже не глянув на нее, и свернул в устье широкой улицы, сплошь застроенной лавками. Моне Алессандрине отчего-то сделалось обидно за себя и за важную мадонну SERENISSIMA VENEZIA LA BELLA, пославшую сюда этот корабль, не удостоенный даже взглядом надменного гранда. Мона Алессандрина невольно оглянулась на уплывавшее за излучину устье улицы, куда он скрылся, и подосадовала, что не разглядела герба. Тут галера, уже давно исподволь замедлявшая ход, толкнулась форштевнем в мол. Палуба под ногами подпрыгнула, чуть не скинув мону Алессандрину в щель между бортом и молом, где крутилась и кипела пестрая от сора вода — мона едва за перильца успела схватиться обеими руками, и судно, поджав с одной стороны весла, точно остистый плавник, стало разворачиваться к причалу бортом.

Мона Алессандрина, самый ценный груз и красный товар, сошла на берег первая, опершись на капитанский локоть. За ней был прислан портшез, узкий, черный, глухой, точно стоймя стоящий гроб. Возле ждали носильщики посольские, в опрятном гербовом платье, поодаль переминались носильщики наемные, босоногие и загорелые дочерна, переступал копытами мул, взятый для камеристок, ибо прислуге знатной дамы не подобает бегать за ней вприпрыжку по уличной грязи. Мона Алессандрина забралась в портшез (ну точно, гроб, да дорогущий — весь шелком изнутри обит!), раздвинула самую малость занавески. Где-то сбоку покряхтывали носильщики, примеряясь к сундукам. Хихикали, елозя в седле, камеристки — двойняшки пятнадцати лет. Тронулись, наконец.

Рослый, бритый, рыжеватый, по виду и стати более римлянин, чем венецианец, мессер Федерико, сиятельный посол, сухо поцеловал ее в лоб и оглядел неулыбчивыми выпуклыми глазами. Дворянство покупное, ясно, как и подданство. И двадцать ли ей? Не меньше ль?

— Любезная моему сердцу племянница, — громогласно утвердил он ее в степени родства, — к несчастью, я здесь лишен общества моих дорогих детей, и потому не взыщите, если весь богатый запас поучений и наставлений достанется вам.

— Думаю, это пойдет мне только на пользу, достопочтенный дядюшка.

Мессер Федерико кивнул так, точно услышал и принял к сведению ответ своего секретаря, потом подставил ей локоть, такой же крепкий, как у капитана, и повел к столу.

— Кастильский двор — строгий двор, — наставлял он ее, отхлебывая из кубка и заедая местными крупными маслинами. Маслины были разрезаны вдоль, вместо косточки в них вложили копченый миндаль, — кроме того, это двор гордецов. Иные гранды имеют привилегию не снимать перед королями шляпы, и род их порой древнее и знатнее королевского. Таковы Альбы, Мойя, Медина-Сидония, Мендоса, Агилары... Они — самые большие гордецы во всей Европе.

Мона Алессандрина слушала вполуха – куда более ее занимал жареный фазан, нафаршированный потрохами дичи и пряными травами. “Кортезана!” — подумал мессер Федерико, исподволь наблюдая за ней, и отмечая в ней странную двойственность. Так, высокая, она казалась маленькой, нежной; светлые будто бы волосы временами холодно отливали темным; на вздернутом носу при повороте головы вдруг проступала горбинка; опущенное лицо казалось узким, грустным, но стоило ей вскинуть подбородок, и проявлялись широкие скулы, а в разлете бровей сквозила дерзость; белые кисти рук, с виду тонкопалые и слабые, вдруг выказывали быструю хватку и узловатую кривинку пальцев, и становилось заметно, что мона Алессандрина носит не самый маленький размер дамской перчатки.

— Двор так же не одобряет ничего хоть сколько-нибудь неблагочестивого. Не вздумайте шутить над священниками или рассказывать нескромные новеллы. В иных домах, впрочем, это можно – но только если сойдется круг избранных, которые доверяют друг другу. Что же до дел любовных, то все здесь скрыто от глаз, и даже о королевских привязанностях не говорят вслух, а если что выйдет наружу, то будет не миновать крови.

Мона умяла фазана, и, придерживая широкий рукав, потянулась к фруктам, окончательно утвердив мессера Федерико во мнении, что она — кортезана. В глазах ее было ожидание.

— Завтра после обедни, любезная племянница, я представлю вас одной особе. Это очень красивая и глупая дама, она англичанка, и находится в большой милости у королевы.

Мона Алессандрина кивнула так, точно услышала и приняла к сведению сообщение своего секретаря.

…Плоское пасмурное море казалось вязким, как полузастывший холодец – да и цвет был тот же. Темно-белая пена качалась на воде редкоячеистой рваной сетью – в каждой многоугольной ячее пласталась дохлая медуза, окруженная лохмами блеклой водоросли. Даже прибоя не было – студенистые воды приступали и отступали беззвучно, всего-то на две-три ладони накрывая слизистый галечник. Не было и птиц – воздух, пустой, как в первые дни творения, был очень низко затянут мучнистой пеленой. В гуще ее чуть просматривались долгие серые полосы, широко расходящиеся из какой-то одной точки за тугим морским окоемом – словно там, вдали, за земным горбом сплошное полотно тучи подымалось, как верхушка шатра, и провисало теневыми складками.

Ей еще не случалось видеть такого моря и такого неба: зрелище так захватило, что она даже не удосужилась задуматься – каким ветром ее занесло на этот берег, где серая щетинистая травка только в ста шагах от воды принималась обживать гальку, опутывая камни терпкой паклей своих корешков.

Спокойствие небес и вод казалось принужденным: она поймала себя на том, что чего-то ждет, скользя взглядом меж мягкой плотностью тучи и вялой плоскостью моря…

Торнадо. Слово явилось само, свободное от языка, к которому принадлежало, от значения, слишком простого (всего-то – вертушка!) для того, чтобы дополнять Имя. Имя единое тех трех или четырех темных извивающихся столпов, что кружили один возле другого – паслись – на открытой воде очень далеко от берега. Тонкие, сочетающие грацию угря и водоросли, уходящие верхушками в слепую небесную белизну – они не выглядели силой. Но, не отводя от них глаз, она ждала, жаждала увидеть, как сходящее у самой воды на нет ветряное охвостье подхватывает зазевавшийся кораблик и тянет в тугой ревущий круговорот, круша и кроша все, что мешает вращению – реи, мачты, киль, каюты, борта, шпангоуты – до тех пор, пока взбесившийся воздух не выбросит из себя шлейфом мелкие черные обломки и лягушками раскоряченные тела.

Но торнадо не сходили с места – по всякому клонясь и виясь, они продолжали пастись, дразня своей отчужденностью и силой - о которой она знала, и которой не чувствовала…

И ей еще подумалось: а бывает ли такое на самом деле?..

ДЕНЬ ВТОРОЙ

В КОТОРЫЙ МОНА АЛЕССАНДРИНА ПРЕДСТАВЛЕНА ДОННЕ ЭЛИЗАБЕТЕ МОРЕЛЛА Д’АГИЛАР, И ТА УДОСТАВИВАЕТ ЕЕ ОБРАЩЕНИЕМ «ДОННА».

Мраморные мостовые с водостоками и плывущие слева и справа портики были бы куда более к лицу сиятельному послу, чем разбитая мавританская вымостка и пестрые навесы над лавками и тавернами — думала мона Алессандрина, глядя на город, наполовину скрытый гордым длинноносым профилем мессера Федерико. К лицу ему было бы приветствовать встречного патриция кивком и поднятием руки, и морщиться, минуя плебейское сборище по пути на гонки колесниц или гладиаторские бои в Колизеум, высокий, огромный, круглый, как основа для Вавилонской башни.

Сиятельный посол следовал к обедне в больших конных носилках, и для этого пришлось выбрать самые широкие улицы.

Они опоздали и свои два почетных места заняли последними. Мессер Федерико был недоволен.

За высокими спинками скамей совсем не было видно темных обширных нефов, полных простого народа, а впереди — близко — сиял алтарь, где спешили с последними приготовлениями служки, и собор казался меньше, чем был на самом деле... Белоствольный лес витых колонн поддерживал своды, тонувшие в желтоватой мгле. Тонкий глянцевитый орнамент оплетал сплошной вязью полукупол над алтарем. Алессандрина вглядывалась в орнамент, по извечной людской привычке вычленяя из многих линий знакомые очертания — какой-нибудь пальчатый фиговый лист, или фигурку зверя. Очень скоро у нее заболели и набрякли слезами глаза, а орнамент заколебался и зарябил. Она отвернулась.

Настроения молиться не было - не шел из головы чудной сон про торнадо. Да она и не молилась, как люди молятся, полагая, что с Богом можно говорить только мысленно, да и то не во всякое время. Однако она весьма непринужденно и сосредоточенно проделала в течение часа с лишком, пока длилась месса, все то, чего ждут от набожной прихожанки, краем уха слушая, как бормочет молитвы мессер Федерико. Дома, стоя в церкви мессу, можно было заодно узнать все городские тайны. Здесь отвсюду текла слитная латынь, любое постороннее слово резануло бы слух, как тихо его не прошепчешь, любое лишнее движение, кроме земного поклона, было бы замечено. А стоило поднять голову, как проклятый орнамент всеми своими острыми углами впивался в зрачки.

Наконец, все хором выдохнули «Amen!», Алессандрина — с тайным облегчением, и тут же ее локтя коснулся предупредительно подставленный локоть посла:

— Какой странный собор, дядюшка, — заметила она, опустив для краткости «достопочтимого», когда они уже оказались на паперти, — все нефы одинаковы, и...

— Это бывшая мечеть, — оборвал он ее размышления, — если угодно, я вам расскажу после... Целую руки вашей светлости! — нараспев обратился он к рослой разряженной женщине, рядом с которой Алессандрина показалась девочкой, и с чувством приложился к милостиво протянутой руке.

Дама выжидательно улыбнулась.

— Вы с каждым днем расцветаете, ваша светлость... Позвольте мне представить — моя племянница, мона Алессандрина.

Алессандрина присела в низком-низком реверансе, помня, что кастильцы — ценители церемоний.

— Рада приветствовать вас, дон Федерико, и вас, донна Алессандрина, — дама в ответ поклонилась только слегка. Она говорила с очень сильным акцентом, и была красива. И глупа, если это о ней упоминалось вчера за обедом.

— Донна Алессандрина, прошу вас не брать пример с вашего дядюшки, и звать меня донна Элизабета, а не «ваша светлость», — видно было, что фраза далась ей с некоторым трудом. Алессандрина поблагодарила за честь.

Они сошли с паперти, раздавая монеты осаждающим со всех сторон нищим. Донна Элизабета была не слишком щедра, попрошайкам пришлось довольствоваться медяками. А внизу у ступеней донну Элизабету ожидала свита — не меньше двадцати всадников, и ее собственная белая арабская лошадка, на длинной черной попоне которой красовался герб — алый орел, с девизом: «Все что хочу — найду, все что найду — возьму!» Мессер Федерико помог донне сесть в седло, расцеловал ей на прощание руки и шитый стеклярусом подол, Алессандрина присела.

— Какова? — спросил он уже в носилках.

— Красива. Богата. Скупа. О ее уме я не успела составить мнения. Она грандесса?

— Да, грандесса. Маркиза Морелла и графиня д’Агилар. Действительно, богата. Не сказал бы, что скупа, но бережлива. И очень приближена Ее Высочеством, очень. Я бы сказал, чрезмерно приближена. Не проходит и дня без того, чтоб королева не сказала о ней доброго слова, а за королевой повторяет весь двор. Потому не скупитесь на добрые слова. Еще у этой дамы есть муж, но он нестоящий человек, хотя и племянник короля.

— Племянник короля?

— Незаконнорожденный сын его покойного старшего брата и какой-то мавританки.

Алессандрина покривила рот.

— И правда, нестоящий... Он красив?

Мессер Федерико хохотнул.

— Весьма. Но он со вчера в отъезде. Вы вряд ли его увидите.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.

Который мона Алессандрина посвящает незначащей, как кажется, болтовне

В просторном доме донны Элизабеты не было места словесным и иным вольностям. В нем царила, даже тиранствовала благопристойность одежд и речей. Зато повсюду было очень много золота и позолоты, отчего казалось, будто тонкий золотой туман стоит в неподвижном душистом воздухе высоких покоев, исчерченных по потолку тем самым орнаментом, от которого у моны Алессандрины заломило глаза в соборе.

Общество было пестро как одеждами, так и составом — обласканный светом астролог, двое молодых идальго, глядевшие на всех искательно и тревожно, дама в широкой юбке на обручах по образу и подобию королевы Хуаны; она никак не могла удобно усесться, все привскакивала, и явно прибыла из провинции, куда дошел слух о Хуаниных юбках, но не секрет их покроя. Была и доверенная подруга Ея Высочества, Беатрис де Бобадилья, маркиза Мойя. Она сидела поодаль в глубоком кресле с подушками, и неторопливо рассматривала одного гостя за другим, с таким выражением, с каким ребенок смотрит на ученых обезьян. Стоило оказаться под ее взглядом донне Элизабете, как лицо маркизы озарялось короткой холодной улыбкой, означающей видимость расположения.

Федерико подольстился к Элизабете, рассыпавшись в комплиментах. Та порозовела, внимая, отчего стала еще краше, и немедленно повела Алессандрину смотреть настоящий кастильский дом с патио, фонтанами, резными балконами, померанцевым садом в беленой ограде и мощеной фаянсовыми плитками асотеей. По пути донна Элизабета любезно объяснила гостье странную особенность арабесков: в них нельзя отыскать очертаний животного или растения, потому что магометанам запрещено изображать живое на мертвом. А если упорствовать и искать очертания, то в наказание разболятся глаза. Мона Алессандрина удивилась: почему, если наказание предназначено для неверных, глаза болят и у добрых христиан? Донна Элизабета пожала плечами, и сказала, что, по ее мнению, нечего вообще смотреть подолгу на арабески, потому что даже если ничего в них не ищешь, в глазах все равно рябит.

Как и всякий богатый дом, этот был полон челядью. Донна Элизабета полушутливо посетовала, что большинство прислуги без толку снашивает одежду и обувь. Будь ее воля, — сказала донна, — будь ее воля, она бы все тут устроила на милый ее сердцу английский лад, когда прислуги ровно столько, чтобы работы с избытком хватило на всех.

Кастильское наречие для них обоих не было родным, и от этого донна Элизабета чувствовала себя с моной Алессандриной проще, чем с остальными гостьями. Чем мона вскоре и воспользовалась, совершенно заболтав маркизу Морелла, так что прогулка по дому затянулась изрядно.

... Описав (с чьих-то слов) мраморную ванну герцогини Беатриче д’Эсте, куда горячая и холодная вода текут из золотых дельфиньих головок, и снискав восхищение маркизы итальянским rafine, мона Алессандрина стала рассказывать о вещах бесполезных, но забавных. В числе прочего - про камеру-обскуру, и про то, какая получается точность перспективы, если с оной камеры-обскуры зарисовать свинцовым грифелем, скажем, сельский вид. Донна Элизабета смутилась: перед ней была ученая женщина. О них она слышала много смешного. Однако гостья вовсе не была смешна — молодая, изящно одетая, ни на волос не отступающая от правил дворянского вежества, сыплющая словечками «камера-обскура», «квадрант», «астролябия», «космография», как иная сыплет названиями благовоний и сортов шелка. Впрочем, по одежде судя, с шелками она знакома не хуже, чем с астролябиями. Тут донна Элизабета решила, что ей, грандессе кастильской, теряться не к лицу, и сказала, что в Кастилии можно так же сыскать множество прехитрых вещей, о которых в Италии и не слыхивали — она чуть не взмокла, выговаривая эту фразу.

— Ловлю вас на слове, — улыбнулась мона Алессандрина, — мне говорили, будто в Кастилии у одного лигурийца есть странная карта, на которой указан путь в Индии через море Мрака. Возможно ли будет поглядеть на нее хоть одним глазком?

Донна Элизабета важно улыбнулась любознательной гостье и сказала что, конечно, возможно, хоть завтра, потому что дон Кристобаль, упомянутый лигуриец, человек небогатый, и от приглашения на прием с обедом не откажется. Кроме того, он весьма ценит просвещенное внимание.

…Она подымалась на полулысый песчаный взгорок. Жесткая травка росла на нем ершистыми кочками, которые ближе к вершине срастались в подушки. За спиной - она без всякой оглядки знала - должно быть плоское студенистое море с пасущимися вихрями. Но оно не пробуждало в ней любопытства. Вершина холма все загораживала обзор, как будто прирастала с каждым новым шагом: над ее жухлым горбом было видно небо, такое же близкое и безотрадное, как растущая перед глазами песчаная трава - словно не небо и было. Она прибавила шагу. И когда треклятая вершина таки оказалась под ногами, перед глазами все изменилось: склон полого уходил вниз - как на дно - на солнечную равнину. О расстоянии можно было судить по крошечным до смешного деревьям, неподвижным змейкам рек и тонкой сетке желтых дорог, небрежно брошенной поверх всего этого – но самого расстояния не чувствовалось. Ощущение было – будто модель (какие делают для наглядности зодчие из мха, песка и фольги) вплавлена дымчатое стекло – все под ногами, но рукой не достать. И еще она чувствовала, что к противоположному краю равнины (отсюда не видно) прилегает обычное море, синее в белых барашках, а возле моря разлегся город, и вот туда-то ей надо.

Она устремилась вниз.

Под ноги вскоре попала подходящая дорога, плотно укатанная, желтая и сухая, словно над ней неделю не выпадало дождя. Края туч сияли от солнца, тепло его уже уверенно легло на лицо, но само солнце все не могло вырваться на чистое небо – как она четверть часа назад не могла перевалить холм. А в спину поддувало холодком – верно, подумалось, он тек с верхнего плоского моря, где недавно – вдруг сообразила она – в полную силу буянили торнадо: оттого-то и мертвая зыбь с мертвыми медузами.

Равнина уже оттеснила холм. По верхушкам дальних рощ скользила граница между «ясно» и «пасмурно», своими изгибами выхватывая из тени отдельные деревья и бросая на них новую тень. Но она не могла догнать солнце, и все вокруг казалось поникшим: покосы с отросшей отавой, рощи, придорожные акации в тонком желтом налете на темной листве. Холодок все дул в спину, томя и тревожа, и когда она обернулась, то – увидела крутящийся столп серого тумана, подпирающий низкое – рукой подать – небо. Он был еще неблизко, но чем было это расстояние для него?

Она поняла – надо бежать, но ноги не слушались, словно в воде…

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

В КОТОРЫЙ СУПРУГ ДОННЫ ЭЛИЗАБЕТЫ, ДОН КАРЛОС, ТИТУЛУЕТ МОНУ АЛЕССАНДРИНУ «СЕНЬОРОЙ», ИЗ ЧЕГО ТА ЗАКЛЮЧАЕТ, ЧТО ДОН КАРЛОС ДОГАДАЛСЯ, КАКОВЫ ИСТИННЫЕ ЕЕ НАМЕРЕНИЯ.

Глубокое кресло с подушками, которое вчера занимала маркиза Мойя, сегодня было предложено моне Алессандрине. Благодарно улыбнувшись, та присела, поставила одну ногу на скамеечку, и раскрыла на колене аспидную доску, намереваясь делать заметки — на то она и ученая женщина из просвещенной Италии. Вокруг стола опять сидело полно дам, но, судя по нарядам и манерам, это были мелкотравчатые подхалимки, вьющиеся возле вошедшей в силу особы, как мухи возле тарелки с подридой. При виде вошедшего дона Кристобаля, лигурийца и морехода, глаза у них у всех заблестели одинаковым масляным блеском.

Дон Кристобаль начал рассказывать как будто с неохотой, понимая, что его позвали для забавы похотливых бездельниц, однако мало помалу он разошелся, и стал вдохновенен, описывая легкость и простоту нового пути в Индии, для отыскания которого нужно всего-то ничего. Краем глаза мона Алессандрина заметила, что сиятельная маркиза шевелит губами, точно считая в уме. Карта лежала на столе, очень четкая, большая, желтоватая. Дон Кристобаль то и дело указывал на нее, дамы тянулись, разглядывая. Грифель моны Алессандрины беззвучно танцевал по аспидной доске, черта за чертой перенося на нее контуры Иберии, колючую розу ветров, тонкую градусную сеть, стрелы течений, россыпь островов — не все, конечно, что было на карте, только самое главное. Те, кому надо, разберутся в наброске. Рука чертила, а уши внимали. Дома она запишет по памяти основное из услышанного, и приложит к наброску, скопированному с доски на тонкую бумагу.

Покончив с черченьем, мона Алессандрина принялась украшать карту завитушками и дополнять подробными разъяснениями, что как называется, и почему так, а не иначе. Донна Элизабета иногда косилась на аспидную доску и пребывала в явном восторге от способностей гостьи к рисованию карт. Мона Алессандрина в душе посмеялась над ней.

— Дон Кристобаль, вы, как всегда, великолепны и убедительны. — Сказал мужской голос у нее за спиной. Вздрогнув, она обернулась, а мужчина, улыбаясь, продолжил:

— …так великолепны и столь убедительны, что никто из благородных дам не соизволил меня заметить, даже моя супруга. Право, вы рискуете жизнью, ибо в ревности я страшен.

Донна Элизабета рассиялась в счастливой улыбке и встала к нему навстречу. «Ба, да она его любит!» — пронеслось в голове у моны Алессандрины, — «Мадонна, да он стоял прямо у меня за спиной…» А то, что он красавец, каких мало, она не отметила даже про себя.

— Муж мой, я приветствую вас дома. Позвольте представить, донна Алессандрина, племянница дона Федерико Мочениго, посла венецианского. Я теряюсь при виде ее совершенств.

— Первейшим из которых, несомненно, является ее красота, — маркиз склонился перед Алессандриной очень низко, словно перед коронованной особой. «А он ее не любит…» — эта мысль не мелькнула в голове Алессандрины, а пришла и осталась.

— Ее ученость стоит наравне с ее красотой, — парировала донна Элизабета. «При всей своей любви спуска супругу она, видно, не дает».

— И мы должны быть благодарны мадонне Венеции за сей образец восхитительной гармонии...

Человек с лицом падшего ангела целует ей руки и говорит двусмыслицы, которые щекочут сердце, как ядовитые волосы медузы… Медузы… Мертвые медузы на пенной воде. Свитые из ветра столпы, один из которых, преодолев рубеж суетного дня, оказался у нее за спиной…

Откуда он тут взялся, если должен был уехать? Почему вошел так тихо? Почему следил за ней? — а ведь следил же, и давно. С первых штрихов на аспидной доске.

— Сеньора Алессандрина, я полагаю, впервые в Кастилии?

Ловко же он подменил «донну» на «сеньору». Так можно назвать и дворянку, и торговку, и девку.

— Да, ваша светлость. Моя родня решила, что мне стоит посмотреть мир.

Улыбка. Еще улыбка. Полудетская. Застенчивая. Чуть-чуть испуганная. Я просто ученая девица, ваша светлость, не более того, я ученая девица из Венеции.

— Мы здесь еще не привыкли к столь открытым нравам. Возможно, наши дети… — маркиз повел глазами в сторону жены. Та расцвела. Боже, как она его любит. До смерти.

Дон Кристобаль почувствовал себя лишним. Он стоял возле стола и большими белыми руками бережно сворачивал свою карту, которая так удачно перешла на аспидную доску ученой венецианки.

— Прошу простить, дон Кристобаль, я прервал вас, — обратился маркиз к мореходу, — но вежество требует представиться даме.

— Я уже закончил, — ответил лигуриец, — и благодарю вас за гостеприимство.

— Еще рано, — улыбнулся маркиз, — я полагаю, ожидается пиршество, не так ли? — повернулся он к супруге. Донна Элизабета с готовностью подтвердила.

— Тогда прошу вас, сеньора Алессандрина, и вас, сеньор Кристобаль, — лигурийцу достался приглашающий жест, Алессандрине — изящно отставленный локоть хозяина. Она оперлась. Рука ее не была тверда.

Он почувствует дрожь и почует страх, непременно.

У него дюжина личин, не меньше. Одна личина показывает, что он ничего не заметил. Другая дает понять: «Я знаю, почему ты дрожишь. Ты дрожишь, потому что я так красив, так близок и так недоступен». Третья намекает: «Я раскусил тебя. Ты знаешь это. Ты боишься меня и правильно делаешь». Четвертая усмехается: «Маленькая куртизанка, прибавляющая себе годы, покупающая в долг дворянство и подданство, тебе ли дурачить меня?»

Однако по здравом размышлении Алессандрина решила, что мнительность может сослужить ей плохую службу. Лицо маркиза в конечном счете было вполне приветливым, и на поверку он мог оказаться зауряднейшим вельможей, что женат по расчету на богачке ниже себя по положению. Само собой, он поднаторел в куртуазных беседах, отчего его речи и кажутся двусмысленными. И вообще не стоит думать о плохом, иначе это плохое непременно случится. И к черту сны - этаким ни в одном соннике не сыскать толкования.

— Скажите, сеньора Алессандрина, а может ли венецианская дама благородного происхождения занять место дожа?

— Нет, ваша светлость, ибо женский разум не годится для управления, — мона Алессандрина улыбнулась, всем своим видом дав понять, что отнюдь не убеждена в только что сказанном, а всего лишь повторяет общепринятое.

— Однако, это несправедливо! Вы, венецианцы, так гордитесь вашим государственным устройством, а меж тем ваши дамы лишены права, которое есть по крайней мере у женщин королевской крови — занять престол. Между прочим, вы напрасно так низко цените ваш разум. Пример королевы донны Исабель доказывает, что женщина на престоле может управляться не хуже иного мужчины.

— Королева донна Исабель — исключение, подтверждающее правило. Женщины иногда бывают тверды, а мужчины напоминают плаксивых баб, это случается. Но это редкое явление, свойственное временам упадка. Если вспомнить Рим…

— Не будем поминать Рим. Сейчас, слава Богу, времена иные. Но тем не менее, сеньора, мне кажется, что вы из твердых женщин, и мысль о власти не может не искушать вас.

— Я видела властьимущих так же близко, как вижу вас. По моему мнению, в их жизни нечем искушаться.

— Ваша рассудительность делает вам честь. Я не премину передать это вашему дядюшке.

— Вы его премного тем порадуете, ваша светлость.

Маркиз слегка наклонил голову. Алессандрина сообразила, что, собственно, они уже давно предоставлены друг другу в полутемном углу большой гостиной залы: донна Элизабета с другими гостьями азартно играли в кости на мелкие монетки, дон Кристобаль, должно быть, насытившись, исчез вместе со своей картой.

— Вы позволите? — маркиз указал на аспидную доску, которую она так и держала на коленях.

— Разумеется.

Некоторое время он всматривался в карту, молча. Потом полюбопытствовал:

— Вам это полезно в ваших занятиях?

— Это курьезно. Я люблю все курьезное.

— Нарисовано умело.

— Мой дедушка был большой чудак. Он хотел внука, как и многие дедушки, и потому учил меня тому, чему учат обычно мальчиков.

— Не всякого мальчика учат космографии.

— Он был чудак, я говорю. Учить меня бесполезным для женщины вещам было единственным доступным ему утешением… Да то еще, что я схватывала все на лету.

— И как вы полагаете, можно ли так добраться в Индии?

— Не знаю. Но это любопытно. И дон Кристобаль так об этом рассказывал, что поневоле начинаешь верить.

— Дон Кристобаль этим кормится. В прямом смысле слова. Признаться, если бы мои дела не находились в некотором расстройстве, я бы всячески споспешествовал ему. Но, увы. — Маркиз слегка вскинул брови, развел руками. — Кстати, я слышал, Венеция тоже проявляет любопытство к сему начинанию…

— Возможно. Очень возможно. Венеция стоит не на земле, а на палубах своих галер.

— Хорошо сказано. Вы, вероятно, владеете пером не хуже, чем грифелем, сеньора?

— Иные хвалят мой стиль, чем вгоняют меня в краску.

— Я мог бы дать вам некоторую пищу для ваших заметок, ежели вы склонны их вести.

— Ваша достойная супруга будет ревновать, ваша светлость. Она не производит впечатления смиренной.

— Вы верно угадали, она не смиренница. Но мои дела нимало ее не касаются. Если вам угодно увидеть Кастилию так, как она видна кастильцу, я завтра же готов сопровождать вас куда угодно и рассказывать вам все, о чем вы не попросите.

— Это очень лестное предложение, ваша светлость…

Блеск его глаз слепил. То есть, его блестящие черные глаза, изящно удлиненного разреза, с темными веками, были непроницаемы для самого острого взгляда. Он говорил мягко и тихо, но — он говорил, а ей оставалось поддакивать или в лучшем случае прикрываться самыми общими словами. Он был красив, но его близость ощущалось не как близость человека, изо рта которого исходят теплые запахи еды и вина. Во время исступленной бессловесной молитвы порой нисходит на темя и плечи тяжкое дуновение с небес. Нечто подобное — тяжесть и трепет — в его присутствии, в его вопросах, в его ярких глазах.

«Поблагодарить, согласиться и откланяться — сейчас» — поняла она так четко, словно бы кто-то подсказал ей это.

Дома, едва переодевшись в свободное распашное платье, она уселась перерисовывать карту дона Кристобаля. За этим занятием и застал ее мессер Федерико. Он глянул через ее плечо в карту, и губы его округлились, изготовясь сказать удивленное «О!», округлились и глаза. Промолчал он только потому, что боялся помешать ей вычерчивать берег Иберии.

— Вот так племянница у меня выросла! Неужто прямо там и срисовала?

Она кивнула и отложила сухое перо.

— Далеко пойдешь. Заканчивай. Завтра отправим с курьером и с голубком.

— Скоро ли будет галера, дядюшка?

— Дней через десять, не раньше. Уж потерпи, — успех настроил посла на благодушный лад, — развлекайся покуда, племянница. Мы тебе откроем кредит. Мавританское золото здесь куда как хорошо, и можно взять задешево.

— Дядюшка… — она помедлила, запоздало раздумывая, стоит ли рассказывать, пришла к выводу, что защита посла венецианского в нынешних обстоятельствах будет нелишней, и призналась, — я имела честь свести знакомство с супругом донны Элизабеты. И прошу вас рассказать мне о нем подробнее, потому что моя скромная персона его не в меру заинтересовала Да и его персона мне небезынтересна.

— Откуда он взялся? Как я слышал, он должен был уехать…

— Вот и я думаю, откуда? — произнесла мона Алессандрина таким тоном, словно посла обвиняла в несвоевременном возвращении маркиза.

— В чем именно выразился его к тебе интерес?

— Наотвешивал мне комплиментов, и сказал, что готов сопровождать меня везде и всюду. При том сказал так, что отказаться было невозможно.

Посол стукнул себя кулаком по раскрытой ладони.

— Очень даже возможно было бы отказаться! Сказала бы, что я не позволяю.

— Он грозился и вам напеть похвал в мой адрес. Наверное, он не постеснялся бы испросить у вас разрешения на прогулки со мной. И вы бы ему не смогли отказать, дядюшка. Все-таки он родственник короля.

Посол какое-то время хмуро молчал. Потом сказал:

— Ладно, не волнуйся. Интерес его скорее всего самого обычного свойства. А если станет совсем невмоготу от его ухаживаний, уедешь в Лисбону, поплывешь домой оттуда. Рекомендательные письма я дам…

— Все-таки, что он за птица?

— До недавнего времени был той самой птицей, которая на его гербе. И поступал точно по своему девизу. А сейчас он свои обломанные когти весьма искусно прячет под мягкими перьями, и даже может казаться грозным, как показался тебе. Но если знать обстоятельства, это впечатление рассеется.

— О какой же камень он обломал когти?

— Представь себе, об одну девицу. Девица была небесной красоты, родом из Англии, и приданого у нее хватило бы скупить пол-Кастилии.

— Элизабета?

— Ее кузина. Эта история достойна мессера Мазуччо. Я бы тебе рассказал, да не хочу отвлекать тебя от карты. Тебе хватит терпения дождаться утра?

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

В КОТОРЫЙ МОНА АЛЕССАНДРИНА И ДОН КАРЛОС НАХОДЯТ, ЧТО У НИХ МНОГО ОБЩЕГО.

— Итак, донна Элизабета до своего счастливого замужества жила в Англии, в городе Лондоне, в доме своей кузины. Кузину эту звали Маргарита, и она была красы несказанной девица, отменно при этом воспитанная. Отец у нее был первым негоциантом в Англии, богат, как Крез Лидийский, вел дела со всей Европой. А жених ее был из бедных рыцарей, работал помощником у ее отца, говорят, ради того только, чтобы видеть ее каждый день. Так вот, отец Маргариты родом был из Кастилии, у него и фамилия была в честь этого Кастелл. А из Кастилии он бежал давным-давно, мальчиком еще, со своим отцом-иудеем. Оба они

крестились, но младший Кастелл был покрепче своего отца. На людях он божился и крестился, как добрый христианин, а дома имел иудейскую молельню. В Англии до этого дела никому не было, там народ не слишком богомольный. А кастильской короне до всего есть дело, особенно до чужих денег. Про отступничество его прознали, и выяснить это наверняка отправился ни кто иной, как маркиз…

— Выяснять, как молится простой купец? — мона Алессандрина приподняла брови, и нацепила на двузубую вилочку ломтик рыбы. Посольский завтрак проходил в приятной желудку неспешности.

— Не простой, а очень богатый купец. Но, разумеется, его светлость ехал не только за этим. У него были и другие важные дела в Англии. В те времена был он холост и в большом фаворе у своего дядюшки. А слава у него была такая, что если девушка проводила с ним полдня, то в чести ее уже можно было усомниться. И угораздило его влюбиться в эту самую Маргариту. А она, к слову сказать, и не знала, кто у нее отец и как он молится, потому что старый Кастелл был человек весьма скрытного нрава. Маркиз предложил ей руку и сердце и, по слухам, чуть ли не корону Кастилии и Арагона, которую клялся вскорости для нее добыть. Такой-то у дона Фернандо верный гранд и любящий племянник. Маргарита выслушала все это и отказала — под тем предлогом, что помолвлена. Нравом пошла в отца. Маркиз — к старому Кастеллу. И тот отказал, хоть это уже было опасно в его положении.

Тут наш влюбленный обратил внимание на Элизабету, но не для того, чтоб утешиться, а для того, чтобы заполучить Маргариту любой ценой. Элизабете он пообещал, что похитит ее, увезет в Кастилию и женится. А та влюбилась в маркиза с первого взгляда, и, ясное дело, согласилась. Он тогда везде растрезвонил, что покидает Лондон в большой печали, и корабль его видели плывущим вниз по Темзе к морю. А на самом деле корабль встал в затоне неподалеку от города. И однажды Маргарита получает письмо, писаное от имени ее отца, но не его рукой. А в том письме сказано, что ее отец, находясь по делам в порту, упал в трюм своего судна, сильно расшибся и просит ее приехать немедленно. Дело было уже вечером. Маргарита в большом горе собирается ехать, зовет с собой Элизабету. А Элизабета в это время получает другое письмо, где написано: «Поезжай с кузиной, сопровождающий привезет вас на мой корабль, ее я отправлю обратно, а тебя увезу…» и подписано «К. д’А.». Так девицы попали вдвоем на кастильский корабль. Ясно, что у маркиза было намерение отправить на берег Элизабету, но Маргарита, поняв, в чем дело, так в нее вцепилась, что растащить их не было никаких сил. Поплыли они в Кастилию вместе, а за ними в погоню пустились отец Маргариты и ее нареченный на доброй английской посудине, которая тоже звалась «Маргарита», в честь красавицы.

У берегов Гранады их застигла буря. Англичане решили взять корабль маркиза на абордаж, и было взяли, да тут порвало канаты, и корабли разнесло. Не знаю точно, как там было дело, но и обе дамы, и нареченный Маргариты оказались в Гранаде, во дворце, который принадлежал когда-то матери маркиза, а потом ему. И праздновать бы маркизу победу, если б у него в доме не нашлось одной ушлой бабенки из простых, которая одно время с ним спала, а потом ему разонравилась, и он ее разжаловал в прислужницы. Бабенка эта решила ему насолить и устроила вот что: подговорила нареченного Маргариты для вида от нее отказаться, а Маргариту — для вида согласиться на брак с маркизом при условии: прежде чем состоится венчание, увидеть, как ее нареченный и ее кузина Элизабета выезжают из ворот. Отец Маргариты в это время скрывался в Гранаде у своего товарища-иудея. Ну а дальше эта самая бабенка просто-напросто подменила Маргариту на Элизабету. Перед тем она раскрасила Элизабету так, чтобы та походила на кузину, а повелителю своему маркизу подмешала в вино какое-то зелье, чтобы он черного от белого наверняка не отличил. Так он и женился на Элизабете.

Все бы еще обошлось, признай он этот брак. Элизабета — дама видная и достойная. Но он решил вернуть свое сокровище, Маргариту, и ради этого уже ничем не брезговал. А Маргарита пожаловалась на него государыне, и помянула между делом, что-де обещал он ей

кастильскую корону… Государыня созвала суд, на который вызвала и маркиза, и Элизабету, и нареченного Маргариты, и саму Маргариту, и ее отца. Тут уж они все сцепились, как сведенные. Маркиз говорит, что отец Маргариты — иудей, и что Элизабета — служанка. Элизабета — руки в боки, и наизусть всех своих предков до двенадцатого колена, а они у нее и впрямь благороднее не бывает, только бедные, как церковные крысы. Нареченный Маргариты кричит, что маркиз напраслину на них возводит, и что Кастеллы испокон веку добрые христиане, никак иначе. Порешили: Кастелла, как иудея и отступника, в инквизицию, Маргариту и нареченного ее Питера поженить, а наследующий день после их свадьбы назначить смертный бой между Питером и маркизом за честь Элизабеты. В случае, если Питер победит, Элизабета считается честной женщиной, и маркиз обязан признать ее своей женой, а в случае, если маркиз, то… Маргарита остается вдовой, а Элизабета — обесчещенной.

К слову сказать, Питер этот настоящий мужчина, потому что он потом тестя своего Кастелла от инквизиторов отбил прямо во время процессии. А за день до того смотреть на поединок Питера с маркизом сошлось полгорода. И вышло так, что англичанин чуть не убил маркиза при всем честном народе, да и убил бы, если б не Элизабета. Она своего муженька грудью заслонила. А поскольку он лежал без памяти и не мог вслух признать Элизабету честной женщиной и своей женой, то это за него сделала королева. Да еще и слово она за него дала, что со своей законной супругой он судиться более не станет под страхом позора и бесчестья. С тех пор маркизу проходу нет от насмешек. Все насмехаются, кому не лень, и знатные, и простые. Сама Ее Высочество королева тон задает. Он и уехать-то хотел, потому что двор сюда на днях прибывает. Бог знает почему вернулся… Да никак ты его жалеешь, племянница? Вот новости, право!

Алессандрина оторвала взгляд от опустевшего витого бокала, на дне которого что-то усердно рассматривала.

— Я себя жалею, дядюшка, только себя. Если он догадался, для чего я упражняюсь в черчении, то он меня в порошок сотрет за те десять дней, что я жду галеры.

— Я тебе сказал — будет невмоготу, уедешь в Лисбону. А его я отправлю в Пиренеи. Пусть там тебя поищет.

Мона Алессандрина сидела за книгой, как за арфой или за прялкой. Солнце косо падало на страницы. Это была тисненая книга, по бумаге судя, из свежих, на итальянском языке. По движению зрачков Алессандрины было заметно, как быстро она читает — так читают срочные донесения, а не ученые книги.

Заслышав шаги, она подняла голову. По мимолетной краске на ее щеках он понял, что она знает, что ей рассказали. И вдруг очень явственно увидел, как крепкие руки королевского экзекутора рвут с ее плеч этот открытый ворот, стаскивают разодранный лиф до пояса, а тут же рядом ровно дышат мехи возле жаровни, и секретарь покусывает кончик пера.

«Верно ли, сеньора Алессандрина, то...»

Нет, гнев не хлынул в голову, как бывало.

Зимние бури заперли ее тут на две недели, не меньше. Донесение, всего скорее, уже отправленное, пока-то дойдет, пока-то ляжет на стол к сенаторам, пока-то они решат, что им делать с прытким лигурийцем... А зоркие очи стражей тем временем будут приглядывать за каждым трактом, за каждой горной тропой, за каждым пролетающим в вышине голубком. Нет, стражи не станут прикидываться разбойниками и отбирать бумагу, пренебрегая в спешке кошельком. Ночью, в теплой венте, потихоньку вытянут из сумки депешу, снимут копию, и положат на стол к Их Высочествам. Те распорядятся крепко стеречь лигурийца от венецианских стилетов, а с ученой девой будут говорить не разряженные дурехи, а коррехидор.

— Какая неожиданность! Вы застали меня врасплох, ваша светлость. Ведь я даже не одета для приема гостей!

Э, нет, сладчайшая донна, э, нет. Вы из породы всегда одетых. Вас действительно разоблачат только в пытальной зале. И когда холодный пот закапает с вашего трясущегося подбородка, тогда вы окажетесь по-настоящему голой, моя сладчайшая донна Алессандрина, даже если с вас еще не успеют ничего снять.

— Моя донна, ваша краса — лучшая из возможных одежд.

Что с ней церемониться? Достойная дворянка едва ли изберет себе ремесло лазутчика. Женщину благородную толкнуть на это может лишь позорная нищета ее семейства. А вот многие простолюдинки прямо-таки жаждут выкарабкаться из низов – и ничем не брезгуют. Для хорошенькой простолюдинки (а эта Алессандрина – весьма хорошенькая особа) путь наверх пролегает через постели ее покровителей. Наверняка она приторговывала собой с самой нежной юности, лет этак с двенадцати. Так что проглотит она и такое, и не такое еще проглотит с благопристойной улыбкой на безмятежных устах. Вот, улыбается.

— Донна, по правде говоря, меня гложет любопытство: написали ль вы что-нибудь о вчерашнем дне? Мне случалось читать много разного, но женщины на моей памяти сочиняли только любовные письма, даже славная Элоиза не исключение. Я слышал об итальянских ученых женщинах, чьи философские опыты не уступают трактатам, написанным мудрейшими из мужей, но, признаться, вы первая, с кем я знаком…

— Я намеревалась писать сегодня. Вчера у меня не было настроения. И потом, ваша светлость…

— Просто дон Карлос…

— Дон Карлос, я вовсе не ученая женщина. Я всего лишь очень любопытна, и люблю кое-то записывать на память, потому что при всем моем любопытстве ум у меня рассеянный. А ученые женщины, о которых вы говорите - это княжеские жены и дочери. У них довольно и времени и денег для занятий наукой, ибо знания для них — часть приданого. Иному просвещенному князю приятно жениться на женщине, которая знает непременно пять языков, три живых и два мертвых. Вот бедняжек и учат с детства. Я же не изнуряю знаниями своего ума.

— А правда ли, что среди продажных женщин тоже довольно ученых?

— Правда. Мне случилось говорить с двумя или тремя, когда по наивности я приняла их за знатных дам. Они все жаждут походить на гетер древности, чтобы в постели рассуждать о высоком.

— Это должно быть забавно, — он позволил себе полуулыбку.

— У меня не было случая проверить, дон Карлос, — ответила она тремя четвертями улыбки, причем на левый уголок рта приходились две, а на правый — одна четверть, — и не кажется ли вам, что вести такие разговоры наедине — не вполне скромно.

— Прошу покорнейше простить, любезная донна, но мне кажется, что самые скромные разговоры с вами могут завести весьма далеко. Ведь я всего только спросил вас, написали ли вы что-нибудь о вчерашнем дне…

— Как я могу не простить вам?

— Я не знаю, из чего ваше сердце. Может так случиться, что оно — из адаманта, и тогда вы не простите мне ни слова.

— У меня самое обычное женское сердце, размером чуть побольше кулака. И оно бьется, как то полагается сердцу. Иногда оно бьется неровно и часто, иногда редко и сильно.

— Быть может, вы еще сами не знаете вашего сердца. Как бы там ни было, донна, я намерен исполнить мое вчерашнее обещание и для начала показать вам город.

— Я в полном вашем распоряжении, дон Карлос.

Она подумала, что не грешно было бы испросить у дядюшки позволения отправиться в больших посольских носилках.

Благовест к обедне застал их возле небольшой церкви. Маркиз попросил остановить носилки; они вышли. Церковь казалась небогатой: только двое нищих стояли на узкой

паперти, против обыкновения молча ожидая подаяния. Видимо, дон Карлос хорошо знал эту церковь. Он сразу указал моне Алессандрине на незаметную нишу в тени большой раскрашенной статуи св. Иакова Компостельского. Как нарочно, там оказались два плетеных стульца и две скамеечки.

Вот уж тут мона Алессандрина помолилась от всей души. Но, молясь, не забыла с изяществом танцовщицы исполнить весь ритуал вставания, усаживания, осенения себя крестом и преклонения колен на скамеечку.

При церкви был садик, куда после мессы они вышли через боковую дверь: два ряда тополей, оплетенных вялым плющом, и в дальнем углу — каменная скамья.

— Присядем на минуту, прошу вас.

Она покорно опустилась на скамью, подобрав зимнюю бархатную юбку цвета спелого граната.

Понимает ли она, что он догадался, сразу, в тот миг, как увидел летающий по доске грифель?

Если не понимает, то — глупая девчонка, возомнившая себя Далилой или, спаси Бог, Иудифью. Если же она поняла…

Он представил, как при каждом его слове сжимается ее нежное нутро, как вздрагивает ее сердце размером чуть побольше кулака, и жаркая влага выступает под платьем меж лопаток, там, где так легко рвется кожа от удара бичом. Но как она держится, как держится, ни на йоту не меняясь в лице!

— Донна Алессандрина, вы ведь уже отправили ваше донесение о доне Кристобале Колоне Совету Десяти?

Дуновение страха скользнуло по их лицам, и он почти ощутил, как от темени до пяток ее пронизала тягучая дрожь. После — безмолвие между ними и слитный слабый гул торговой площади за церковной оградой.

— Да, ваша светлость. Потому и не писала своих записок, что надо было готовить донесение, — сказала она сухо, точно докладывая начальству.

Так — он ожидал и не ожидал. А она спросила:

— Что вы теперь намерены предпринять, ваша светлость?

Чтоб дьявол ее побрал! Ну, девка…

— Ничего, любезная донна, ровно ничего, что могло бы вам повредить, — сказал он, придвигаясь ближе к ней, — мне просто хотелось проверить свою догадку, не более. Донна, мы с вами одинокие люди, не знаю, как вы, но я чувствую одиноких. А поскольку мы одиноки, то должны быть ближе друг к другу, а не… — быстрым движением обеих рук от сжал ее запястья и приник к ее губам, заглушив тихое «Ах…».

Он не понял, когда ослабил хватку. Тонкие пальцы, звякнув перстнями, сплелись у него на затылке. Все накренилось: она осела на скамью и его потянуло за ней. Он опомнился, когда целовал ее шею, высокую, чуть выпуклую на горле.

Белый день, церковный садик, стена церкви, где была крещена – и похоронена его мать, где могила и его сына. Женщина в его руках. И что же сейчас? Просить на коленях прощения? Отряхнуть сор и сухую листву с ее гранатового подола? И то, и другое, и третье, и многое, многое…

Она открыла глаза и он излишне торопливо помог ей сесть.

— Вы целовали меня или ее?

— Я целовал женщину. Впервые, после того, как… После всего, что случилось. Но этой женщиной стали вы. Довольно ли будет такого ответа?

Она мелко и часто закивала. Или затрясла головой? Или начала дрожать, как бывает, когда самое страшное позади? Позади? Да, позади. Он никому не скажет о той, что сцепила пальцы… Ведь не от страха, не от страха. Цепенеют от страха, а не сцепляют пальцы, замыкая объятие. Он взял ее за руку.

— Донна, моя история вам известна. Я понял это по вашим глазам, едва только вошел к вам сегодня…

Она склонила голову почти скорбно.

— Я не хотел бы ее рассказывать еще и потому, что легко могу оказаться пристрастным. Лучше знать друг о друге худшее, и из чужих уст, тогда разочарования будут взаимно приятны. Но вашу историю я хотел бы услышать от вас. Больше, правда, и не от кого. Ваш дядюшка, полагаю, знает столько же, сколько и я.

— Пойдемте в церковь… Здесь холодно.

Теплый после службы воздух овеял лица. Они сели в той же нише за статуей святого.

— Моя история? Ну… Воспитала меня матушка. Имя ее мона Амброджа, сама себя она называет честной вдовицей.

— А на деле?

— На деле живет она без мужа, сколько я себя помню, а умер он, сбежал, или вовсе его не было, она мне никогда не говорила. Жили мы поначалу в предместье Флоренции, в доме у тетушки, как она ее называла, а была ли тетушка тетушкой, я тоже не знаю. Но ко двору Медичи они обе были допущены и почасту там пропадали. Меня туда впервые вывезли, когда мне стукнуло десять. Мессер Лоренцо Медичи поцеловал меня в лоб и сказал, что скоро я буду дама. Не знаю, были ли у моей матери мужчины, она была скрытная, но мы жили безбедно. Дон Карлос, вам ведь нужна вся правда обо мне?

— Да, — сказал он, холодея.

— Хорошо… Когда мне исполнилось двенадцать, мать решила, что надо сделать из меня кортезану. Наверное, у нее деньги к концу подходили. Она тогда была уже не первой свежести, и ремеслом этим сама промышлять не могла. Приданого у меня не было: городскую кассу, из которой бесприданниц ссужают деньгами, мессер Лоренцо растащил на свои празднества. Можно бы в монастырь, да обители у нас — те же лупанарии, только денег не платят, и помыкают тобой, как хотят. И вот, чтобы я училась ремеслу, матушка купила левантинского раба, а на меня нацепила пояс целомудрия. Левантинца держали в запертой комнате на цепи. Я довольно быстро всему научилась, что касается рук и губ, а матушка приспособилась этого левантинца отдавать внаем перезрелым дамам, кому неймется. С этого дела деньги у нее снова стали водиться, и она на них еще мальчиков прикупила. Все это она держала в тайне, и среди городских дам слыла особой надежной и сговорчивой. За такой матушкой я жила, как за каменной стеной. Она даже с посвящением моим в кортезаны решила повременить.

А возле нас жила вдова, настоящая вдова, муж у нее умер от желудочной колики. У нее был сын лет шестнадцати, и сын этот на меня засматривался. Вдова была женщина богатая, сыну своему во всем потакала, а мою мать считала бедной и смиренной, и подговорила ее вроде как свести меня с этим сынком. Хорошие деньги сулила. Мать моя подумала, поглядела на мальчика, спросила у меня, и я сказала «да». Очень он был милый, кудри каштановые, глаза, как две фиалки, у нас богомазы таких ангелов любят писать. Звали его Эрколино.

Вечером накануне в церкви после службы подходит ко мне мона Пантазилия, мать Эрколино, и заводит разговор: ты, спрашивает, как думаешь, Алессандрина, хорошо ли то, что собирается с тобой сделать мой сын? Я говорю, что, конечно, это грех, но кто не согрешит, тот не покается, а кто не покается, тот не будет спасен, а Эрколино мне по душе, и даже безо всякой награды я бы с ним к обоюдному удовольствию согрешила. Мона Пантазилия похвалила меня за бескорыстие и говорит: мне не по душе, что мой сын решил купить любовь прежде, чем ее завоюет. Давай, говорит, устроим с тобой дамский заговор: вместо тебя в постель ляжет моя служанка, она на тебя статью похожа. Я же спрячусь в туалетной, и посмотрю, как пойдет дело. Если хорошо, то дам ему вволю потешиться сколько-то ночек, а потом преподам такой урок добродетели, что он век его будет помнить. А тебе дам на приданое. Я, говорит, давно к тебе приглядываюсь, ты девушка хоть и легкомысленная, но добрая и честная, а это должно вознаграждаться.

Вечером принесла она матери моей деньги. Мы с матушкой помолились, матушка ушла дожидаться Эрколино, а я убрала комнату, поставила ароматические свечи, блюда с фруктами, ну, словом, все, как в таких случаях положено. И после первых петухов впустила через заднюю дверь мону Пантазилию с Маркезой. А в моей комнате возле самой двери стоял большой бельевой рундук. Когда госпожа и служанка удалились в туалетную и принялись там шептаться, я стукнула дверью, будто бы ушла, и спряталась за этот рундук. И вижу, что вроде как не Маркеза, а сама мона Пантазилия улеглась в мою кровать и с головой укрылась. Что же это такое, думаю. Не померещилось ли мне? Потом слышу: матушка моя ведет Эрколино. А я потому решилась там спрятаться, что боялась — вдруг мона Пантазилия не вытерпит и лицо ему исцарапает. Я слышала, матери иногда ревнуют…

— Но там была не материнская ревность, так?

— …Это продолжалось две недели, и я не знала, как матери такое сказать… Как если бы сама кровосмешением осквернилась. А потом я услышала, что мона Пантазилия будто бы приискала для Эрколино невесту, и невеста эта — глухонемая дурочка, правда, очень красивая и с приданым. Меня зло взяло на мону Пантазилию, и я наконец все матери выложила. Мать посмотрела, удостоверилась, а на другую ночь позвала подесту и стражников. Об одном я не подумала, что все это будет на глазах у Эрколино. А он носил кинжал, красивый, из дамасской стали. Так он его схватил с кресла, и в грудь себе по рукоятку. Только промахнулся, не задел сердца. Мать его сожгли за кровосмешение. Лежал он у нас, пока болел, но ни меня, ни матушку мою видеть не мог. Кормилица за ним ходила. А чуть оправился, подался в монастырь.

После того пошли слухи, будто мать моя за мзду допускает в доме такие непотребства, что и сказать-то противно. У матушки была в Венеции сестрица двоюродная, жила она замужем за старым графом д’Эльяно, но к тому времени, о котором я говорю, уже год вдовела. Я теперь думаю, что она старика аква-тофаной опоила, потому что очень уж падка была на наряды и на мужской пол. Чичисбеев у нее было столько, что все сводни со счета сбились. В ее доме мы и поселились. Матушка моя очень ее порадовала своими учеными мальчиками. И графиня Бона д’Эльяно шутки ради отписала все имущество нам с матушкой, она ведь моей матушки на семь лет моложе была. А вскоре после того она возьми да упади с лодки в канал Орфано… Как нарочно… Говорят, и она, и чичисбей ее навеселе были, да в лодке еще любовные пляски затеяли. Оба на дно и ушли. Их так вдвоем потом баграми и вытянули.

А завещание вступило в законную силу, и графские сродственники тяжбу затеяли по поводу наследства. Имущество-то их родовое — и палаццо, и поместья. Род они крепкий, докучливый, дожу неудобный. Матушка моя проведала про то, оделась победнее, добилась приема, долго плакалась на бедность, да что у меня приданого нет ни цехина, хоть собой торгуй, чтобы прокормиться, да то, мол, обидно, что девица ученая, языки знает, пишет недурно, сведущие люди хвалили, даже карты немного рисует, жалко, если все даром пропадет, а без приданого как отдать за хорошего человека? Даже если и отдашь, всю жизнь бедностью попрекать станет, и будет прав… Etc., etc… Умеет канючить матушка моя. Мессер Агостино, светлейший дож, все это терпеливо выслушал, и обещал ей помочь в тяжбе с д’Эльяно, если она ему подсобит в одном щекотливом деле. Через малое время меня ему представили на большом празднике. Он мне без дальних рассуждений приказал идти за собой. Привел в комнату, где по столу были разложены разные карты, и завел такой разговор, где не скажешь слова «нет». Спросил, люблю ли я рыцарские романы. Спросил, попадались ли среди них сочинения об отважных девицах? И не воображала ли я себя этими девицами, спросил он. А коли воображала, сказал он, то не хочу ли на деле испробовать, каково это - служить своей Отчизне. Так вот и пригодились мне моя ученость да легкий нрав на государственной службе… Как вам история?

— Стало быть, вы даже и не кортезана?

— И не буду кортезаной, если дож сдержит слово. Если он сдержит слово, я стану богатой невестой.

— А если нет?

— Тогда… Тогда могу быть вашей, ежели захотите. И обойдусь вам совсем не дорого.

Он улыбнулся, покачал головой. Как легко. Невыносимо легко. Невыносимо.

— Донна Алессандрина, донна Алессандрина, отважные девы из рыцарских романов такого не говорят.

— Я не люблю рыцарских романов, — ответила она без улыбки.

Он проводил ее до посольского особняка, был встречен послом, приглашен к обеду, а отобедав, уехал уже не в носилках, а на своей белой арабской лошадке. «И занавески со златотканными львами не укрывали его от колючего ветра насмешек» — проговорила мона Алессандрина про себя, глядя на всадника сквозь мутные стеклышки верхнего окна, и вдруг коротко и грязно выбранилась, поклявшись никогда не думать и не говорить о нем, как о герое новеллы.

Ночью ей приснилась англичанка Маргарита с лицом моны Пантазилии. Они с ней вели диспут о силе любви; судьи были в масках, и всё молчали. Кто-то среди них был дон Карлос. Ей не хватало аргументов, она стала проигрывать, в испуге проснулась задолго до света, и пересчитала немало овец прежде, чем отчаялась уснуть.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

В КОТОРЫЙ МОНА АЛЕССАНДРИНА ПОЛУЧАЕТ ПЕРВЫЙ ПОДАРОК.

В сизом свете постель казалась влажной. Она лежала с открытыми глазами, не шевелясь. Недописанный лист белел на резной, по ее просьбе принесенной снизу конторке: вечером она было начала набрасывать свои мысли по поводу происшедшего, но слова никак не подходили одно к другому, и значили совсем не то, что должны были.

Сейчас они сложились - то ли в заклятие, то ли в плач.

«Ты лежишь с открытыми глазами возле нелюбимой жены… Я ошиблась, насчитав у тебя дюжину личин. Все они давно опали с тебя, как сухие листья.

Думай обо мне.

Стражи печатают шаг по сырой вымостке темных улиц. Пекари раздувают печи. Прекрасные иудейки в темноте своих створчатых лож тихо плачут от страха.

Думай же обо мне.

Король и королева спят, повернувшись друг к другу спиной. В инквизиции пытчики смывают кровь со своих орудий, и вода журчит в желобах, крестом рассекающих пол.

Думай обо мне, думай…

В лачуге на том берегу реки, раскорячив ноги, стонет роженица, дитя которой никогда не узнает своего гороскопа.

Думай обо мне, как о сердце размером чуть побольше кулака. Тебе легко будет спрятать его за пазухой».

— Благослови Бог ваши носилки, донна Алессандрина. Без них мы с вами пропали бы, — он улыбался, говоря это. Мона Алессандрина кивнула.

«Если бы то были мои носилки!..».

Давая разрешение ехать в носилках, посол не скрывал недовольства. «Недовольство ему более к лицу, чем сладчайшая из улыбок» — отметила мона Алессандрина, выслушивая, как он тянет «разумеется, вы можете ехать, любезная племянница». Мессер Федерико вполне

годился в герои новеллы, но фраза о недовольстве и сладчайшей улыбке никак не годилась в новеллу. Мона Алессандрина не знала, почему. Фраза была хороша.

Если бы дон Карлос не подгадал так удачно со временем для прогулки, ему непременно было бы отказано. А «племянницу», пожалуй, стоит отправить в Лисбону, а то еще примется маркиз за старое — стыда и смеху тогда не оберешься. Далось ей это позорище ходячее! Тут посол вспомнил, что сам советовал «родственнице» развлечься, и что она знакома с маркизом всего дня два, не больше. И в конце-то концов, она не благородная девица, а кортезана! Да и все равно скоро у причала закачается чернобокая галера с распластанными по флагу тремя львами. Так что Бог с ней и с ним. Пускай себе сотрясают воздух пустой болтовней к обоюдному удовольствию.

Носилки плыли по самым широким улицам, и занавески со златотканными львами св. Марка колебались в такт учетверенному шагу носильщиков.

— Из меня вышел прескверный провожатый, донна Алессандрина. Так вы никогда не увидите города.

— Меня это не печалит.

— А что вас печалит?

— Ничто покуда.

— Вы не радостны. И все время, что мы знакомы, вы не радостны.

— Тому есть много причин. И можно быть не радостной, но и не печальной. Сердечный покой тоже дорого стоит. И чем дольше в нем пребывает сердце, тем он дороже. Возможно, дороже всех радостей.

«Сердце размером чуть побольше кулака».

— Ваша душа не радостна, донна.

Она хотела спросить: «Чему же ей радоваться?», но не спросила.

— … А моя черна… Как угли ауто-да-фе.

— Ваша любовь снилась мне сегодня полночи.

Вздрогнув, он спросил только:

— С чьим же лицом?

— С лицом той кровосмесительницы, о которой я рассказала вчера. Я вела с ней диспут о силе любви. Вы были там в маске среди маскированных судей. Мне стало не хватать доводов. Я проснулась от страха, что уступлю.

— Кто рассказал вам обо мне?

— Мой дядя, посол.

— Тогда можно надеяться, что он, хотя бы, сделал это пристойно!..

— Более пристойно, чем я, когда рассказывала вам о себе.

— Я еще долго никому не смогу этого рассказать. Все еще слишком близко. Даже листва этого лета еще шуршит под ногами. Куда же мы едем?

— На рынок, в ювелирный ряд. Я слышала, что знатных покупателей проводят в отдельную комнату, и приносят им лучший товар туда, так что можно выбрать без толкотни и спешки.

— Вас интересует мавританское золото?

— Признаться, да. И я рассчитываю на вас, как на знатока.

— Вам открыли кредит в посольстве?

— Так сказал мой дядя.

— Хорошо же служить богатой отчизне.

— Венеция мне такая же отчизна, как и Кастилия. Самое верное будет сказать, что у меня нет отчизны. Отчизной я назову ту землю, где мне не придется потакать чужой нужде.

— У меня две отчизны. Но одна скоро падет — я это предчувствую, как звери предчувствуют беду. А вторая перестала быть ко мне благосклонной. И мне приходится

уповать на защиту львов святого Марка, — он тронул занавеску, — донна, вы зря не взяли то ожерелье с колокольчиками. Его, конечно, не оденешь ни на празднество, ни в церковь, ни на свидание, но это была бы забавная игрушка и напоминание о Кастилии, если угодно.

— Даже самый щедрый кредит не бесконечен. Как вы верно заметили, я на службе. Не стоит лишний раз обольщаться щедростью казны. Чем богаче казна, тем она придирчивей к ничтожным тратам.

Он извлек безделушку из рукава и застегнул у нее на шее. Зазвенели и смолкли колокольчики.

— Ох, Господи! Подарок от женатого мужчины, кто бы мог подумать. Дон Карлос, вы меня искушаете.

— Я пытаюсь вас развеселить, донна. То, что вы зовете сердечным покоем, вовсе не сердечный покой. Я уже говорил вам, что вы не знаете вашего сердца.

— Чего там можно не знать? Размером чуть побольше кулака, из красной упругой плоти, и с четырьмя неравновеликими пустотами.

— Да?

Он зубами стянул перчатку с правой руки и приложил ладонь к ее груди. Она застыла, только ее сердце упрямо толкалось ему в руку, как нечто, ей не принадлежащее. Оно, верно, охотно легло бы ему в ладонь, теплое, нежное, нежнее самых нежных девичьих уст сердечко.

— Перестаньте, а то я заплАчу…

— Плачьте, Бога ради. Я буду вам завидовать. Мне плакать нельзя, даже в полном одиночестве.

Она не заплакала, но на несколько ударов сердца оказалась у него в объятиях, и ему пришлось задержать дыхание.

«Я рехнулся». Подумав так, он едва не обрадовался.

Качнувшись, носилки встали у посольских ворот.

Сиятельного посла не было, и отобедать гостя пригласила сама мона Алессандрина; еду подали наверх, в покои, которые она занимала.

За разговорами обед затянулся; явились посыльные из ювелирных лавок с выбранным товаром; мона Алессандрина вознамерилась тут же расплатиться и устроила суету, послав обоих служанок к посольскому казначею.

«Колючий ветер насмешек».

Колючий ветер насмешек мог вволю дуть за окнами — ставни были накрепко заперты. Он ждал, когда она сошлется на головную боль и попросит его удалиться, а она все не просила. Слышно было, как прибыл мессер Федерико. Голос его раскатился по всему дому, но слова точно сминались, наталкиваясь на обшитые старым деревом стены, от них оставался только обессмысленный гулкий звук.

Мона Алессандрина сняла ожерелье с колокольчиками, и спрятала его в рукав.

— Он не понимает шуток, — объяснила она свой поступок.

Посол был весьма и весьма недоволен, главным образом потому, что неожиданный и важный визит ему пришлось делать не в парадных носилках, а в малом тесном портшезе. Застав у «племянницы» гостя, он был неприятно удивлен, и постарался показать это моне Алессандрине. Та заметила, но сделала вид, что не замечает. В помещении, одновременно дамской гостиной и кабинете, сильно пахло ароматами свечей, и уже слабо — изысканной посольской едой. Значит, они провели тут изрядно времени, занимаясь Бог знает чем. Сказав то, что положено говорить гостям, мессер посол вышел, и дал маркизу откланяться. Мона Алессандрина проводила гостя до ворот. Во дворике было свежо. Облачное небо совсем потемнело, и видно было только, как иногда проступают в нем мутные звезды и снова тают в набегающих тучах.

— Для ваших снов, донна, имейте в виду… У той, которую вы назвали моей любовью, каштанового отлива кудри до колен, лицо очертаниями как лепестка розы, и того же цвета, глаза черные и очень блестящие. Попробуйте представить ее себе на досуге.

Мессер Федерико ожидал на галерее. Половина его лица была освещена, другая — в коричневой тени.

— Я прошу вас, любезная племянница, впредь пользоваться только малым портшезом.

— Я поняла свою промашку. Впредь я буду поступать так, как вы просите. Не сильно ли я облегчила посольскую казну?

В уме посла мелькнуло сразу несколько ответов, все неучтивые, и, чуть помешкав, он сказал: «Прошу вас не волноваться на сей счет и ни в чем себе не отказывать». Мона Алессандрина поклонилась и прошла мимо него к себе.

«Ты явишься домой и принесешь на меху воротника аромат моих свечек и запах моих угощений. Ты войдешь к нелюбимой жене, впервые не услышав на улице ни единой насмешки, потому что уже стемнело, и все насмешники сидят по домам, заслонившись ставнями от зимнего ветра. Это ведь я задержала тебя так надолго. Нелюбимая встанет тебе навстречу, но ты пройдешь к камину и сядешь в высокое кресло, застеленное мехом. Тебе не придется нарочно отводить взгляд от нелюбимой, как было до этого, потому что на этот раз ты просто не заметишь ее. Она почует незнакомые благовония и аромат чужой трапезы, непременно почует, но ничего не спросит. А через малое время она поймет, что ее кузина больше не властна над тобой…»

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.

В КОТОРЫЙ МОНА АЛЕССАНДРИНА НИЧТОЖЕ СУМНЯШЕСЯ ПРИМЕРЯЕТ НА СЕБЯ ЗОЛОТО ЛА ФЕРМОЗЫ

Ювелиры перестали переглядываться, как только он выбрал ожерелье и дал понять, что выберет еще и браслеты, и перстни, и диадему ожерелью под стать — а оно одно стоило столько, что даже король не подарил бы его королеве на день ее ангела. Тонкими пальцами он перебирал золото, и откровенно любовался и золотом, и собственными пальцами. Ювелиры опять переглянулись, но уже не насмешливо, а так, как переглядываются вороны возле обильной падали. Новые носилки с глухими черными занавесками ждали его снаружи; двое верховых челядинцев стерегли их от любопытства черни. Скверно только, что его узнают, когда он будет в них садиться.

Золото складывали в ларчик: слой распушенного хлопка — бархатный лоскут — вещица, снова лоскут, снова вещица, и так, пока все не сложили, не прикрыли сверху и не опустили кованую крышку. Как-то она к этому отнесется? Это не колокольчики на добрую память о Кастилии.

Эта, белобрысая, что хозяйничает в его доме, пожалуй, затоскует, не досчитавшись стольких мараведи. Наверняка подумывала, какой бы еще землицы на них прикупить. Будет ей поместье! В приступе злого вдохновения он закрыл глаза, готовый все пустить на распыл и по ветру. Звени златом, шуми шелками, гарцуй на арабских иноходцах, купайся в мускусе и розовом масле, пируй в белокаменных палатах, тирань чернокожих рабов — все это к лицу тебе, мона Алессандрина, дочь флорентийской сводни и лазутчица венецианская. А как имя уменьшительное от «Алессандрина»? Нужно спросить.

Она снова сидела за чтением. Должно быть, у итальянок заведено принимать гостей, не отрываясь от привычных занятий.

Едва привстав, она протянула для поцелуя руку. Ожерелья с колокольчиками не было на ней, как, впрочем, и других украшений. Только тонкая цепочка, поблескивая, уходила за

низко вырезанный ворот. Он поцеловал руку, зашел к ней за спину, словно намереваясь заглянуть в книгу, и из-за спины (точь-в-точь как демон-искуситель с виденной где-то картины) надел на нее новый подарок — расчлененный на семь равновеликих пластин арабеск в изумрудах и смарагдовых брызгах. Вскинув обе ладони, охнув, она закрыла украшение, как закрывают внезапно открывшийся рубец или клеймо. Он снял со стены выпуклое круглое зеркало и подставил ей: «Взгляните!».

Тогда она медленно-медленно отняла от груди руки.

— Это — ваше, донна. — Дав ей насмотреться на себя, он отложил зеркало и поставил на стол темный, сплошь резной ларчик с пирамидальной тяжелой крышкой. — Говорят, их носила иудейка La Fermosa, наложница короля дона Альфонсо Восьмого.

Расширенные глаза ее наполнились ласковым блеском. Качая головой, она рассматривала на себе ожерелье, и улыбалась не половиной, не тремя четвертями улыбки — а — вся сразу — губы, ресницы, брови, мелко завитые светлые пряди, опущенный подбородок, яремная ямка, складки на шерстяном домашнем платье, острый носок башмачка на потертой подушечке.

— Как можно так меня баловать, дон Карлос? Разве я заслужила?

Он оставил оба вопроса без ответа. Потом заметил:

— У этих украшений лишь один недостаток, донна — они требуют особого наряда. Прошу вас, подумайте об этом на досуге. И я еще хотел у вас спросить: как будет имя уменьшительное от вашего имени?

— Его как будто нет, дон Карлос. Иные, правда, говорят «Сандрина» или «Сандринелла», но это немногим короче того, что есть, и часто употребляется блудницами, если им надо назваться чужим именем. Так что если вам нужно как-то называть меня в своих мыслях, придумайте сами, как. Только не La Fermosa, пожалуйста. У этой истории слишком печальный конец.

— Вы знаете?

— Мне как-то случалось читать об этом. Эта история была превращена в новеллу, как и многие истории прошлых веков.

— Подумать только, что когда-нибудь и наша история превратится в новеллу. И рыцари будут рассказывать ее своим дамам, а дамы обсуждать меж собой, и надо мной снова будут потешаться, а вас - осуждать за то, что принимали дары от женатого мужчины.

— Этого можно избежать, дон Карлос.

— Как?

— Очень просто: стоит лишь сочинить новеллу раньше, чем ее сочинит молва. Вам ли не знать, что одни и те же вещи можно назвать по-разному. То, что между мной и вами, может быть названо как корыстной связью, так и великой любовью. Пока никому о нас не известно, мы можем представить происходящее так, как нам захочется. Люди всегда ждут подсказки; почему бы и не дать ее?

— Боюсь, подсказка уже дана: весь рынок будет сегодня шептаться о том, какое я купил у ювелиров ожерелье. Потом кухарки принесут эту сплетню в дома своих господ и перескажут ее камерэрам, те — своим хозяйкам, а те — своим мужьям и воздыхателям.

— А что они скажут, когда увидят ожерелье на мне?

— А вот мы с тобой и послушаем, что они на это скажут!

Он осекся, поняв что — и, главное, как — сказал.

И в тот миг, когда он осознал это полностью, мона Алессандрина зашлась от хохота. Он едва не оскорбился, но вдруг увидел происходящее ее глазами, и рассмеялся сам.

…Тучи, с обоих сторон заносящие небо, пугали ее, и страх гнал вперед так, что земля выскакивала из-под пяток. Но – она знала – тучи были только предвестьем опасности, куда

большей, чем самая свирепая гроза, бьющая молниями в одинокие деревья и макушки холмов – ляг ничком, и грозу можно переждать. То же, что сзади…

Или лучше лететь? То ли давящий в спину ветер, то ли напряжение воздуха в легких подняло ее на локоть – главное – помнить, что носки не должны касаться дороги, не должны чертить бороздок в этой шершавой потускневшей пыли… Нет, так не быстрее. Так не быстрее, нисколько не быстрее, а рукава туч уже почти охватили окоем, и то, что оказалось в их объятии – перелески, распадки, овражки - не может быть укрытием от торнадо, который наступает сзади невесомым ревущим столпищем, зараз накрывая не меньше акра земли.

Из мокрой (почему уже мокрой?) зелени на обочине дороги поднялась руина аббатства – выбеленная ветрами и солнцем, как древний драконий остов. Цоколь и контрфорсы глубоко вросли в некошеные травы и кущи бересклета. Когда она вбегала в проем портала, ноздреватые известковые опоры задержали на себе ее взгляд – словно хотели доказать свою древность и хрупкость. Однако в стенах, внутри – воздух был гулок, сух, и между плитами пола не пробилось ни былинки. И там были люди – много – они разбрелись по громадному пространству, выглядывали в обглоданные временем проемы боковых дверей, перешептывались, попросту стояли молча. Ей не был знаком никто из них.

Ни свист, ни вой, ни даже отдаленный гул дали знать о его приближении – но нарастающая тяжесть в воздухе и налегающая на плечи мгла, от которой изрезанные библейскими сюжетами стены аббатства посерели и уплощились, утрачивая видимую прочность. Люди стали метаться. Судя по крику, в давке уже кого-то ранили, но ей были не до того – с несколькими другими счастливцами она скатилась по виткам потайной лестницы, которая нашлась за алтарем. Со страху (и от того, что аббатство было разрушено) она не задумалась, что вошла в алтарь, и теперь так торопилась вниз, точно сама лестница норовила вывернуться из под ног и ускользнуть.

Лестница кончилась в крипте. Одна из стен повторяла полукруглую форму апсиды – в ней был прорезаны на удивление большие окна, смотревшие, как ей казалось, в сторону, противуположную той, откуда шел торнадо. В окнах клубились пепельные тучи – края, сминаясь друг от друга, сливались, в крипту летело все больше и больше мелкой водяной пыли.

Даже сквозь каменный свод ощущалось, как возрастает давящая мощь торнадо…

И тут сверху ударил крик!

А мимо окон косо понеслась темно-серая дымная гуща и в них хлынула ледяная вода.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ.

В КОТОРЫЙ ГОРОД ОСЧАСТЛИВЛИВАЮТ СВОИМ КРАТКИМ ПРЕБЫВАНИЕМ ИХ ВЫСОЧЕСТВА ДОН ФЕРНАНДО И ДОННА ИСАБЕЛЬ.

Их Высочества прибыли, как всегда, неожиданно, с малой свитой, и не предполагая задерживаться. Потому никаких пышных празднеств не намечалось, а только лишь один обычный прием в тронном зале Алькасара.

На этот прием собрались и те, кто колесил вослед за монархами по всей стране, и те, кто сидел на месте, как мессер Федерико.

Сидя перед своим зеркалом, мона Алессандрина подосадовала, что не знает, насколько со вчерашнего дня распространились слухи о покупке ожерелья.

Ожерелье было на ней, как и диадема, браслеты, конусообразные перстни с мелким потемневшим жемчугом вкруг изумрудов. Выбранное ею платье было каким угодно, только не девичьим — сплошь черное, очень открытое, стекающее лавиной бархата на пол — и к нему черная же сорочка из атласа, блестящего, как патока. Ни одна золотая блестка не

нарушала черноту, даже разрезы на рукавах скреплялись не цепочками, а косицами из бархатного шнура.

Как бы широко не распространились слухи о дорогом подарке, они всяко миновали чуткие уши мессера Федерико. Завидев «племянницу», он сощурился, до неприличия пристально разглядывая наряд и украшения. Оценил. Как будто понимающе скривил патрицианские губы.

— Любезная племянница, поскольку мне не сообщали о новых ваших тратах, надо полагать, что украшающее вас золото приобретено на ваши собственные средства?

Мона Алессандрина задумалась, потом решительно сказала:

— Дядюшка, это подарок дона Карлоса. И думаю, что за этим подарком последуют другие.

— Вы разорите его, любезная племянница. Пожалейте его будущих наследников. Подумайте – дети блистательного гранда будут по вашей милости бедняками.

— Вы так уверены, что у него будут дети от этого брака?

— Я уверен, что вам следует быть осмотрительнее. Связь с маркизом Морелла не сделает вам чести.

— Возможно, она прибавит чести ему.

Мессер Федерико изволил засмеяться.

— Завидная доля! Уже вторая женщина защищает маркиза Морелла. Одна спасла его жизнь, вторая печется о его чести. Глядишь, третья поднесет ему корону.

— Это не тот случай, когда Бог любит троицу, дядюшка.

Посол молча помог моне Алессандрине войти в просторные носилки. В конце-то концов, она ему не родня. Пускай себе кружит голову никчемному опальному маркизу. Все меньше будет запускать руки в посольскую казну.

Носилки были все же слишком громоздки для местных извилистых улиц. Посол и его «племянница» опять прибыли одними из последних — почти все уже собрались в просторной зале перед дверями тронной, и негромкий слитный гомон реял над чепцами кофья-де-папос, перьями и тонзурами. Мона Алессандрина кстати вспомнила, что многие из этих пышно оперенных шляп так и останутся на головах — и дон Карлос (а что ж его не видно?) может не обнажать головы перед монархами. Мессер Федерико, важный в своей долгополой парадной соправесте не вел, а как будто нес ее по воздуху сквозь это скопище парчи, шитья и унизывающего все золота. Гомон спадал и снова нарастал по ходу их движения: «Вот эта девица… Как будто бы… Золото Ла Фермозы… То самое… Маркиз Морелла… Быть не может!.. Глядите сами… Семь симметрично разновеликих пластин со смарагдами…»

Как же быстро иногда расходятся рыночные сплетни! Мона Алессандрина расцветала с каждым шагом.

Издалека поклонился ей затертый в толпе дон Кристобаль. Она, помедлив, ответила кивком. Невелика птица дон Кристобаль.

Вот их место — неподалеку от дверей, среди других посланников. Только они остановились, оглядываясь и отвешивая поклоны всем, кого замечали, как явилась чета Морелла. Шорох пролетел между колоннами: чепцы пришли в движение, перья остались на месте. Дон Карлос был в черном, как и всегда, сопровождавшая его супруга, как и всегда, разряжена и причесана на английский лад. Не по нраву ей плоеный кастильский чепец.

Вряд ли она слышала новости; как и всякая супруга, узнает последней от самой что ни есть лучшей своей подруги маркизы Мойя. А дон Карлос шел по залу, явно забирая вправо, явно направляясь туда, где стояли посланники, где струнка вытянулась отроковица в тяжелом черном платье женского покроя. Донна Элизабета то и дело сбивалась с шага, стараясь поспеть за своим супругом, а он через несколько мгновений уже целовал этой отроковице руки, сперва правую, потом левую. Когда же он распрямился, стало заметно, что статный дон Карлос и стройная мона Алессандрина с белыми плечами и распушенными облаком по спине волосами очень подходят друг другу. Тем паче, что оба — в черном, и у

дона Карлоса на груди затейливая темная цепь под стать ее ожерелью. А дамы, стоявшие ближе, видели, что улыбки не сходят с их лиц, и не преминули потом рассказать об этом дамам, стоявшим в отдалении.

Все время, пока шел прием — выслушивание просителей сменялось разбором тяжб, разборы тяжб — докладами, доклады — представлениями проектов — мона Алессандрина только и делала, что переглядывалась через всю тронную залу с доном Карлосом.

После приема мессера Федерико, и его «племянницу» призвали к королям для беседы. Мона Алессандрина поняла так, что зовут ее, и не ошиблась.

Войдя, она присела низко-низко, так низко, как только могла. Кастильцы — ценители церемоний, королева донна Исабель Кастильская — в особенности. Маркиза Мойя стояла за креслом Ее высочества. Обе прекрасно владели своими лицами, но было ясно: слух об ожерелье за сутки успел подняться от рыночных лотков до устланных коврами ступеней престола, иначе королева и ее наперсница не снизошли бы до этой беседы.

Они были до мозга костей женщины, и вполне владели искусством выведывать тайное исподволь, в незначащей беседе. Так, они, как радушные хозяйки, расспрашивали, каково ей гостить в Кастилии, не тоскует ли она по Венеции «слыхали мы, что град сей воистину чудо света!», дозволено ли ей осматривать город, не завела ли она новых знакомств. Мона Алессандрина подробно отвечала на все вопросы и очень мило пошучивала, по ходу беседы переводя итальянские шутки на кастильский и порой прибегая к помощи мессера Федерико, чтобы подыскать выражение поточнее. Но все ее речи текли сквозь слух высокородных дам, как песок сквозь пальцы. В числе прочего она, правда, упомянула, что ее защитником и провожатым стал дон Карлос, маркиз Морелла, что в особенности она ему благодарна за советы, данные при покупке мавританского золота — без него она непременно бы опростоволосилась, потому что не привыкла торговаться. На это маркиза Мойя с материнской лаской в голосе сказала:

— Дон Карлос, хоть он и примерный муж, весьма опасен для девушек: его глаза и самых стойких заставляют забыть о добродетели. Он потому и выбрал себе в супруги донну Элизабету, чтобы впредь не смотреть ни на кого более.

Мона Алессандрина полуулыбкой изобразила грусть всепонимания:

— Мои глаза, боюсь, обладают схожим свойством, ваша светлость. Мне случалось много раз убеждаться в этом и корить себя за неосмотрительность, — ответила она, сама не поняв, вызов это или шутка. Кое-кто, наблюдающий за происходящим из полутемной ниши, молча с ней согласился.

Кое-кто — был король, дон Фернандо. До его острого слуха также дошли перешептывания о новых похождениях его племянника. Дон Фернандо вестям удивился.

Племянника он презрительно жалел — надо же было дать так себя провести — и кому! — собственной отставленной пассии. В то, что дон Карлос сулил англичанке Маргарите корону, дон Фернандо не верил, и даже полагал, что хитрая купеческая дочка нарочно приврала, дабы Ее Высочество пуще разгневалась на сиятельного маркиза и воздала ему по заслугам. Даже если Карлос такое и говорил, рассуждал про себя дон Фернандо, то наверняка в пылу страсти нежной, а кастильцу его кровей это простительно.

Но путать женщин перед алтарем — непростительно, продолжал размышлять дон Фернандо о горькой участи своего возлюбленного племянника. Самое лучшее было бы услать его куда-нибудь в Полонию чрезвычайным эмиссаром. Слухи туда не дойдут по причине большой удаленности тех мест, а если и дойдут, то из-за странности тамошних обычаев ничьего внимания не заслужат. Только вот денег на это нет, и, значит, до конца дней своих сносить Карлосу насмешки, да и отпрыскам его достанется, ежели народятся.

Но вот явилась женщина, итальянка, по слухам, ученая. Дон Фернандо, услыхав о ней от маркизы Мойя, подумал, что она, верно, дурочка, и ничего про Карлоса не знает.

Она сидела в пяти шагах от него и на дурочку не походила. Остроумная, отменно учтивая, она показалась дону Фернандо недоброй. Беда будет, подумалось ему ни с того ни с сего, если такая где-нибудь сядет на трон.

Чем дольше дон Фернандо смотрел на нее, тем больше злился, и сам не мог понять, что его злит — красота ли ее, манера ли говорить, почтительная и одновременно вольная, то ли, что она принадлежит его неудачливому племяннику и носит им дареное золото Ла Фермозы. Однако утолить эту злобу можно, только помяв хорошенько ее девичьи прелести. А злоба уже готова была прорваться — он чувствовал, как лоб наливается жаром, точно поверх морщин выступает огненное ¡Yo el rey!.

¡Yo el rey!

Он шагнул из полутемной ниши. Привычно переждал, пока все дамы по очереди перед ним присядут, а мессер Федерико отвесит поклон. Опустился в кресло. Подпер голову рукой, и стал смотреть.

Вот теперь она совсем рядом. Хороша. Слова нет. Хороша. Старое темное золото мерцает на золотом отливающей молодой коже. Колени под грузным бархатом чуть вразлет — как у правителей на миниатюрах в молитвеннике. А, вот почему он подумал о ней на троне, и о том, что беда будет, если… И кажется, что сладкий запах четырех расставленных по углам курильниц весь как есть исходит от нее, и не от платья, не от волос, не от белых плеч, а из густой тени в ложбинке промеж колен, и от пяток до темени она укутана драгоценнейшей и густейшей пеленой аромата.

Ла Фермоза была иудейка из мавританской Севильи. Ей было шестнадцать лет, она равно владела четырьмя языками — иудейским, арабским, латынью и старокастильским, и могла на них всех писать стихами и прозой. Эта, по слухам, тоже ученая. А не язычница ли она к тому же? Поговаривают, что в городах просвещенной Италии нобиле вновь служат эллинским богам.

Об этом он у нее и спросил.

Мона Алессандрина засмеялась:

— О, нет, Ваше Высочество, единственное, что у нас есть языческого, так это расточительство! На иное шествие уйдет столько золота, что, право, хочется плакать!

Но видно было, что уж кому-кому, а ей при этом плакать вовсе не хочется, и навряд ли она вообще когда-нибудь плачет.

Она уже очень давно женщина, думал дон Фернандо, лет с двенадцати, а то и с десяти. Уже в те нежные годы она раз и навсегда поняла, что от женщины нужно мужчине, и приняла это, как должное и единственно возможное положение вещей.

Хитрые женщины с младых ногтей частенько очаровывали славных королей Иберии. В романсе поется, что и мавры пришли из-за женщины, то есть из-за того что…

Эта вполне способна очаровать.

Наваждение развеется, если прижать ее в темном углу.

¡Yo el rey!

Он смотрел на нее в упор, и по глазам ее видел, что она читает огненные слова на его лбу и разумеет все их пятые, двадцатые и сто тридцать седьмые смыслы.

Сегодня же. Сейчас же.

Осталось только придумать, как.

И тут она, коснувшись ладонью лба, пожаловалась на головокружение и испросила дозволения ненадолго выйти.

Весь кипя, дон Фернандо удалился очень вскоре после нее.

Сходил вечер, в окнах серело.

Мона Алессандрина прохлаждалась в длинной неосвещенной галерее. Шаг ее был бесшумен. Дон Фернандо ее настиг и окликнул. Остывающий запах благовонных курений слабой струей тянулся от нее, щекоча ноздри.

— Донна, — король шагнул к ней вплотную, и она не отступила ни на четверть шага, — вам говорили, что вы прекрасны?

— Все, начиная зеркалами и заканчивая соперницами, Ваше Высочество

Буквы ¡Yo el rey! запульсировали и всеми своими раскаленными остриями впились в пылающий лоб.

— Но короли вам никогда этого не говорили?

— Увы, Ваше Высочество, до сего дня я не имела счастья быть представленной королям.

Он удивился, что дал ей договорить такую длинную фразу.

Дальше, собственно, говорить было не о чем.

Стремительно они миновали пол-Алькасара, и пламя светилен клонилось им вслед.

За множеством дверей были душные покои с высоким ложем, с коврами и шкурами на дощатом скрипучем полу. Дон Фернандо подхватил ее на руки, как сноп, и опрокинул на шелковое одеяло.

— О, Боже! — охнула она, и с хохотком принялась понарошку отбиваться. Грудь ее выскользнула из ворота, юбки задрались, обнажая коленки…

«Дон Фернандо!..» — будто бы донеслось из-за множества дверей, и воркующий хохоток оборвался, точно ей захлопнули ладонью рот. И еще раз, яснее, ближе: «Дон Фернандо, Ваше высочество…»

Король Его Высочество издал рык и замер. Потом схватил ее в охапку, потащил через всю опочивальню, толкнул в какую-то нишу за толстый лохматый занавес. В ноздри сразу набилось пыли, она едва не расчихалась, в полнейшей душной темноте раскинула руки, ощупывая стены. Одна из стен оказалась дверью, открывшейся без скрипа при слабом толчке.

«Вот приключение…» Королевские объятия так разгорячили ее, что ей даже не было страшно, когда она вошла в высокую маленькую комнатку, в чужую, в королевскую комнатку, и по тусклому пятну зеркала поняла, что попала в туалетную.

Два стрельчатых окошка смотрели прямо в серое небо. Здесь было не так душно, как в опочивальне, но плотный застоявшийся воздух был полон пыли; пыль уже царапала горло, и, чтобы не закашляться, Алессандрина то и дело сглатывала слюну. Из-за двери и занавеса как будто доносилось бормотание… Или послышалось? Гул распаленной крови глушил все звуки, да и стены их поглощали. Бесшумно и быстро она натянула лиф обратно на исцелованные плечи, расправила тяжелые юбки, ощущая неприятную теперь влагу меж бедер. Волосы требовали гребня и зеркала; и то и другое должно было тут найтись. Она переставила зеркало со стола на окошко. За зеркалом обнаружилась высокая шкатулка.

Алессандрина прислушалась. На много покоев вокруг стояла тишина. Кровь уже успокоилась. Испарина остывала на висках. Помедлив, она откинула крышку шкатулки, надеясь найти гребешок. Но вместо этого сильно уколола палец, и стала ощупывать содержимое уже осторожнее — вдруг там золотые булавки для шлейфа, или, упаси Бог, королевские драгоценности. Но там, в бархатом устланной ямке, покоилось нечто продолговатое, обернутое в лоскутья, с одной воткнутой примерно посередине иглой. Бог знает зачем Алессандрина извлекла это из шкатулки, и возле окна рассмотрела.

Сумерки почти уже съели цвета; но то, что она держала в руках, было черным, это была фигурка человечка не больше двух ладоней высотой, одетая в шелк, и с шелковым лоскутком-плащом. Грудь куколки пронзили длиннейшей булавкой, которая на два пальца выступала из ее спины; на нее Алессандрина и напоролась, потому что куколка лежала в шкатулке ничком. К булавочной головке был шелковинкой привязан квадратик пергамента. А на плащике у куклы светлело вышитое изображение птицы, орла, и вокруг орла мелкие буковки. Не задумавшись о том, что ею движет, Алессандрина спрятала куколку в широкий рукав. Потом она прислонила зеркало к шкатулке, и вместо гребешка расчесалась собственными пальцами.

Главное — миновать незамеченной королевские покои. Застань ее тут кто - никогда она не сумеет объяснить, как и зачем тут оказалась. Но ей повезло.

Все переходы и галереи, попавшиеся ей на пути, были освещены. В нескольких какие-то дворяне отвесили ей поклоны, она ответила кивком. Этот быстрый шаг, почти бег - ей даже приходилось чуть наклоняться, чтобы держать равновесие - напоминал ей что-то. Что-то недавнее… Сон! А потом прямо навстречу ей шагнул из-за угла дон Карлос, и она вдруг ощутила, как пылают щеки, и как печет обветренные губы.

— Вас всюду ищут, мадонна. Мы уж было решили, что призраки эмиров утащили вас в подземелье.

— Это послужит мне уроком впредь не путешествовать по старому замку без провожатых, — сказала она, и, увидев учтиво подставленный локоть, почти умоляюще попросила: — дон Карлос, позвольте… Подождите минуту, пожалуйста…

— Хоть вечность, мадонна.

— Я угодила в переплет, — сказала она злым шепотом, — и в прескверный.

— Я понял.

— Его Высочество… Не получил того, на что рассчитывал…

Маркиз кивнул, явно повеселев.

— И… Я кое-что украла. Я никогда бы не решилась, но мне показалось, что вас это касается… — она достала куколку. При свете стало совсем очевидно, кого она изображает. Оригинал в безмерном изумлении вертел колдовскую снасть в ладонях.

— Откуда это? — спросил он севшим голосом.

Мадонна объяснила.

Его пронизала краткая дрожь. Глаза вспыхнули так, что из черных на миг стали серыми.

— Спрячь, — быстрым шепотом приказал он, — немедленно спрячь.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ.

В КОТОРЫЙ МНОГОЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ.

Мона Алессандрина оставалась в постели почти до полудня, предаваясь размышлениям. Размышления были по большей части невеселы — вчерашний запал успел остыть, беспокойный сон не принес отдыха ни душе, ни телу.

К тому же мона Алессандрина заметила одну странность.

Когда впервые рядом с ней оказался дон Карлос, она ощутила трепет и тяжесть, как будто повеяло ветром от пернатых, но не птичьих крыл.

А когда на нее в упор смотрел вожделеющий дон Фернандо, не было ни трепета, ни тяжести. Терпкие струйки его запаха сочились сквозь пряный воздух, как пот сочится сквозь сорочку, сильное дыхание отдавало перченым мясом и кислым вином. Крепкие ногти у него были чистые и коротко подрезанные. Она внимательно его разглядела, удостоверяясь, что сможет терпеть на себе его руки, его губы, и всего его, наконец, если на то будет Божья воля.

Но бессильный дон Карлос был как будто больше, чем человек, а дон Фернандо был могущественный человек, но никак не больше.

И почему является торнадо? Она не раз уже ловила себя на том, что ветряной столп нейдет из головы наяву, и чарует во сне - ведь она все неохотнее пытается от него убежать.

Не додумавшись ни до чего путного, мона Алессандрина велела подавать одеваться.

Сидя в одиночестве за утренней трапезой, она еще подумала, что ей как никогда нужно видеть дона Карлоса.

У него в ней оказалась такая же нужда. Он явился, едва она встала от стола.

Он ни на волос не отступился от своей учтивости, от целования рук и пустопорожних словес, обычных при каждой их встрече. Настоящий разговор начался в малом гостином покое на верхнем этаже одним коротким вопросом:

— Это… у вас?

— Да.

Они рассматривали ее, одинаково сузив глаза и скривив губы, прикасаясь только кончиками пальцев. Восковое подобие изготовили с известным тщанием — на месте лица были прорисованы узнаваемые черты, шелковая одежка была сшита так, как прилежные девочки шьют наряды для кукол — то есть очень тщательно и искусно. И тем более не по себе делалось моне Алессандрине и ее гостю при виде длинной булавки, безжалостно проткнувшей человечка насквозь.

На конце булавки болтался пергаментный квадратик с изображением объятого пламенем сердца и черными червеобразными знаками. Даже искушенный дон Карлос не смог наверное сказать, арабские это буквы или иудейские. Возможно, не те и не другие, а колдовская тайнопись.

Насмотревшись вдосталь, он откинулся на прямую спинку кресла. Его лицо застыло, только губы брезгливо подергивались. Черные глаза сквозь стену, сквозь путаницу сырых улочек, сквозь запертые по зимнему времени дворцовые ставни вперились прямо в растерянное лицо женщины, изготовившей куклу. Алессандрина видела вместе с ним, видела его взглядом — низко спущенные по щекам и подогнутые к затылку рыжеватые волосы, продолговатое, еще свежее лицо, глаза под высокими бровями, голубые с оливковым ободком, переменчивые и зоркие, полноватый стан, белые пальцы, усаженные кольцами по самые лунки ногтей. Назвать ее она не посмела, только глянула вопросительно и изумленно на дона Карлоса, и ей привиделось, что плечи его покрыты доминиканской белой мантией (ей случалось уже видеть такие на прелатах), волосы коротки, и на темени угадывается тонзура.

— Убери! — коротко велел он. Она повиновалась и унесла подобие в спальню.

Когда она вернулась, вопросы теснились у нее на кончике языка, как черти на острие богословской иголки. Дон Карлос посмотрел на нее через плечо с невеселой улыбкой.

— Вам, часом, не случалось учинять подобного, донна?

— Упаси Бог! — коротко отозвалась она, и добавила, — у меня в распоряжении есть средства более надежные.

Это замечание вызвало у дона Карлоса улыбку чуть более веселую.

— Чего только не сыщется в старом доме… — вздохнул он, — донна, есть ли у вас время, чтобы меня выслушать?

— До самой вечерни, дон Карлос, мой слух в вашем распоряжении.

— Вот и хорошо. Позволите ли вы помолиться с вами?

— Грех меня о таком спрашивать, когда заранее знаете ответ.

— Ничего нельзя знать заранее, донна. У вас в этот час могло оказаться свидание с королем, к примеру. Коль скоро ваши приворотные средства более надежны, чем это. — Он кивнул на приоткрытую дверь опочивальни. Получилась двусмыслица, и мона Алессандрина с легким сердцем засмеялась было…

— Странное делается на душе, когда все поймешь, — сказал он, и она притихла, — особенно, когда поймешь через десять лет после того, как оно случилось. А десять лет назад я чуть не соблазнил донну Исабель. Я затеял с ней игру в Гвиневеру и Ланселота, и она стала играть со мной. Посол французский устраивал галантные празднества, на которых она любила бывать. Она надевала маску, но, как говорится, львицу узнают по когтям. Я тоже появлялся там в маске, и меня тоже узнавали.

Я оказывал ей знаки внимания, сперва робкие, потом все более смелые, и в какой-то миг почувствовал, что еще день — и она не устоит, и мир повернется под моими ногами, потому что такие, как она, в любви не мелочатся. А мне хотелось повернуть мир так, чтобы все мои звезды всегда сияли над моей бедной головой.

Но через день посол французский отменил свое празднество. Еще через день я понял, что меня избегают старательно и неприязненно; это меня разозлило, но что взять с Ее Высочества? У меня явилась мысль, что она проверяла меня, и я не выдержал искуса. Это вполне в ее манерах. Впрочем, она как будто оставила мне возможность обратить все в шутку, да еще и лестную для нас обоих. Все вроде бы обрело свои места, даже ее неприязнь.

В ту пору умерла моя мать, и мне стало не до раздумий о нежных чувствах… Ах, какой я был глупец! — он даже стиснул в досаде подлокотники кресла, — то-то же она уступила тогда фрай Томасу, то-то же ударилась в благочестие, и на Гранаду тогда же пошла!

— Думаете, она любит вас по-прежнему?

— И любит, и ненавидит, все вместе. А главное, себя ненавидит. За то, что на главный грех не решилась, а только слушала мои сладкие речи, да подобие восковое слепила, чтобы власть надо мной иметь. Знать бы, по чьему наущению. Не будь она Высочество, гореть ей на медленном огне за такие дела!

— Так заставьте ее гореть на медленном огне, дон Карлос! Шутка ли, когда христианнейшую королеву уличают в таком колдовстве!

Он засмеялся тихонько:

— Вы слишком горячи, донна. Найденное вами подобие на многое открыло мне глаза, это правда, и многое стало бесспорно ясным. Но оно выкрадено вами и не является доказательством ее вины. И даже если бы подстроить все так, что мои соглядатаи много лет следили за донной Исабель, и сами выкрали подобие, ей ничего не стоит отмахнуться от обвинений — кто такой я, и кто она, и кто из нас кого ненавидит сильнее? И кому выгодно ее осуждение и мое возвышение? Я, все-таки, бастард и наполовину мавр, и с меня не сняты подозрения в том, что я покушался на ее трон. А она — Трастмарра, что можно заключить хотя бы по ее глазам, волосам и страстности.

— А если бы дон Фернандо случайно узнал?

— От кого?

— Скажем, от меня? Скажем, я испрошу аудиенцию, натрусь белилами, чтобы казаться бледной, буду запинаться через два слова на третье, и скажу, что, вот, нашла, узнала, чье подобие, и не могла хранить от вас в тайне, мой король и господин, богомерзкое сие злодеяние.

Дон Карлос снова рассмеялся.

— Ей-Богу, донна, с вами скучно не станет. Его Высочество, вас, конечно, выслушает, утешит, и скажет, что все виновные получат по заслугам. Потом он возьмет с вас клятву хранить все в тайне. А через день-два вы исчезнете, как будто вас не было, и только ваша матушка поплачет о вас в далекой прекрасной Венеции, — улыбка вдруг слетела с его уст, — я не хочу, чтобы вы исчезали, донна. Это несправедливо.

Ей захотелось быть к нему поближе, но встать и подойти она не решилась.

— Но как же тогда? Дон Карлос, как же тогда?

— Я еще не знаю, как, — сказал он мягко, — но постараюсь придумать. И выдумку свою посвящу вам, смелая донна. А пока берегите подобие… Хотя нет, лучше отдайте мне.

К королю, невзирая на все немилости, он входил без доклада. Так и сейчас вошел. И сказал поднявшему голову от бумаг дону Фернандо, что некая особа, приближенная к королеве etc., etc… А потом положил фигурку поверх свода последних реляций о делах в мавританском стане.

— Вот так-так… — сказал дон Фернандо и замолчал.

Племянник ждал.

— Чего только не сыщется в старом доме, — сказал дон Фернандо и замолчал снова.

Дон Карлос продолжал ждать.

Дон Фернандо со всей немалой своей силы саданул кулаком по столешнице, и столешница треснула.

— Ваше Высочество, позвольте мне… — начал было дон Карлос, имея в виду попросить защиты от неприязни донны Исабель, и, возможно, даже тайного расследования – ведь есть положения, в которых мужчины держатся друг друга вопреки расчету и государственной пользе, особенно если они – родня...

— Молчать! — визгливо оборвал его король. Он тяжело дышал, и взгляд его блуждал от предмета к предмету. Потом он встал к племяннику вплотную. Он был ниже, но шире и крепче.

— Что между вами было?

— Ничего, Ваше Высочество. Ничего, кроме той давней легкомысленной и забавной игры, которую все…

— На распятии клянись, мавританское отродье, что ничего!!!

Побледнев, дон Карлос требуемое исполнил.

— Сукин сын, — сказал король, отходя, — Ланселот … — одним коротким прилагательным он выразил то, что думал о Ланселоте, и неожиданно спросил, — ты этой иудейской дочке Маргарите обещал корону? Было?

— Не помню, Ваше Высочество.

— Не помнишь. Еще б ты помнил, племянничек. А жене своей скажи – это ведь она отыскала? — Его Высочество сузил светлые злые глаза, — чтобы на людях впредь молчала и улыбалась. И чтобы ни одна юбка к ней близко не подобралась, будь добр, проследи хорошенько. Особливо — маркиза Мойя.

Король сказал так, но, когда племянник ушел, задумался. Дон Карлос не из тех, кто без задней мысли желает ближнему добра. Значит, от добра добра ищет. Какого бы? Какого?

Отплатить донне Исабель — первое, что приходит на ум. Тут король был не то, чтобы на его стороне, но и не на стороне донны Исабель. Донна Исабель всегда была неоправданно сурова к Карлосу, и суровости этой почти не скрывала. Ему, дону Фернандо не раз приходилось за племянника заступаться. Карлос ему наверняка за это благодарен. Только благодарность его странноватая весьма.

Или службу сослужить хочет, милостью заручиться на годы и годы? Иной бы и на смертном одре не признался, что вожделел супругу сюзерена, и едва ее не добился.

Любопытно, случайно ли его английской женушке эта кукла на глаза попалась? Очень может быть, что случайно. Элизабета — чужеземка, местных порядков толком не знает. Подсобляя при королевском одевании, могла по ошибке не в тот ларчик заглянуть. Супруга своего она смерть как любит… Каково-то ей было в королевском ларчике да такое найти?

Э, нет. Что-то здесь не так. Донна Элизабета, конечно, дама сметливая и решительная, только не похоже это на нее, при всей ее безмерной любви и ангельском благочестии. Не та у нее любовь, и благочестие не то. Могла она, конечно, дону Карлосу под большим секретом рассказать о том, что видела, а уж он придумал, как это можно заполучить. Служаночек очаровывать — это для него как раз.

Так-так, только камерэры у донны Исабель с ранней юности служат… И все они — истые кастильянки. Вряд ли они на такое пойдут за сладкие речи, и тем паче за звонкую монету. А кто еще в ее личные покои вхож? Пажи? Швеи? Кружевницы?

И тут дона Фернандо как ожгло.

Алессандрина.

Больше некому.

Он скорее почувствовал, чем услышал человека у себя за спиной и обернулся стремительно, как хищник. Там стояла донна Исабель, и живое лицо ее было бледнее беленой стены.

— Очень кстати пришла, как всегда. Как чувствовала.

Она молчала.

— Что будем делать, донна Исабель? А?

Она молчала.

— Это что же получается, моя супруга и королева? Инквизицию мы учредили, священную войну ведем с Божьей помощью не без успеха, поход хотим через Море Мрака

учинить, а ты тем временем вожделеешь к моему племяннику, да еще в подобия его булавками тыкала? И ведь не отроковица была, ведь в зрелых летах уже пребывала.

Он дал ей осознать всю глубину своего падения, и сам поразмыслил о положении вещей. А положение ничуть не изменилось: она его супруга и королева, он ее любит и почитает, тем паче что до прелюбодеяния она не довела, и раскаялась. Дон Карлос не из тех, что болтают. Алессандрина… О ней можно позаботиться и позже.

Он улыбнулся.

— Не думайте, моя донна, что я буду вас порицать. Время уже ушло, и с тех пор вы много раз искупили ваши грехи. Все мы порой искушаемся. Посему давайте забудем о недоразумении, он не достойно долгой памяти, а это, — он брезгливо взял куклу двумя пальцами, — бросим в огонь.

Так сказал король, дабы королева ушла от него с легким сердцем.

Но мужчина был слишком зол на себя, и его сердце не было легким.

Уныло голосили раненые. Снаружи просветлело – вот-вот - и солнце, взбудораженный воздух был наполнен блеском воды и острым дыханием сырого ветра, летящего по следу торнадо. Ощущаемый в воздухе след далеко расходился с ее дорогой - небрежно залакированная ливнем, цвета охры, она вела к морю, в город, на запад, и казалась безопасной. Однако, стоя на стертом пороге бокового портала, она долго глядела - нет, не на дорогу, а в сторону, на слепую серую завесу, где ей все мстился серый крутящийся столп, и когда поняла, что нет, не мстится - он вправду стоит там, не приближаясь и не удаляясь, кто-то из-за плеча испуганно сказал: «Он за тобой...», и небо сразу подернулось тенью, а блеск воды угас...

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ.

В КОТОРЫЙ ВСЕ, КАК БУДТО БЫ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ.

Мона Алессандрина выбирала золото. Пальцы ее, в этот раз лишенные непременных колец, чтобы удобнее было примерять новые, касались цепей и ожерелий так, словно те были живыми и теплыми. Хотя такие длинные членистые создания, как цепи и ожерелья, даже будь они живые, теплыми быть вряд ли могут… Где вы видали теплую тысяченожку, сеньоры? Ох, голова, голова, какие мысли в ней крутятся, когда она раскалывается он боли!

Он закрыл глаза. Не помогает, но все же… Будь проклят англичанин! О-о! И что его понесло с ней к ювелирам?!

Перед глазами плыла ненаписанная записка: «Любезная донна! После всех волнений вчерашнего дня я не в силах даже пошевелиться из-за головной боли, которой меня наградил мой английский соперник… Но как только оправлюсь, сразу навещу вас и расскажу новости…» Нет, не «оправлюсь» там было, там было «воскресну». Да какая же разница, если вместо записки он притащился сам, едва не вывалившись по пути из носилок, и, пока ехали к ювелирам, рассказывал о своем разговоре с королем, слушал сочувственные вздохи и тихий смех, и только морщился, когда боль с особой силой впивалась в виски.

Ну, неужто она выбрала, наконец?

Выбрано было на целое состояние. Он велел склонившемуся хозяину-мараносу прислать за деньгами в его кастильо д’Агилар, даже не взглянув на приобретения. Завтра снова будут сплетни.

Да когда же уймется эта мигрень?!

А Алессандрина непременно залучит его к себе, чтобы примерить украшения и ему в них показаться.

В качающемся полумраке носилок он жалобно признался ей, что еле жив от боли, и вряд ли сможет разделить ее радость по поводу чеканного венца с пятью зубцами и семью налобными подвесками, парных запястий и ожерелья из сканых золотых бусин, достигавшего колен, если носить его в один ряд, и пупка, если в два. Она спокойно подняла руки и приложила пальцы к его онемевшим вискам. Прикосновение как будто вытянуло из черепа толику боли; впрочем, он уже так устал носить ее в себе, что чувства могли притупиться. Опустив голову Алессандрине на грудь, он ждал, когда носилки встанут.

Мессер посол пребывал в нетерпении. Только что он получил два королевских приглашения для себя и моны Алессандрины: в Алькасар, на ужин, сегодня вечером, и на охоту утром через два дня. О причинах он, будучи по долгу службы наблюдательным, догадывался, что переполняло его гордостью за «любезную племянницу». Тем досаднее, что она проводит время с этим смазливым ничтожеством. Когда она появилась, он по шкатулке в ее руках понял, что время прошло не зря, и несколько этим утешился (чужая ловкость не вызывала у него зависти), но все же решил дать ей два-три совета относительно того, как должна держаться особа, заслужившая монаршую благосклонность.

Дон Фернандо был сама любезность.

— Королевскую охоту устраивают не ради пропитания насущного, а ради увеселения, — шутливо поучал он мону Алессандрину, — так что упаси вас Бог надеть охотничий костюм, или что-нибудь мрачное. Могу ли я просить вас облачиться в это же гранатовое платье, которое на вас сегодня? Гранатовый цвет вам изумительно идет, и он не кладет бликов на ваши щечки…

— Это потому, что ворот очень низок, — кокетничала мона Алессандрина. Придворные во всю на них косились. Ожерелье из сканых золотых бусин в четыре ряда лежало на ее груди, мелкие топазы поблескивали в завитках скани капельками росы, подвески раскачивались надо лбом при каждом угодливом кивке. Она опять была хороша, но огненосное ¡Yo el rey! больше не уязвляло королевского чела. Король посожалел в глубине души, что не может позволить себе такую любовницу — времена Ла Фермозы миновали.

И слава Богу.

Подошла маркиза Мойя. Она с непринужденной похвалой отозвалась о венце и ожерелье, и о вкусе донны Алессандрины к драгоценностям, и сказала, что хотела бы хорошенько их рассмотреть, но на людях неудобно. Поняв, к чему она клонит, мона Алессандрина первая предложила начать поиски безлюдной галереи, но вместо галереи маркиза провела ее в смежный покой, к королеве. Некоторое время дамы действительно с примерным вниманием рассматривали старинную работу, чуть слышно цокая языком и покачивая головой. Потом маркиза извинилась за прямоту вопроса, и спросила, сколько правды в слухах о том, что драгоценности — подарок дона Карлоса. Мона Алессандрина с улыбкой призналась, что это вся правда и есть.

Донна Исабель подняла и без того высокие брови. Беатрис, маркиза Мойя прикусила язык. Она-то думала, что итальянка начнет увиливать, и разговор можно будет вести намеками, как то и положено благородным особам. Но как подступиться к женщине, которая не считает зазорным принимать королевские подарки от женатого мужчины? И следует ли к ней после такого подступаться? Является ли она в полном смысле благородной, если позволяет себе подобное?

— И по какому же случаю дары? У вас были именины? Или вы сделали дону Карлосу столь великое одолжение, что он не мог отблагодарить вас иначе? Согласитесь, это странно, когда незамужняя девушка, да еще живущая в доме своего родственника, принимает такие знаки внимания, как должное. Тем более, что родственник — не частное лицо, а посол могучей державы. В свете идут разговоры, совсем не лестные для вас, и я хотела бы вас предостеречь, милая моя. К тому же чести дона Карлоса не так давно был нанесен

существенный и весьма оправданный обстоятельствами урон, — донна Исабель имела больше прав говорить без обиняков, и правами этими воспользовалась. В голосе ее звучала прямо-таки материнская тревога, но мона Алессандрина не была склонна видеть родную мать в коронованной советчице. Она представила, каких советов надавала бы ей в этом случае ее настоящая родительница, и чуть не рассмеялась.

— А вы не думаете, Ваше Высочество, и вы, ваша светлость, что меня с доном Карлосом могла связать любовь? И что его дары — это дары великой любви?

Итальянка не шутила. Она с вызовом говорила почти что дерзости, еще чуть-чуть, и маркиза почувствовала бы себя оскорбленной. А донна Исабель наверняка уже почувствовала и в долгу не останется. Кроме того, отчетливый голос итальянки мог долететь до прочих гостей.

— Великая любовь доказывается великими деяниями, а не великими и трижды великими тратами, вам ли того не знать? — маркиза приняла тот же вызывающий тон. Две женщины оказались на равных, взяв королеву в судьи.

— Что же делать, если в наш унылый торгашеский век только великие траты и могут быть сочтены великими деяниями? И дама не может выказать свою благосклонность иначе, как только приняв подарок.

— Я с вами не согласна, милая моя, — ласково сказала донна Исабель, но в голосе ее слышался опасный посвист, — не знаю уж, как у вас на Родине, но здесь, в Кастилии, рыцарь может завоевать благосклонность своей дамы, не прибегая к мошне. Я не буду говорить вам о славных воинах, которые сражаются с маврами, а расскажу историю, связанную как раз с той персоной, чьи подарки вы считаете знаками любви.

Алессандрина хотела сказать, что знает эту историю, но в снисходительно прищуренных глазах королевы давно плясали голубоватые гневные сполохи; итальянка сочла за лучшее придержать язык.

Королева ни словом не упомянула о том, что отец донны Маргариты — маран и отступник, и что ему удалось бежать. Она всячески превознесла супруга этой донны Маргариты, дона Питера: славный рыцарь и благочестивый католик, он одинаково решительно защищал честь своей невесты, и честь ее кузины Элизабеты, которая, прежде чем стать грандессой и дамой, наделала немало глупостей. Не будучи богат, знатен и расточителен, дон Питер покорил первую красавицу Англии исключительно своими рыцарскими добродетелями. Донна Маргарита не променяла его любовь даже на корону, которую сулил ей дон Карлос.

— Каждому свое, Ваше Высочество. Кому-то утешаться с рыцарями, кому-то обманом становиться грандессой, а кому-то принимать подарки от обманутых грандов. Мир жив разнообразием. Когда добродетель не противостоит пороку, она перестает быть добродетелью. А великая любовь принимает разные обличья и говорит на разных языках. Язык золота — в их числе, и я осмелюсь предположить, что он не хуже и не лучше других. Могу сказать, что тысяче сладких слов я предпочту подарок в тысячу флоринов.

— А я осмелюсь предположить, что его светлость не скупится ни на слова, ни на флорины, — совсем зло сказала королева, чувствуя, что втянута в недостойную перепалку, прекратить которую можно, только осадив итальянку так, чтоб той впредь было неповадно, — однако вам, милая моя, следует быть осмотрительнее, ибо по вам будут судить о Венеции… Не так ли, любезный дон Карлос?

За спиной у Алессандрины стоял улыбающийся маркиз. Верно, он слышал часть разговора и пришел ей на помощь.

— Не вижу повода осуждать Мадонну Венецию, — лукаво сказал он, — и не кажется ли вам, моя королева (донна Исабель оторопела от такой вольности), — что сиятельный посол дон Федерико верней наставит донну Алессандрину в вопросах поведения, нежели мы с вами?

— Безусловно, это так, — ответила королева, совладав с оторопью, — но я, кажется, на правах государыни могу указать вам, что вашими опрометчивыми поступками вы даете пищу нелестным слухам о той даме, которой вы служите, и честь которой для вас должна быть всего превыше. Так что вам необходимо принять во внимание ее положение и ваше, и вести себя более сдержанно. Вы уже не мальчик, мой друг, а она еще почти ребенок.

— Все так, Ваше Высочество, все так, — послышался насмешливо-покорный голос маркиза, — но вот беда: у нас с донной Алессандриной родственные души, нас неудержимо влечет друг к другу, и порой…

Договорить ему не позволили:

— Ах, теперь это так называется? — королева выдержала паузу, дабы все осознали, что именно здесь названо «родством душ», — и это «родство душ» обязывает вас, дон Карлос, к тому, чтобы возить ее в своих носилках и увешать золотом с ног до головы? — она намеренно не стала сдерживаться.

— Как родственные души, мы испытываем одинаковую тягу к благородным металлам, Ваше Высочество.

Это было уже слишком. Эти прелюбодей с прелюбодейкой словно соревновались: кто тоньше и смелее надерзит. И Господь с ней, с венецианкой, которая возомнила себя искусительницей короля, но скоро уберется в свое болото, однако дон Карлос непростительно осмелел. Ну, ничего, на послезавтрашней охоте они с верной Беатрис де Мойя пустят в ход свои острые языки. На охоте всегда сыщется много поводов пошутить.

— Вашу новеллу о великой любви вы, кажется, начали писать без меня? — дон Карлос увел Алессандрину от разъяренных дам под предлогом того, что хочет показать ей Алькасар. Только непонятно было, кому он этим оказал большую услугу — своей «родственной душе», или своей королеве.

— Вдохновение не привыкло ждать, дон Карлос.

— О да! Вы очень вдохновенно надерзили там, где дерзить ни в коем случае не следует. Я мог бы считать, что отмщен, кабы не знал так хорошо донну Исабель.

— Касательно дерзостей, дон Карлос, я должна заметить, что временами у меня кружилась голова от вашей смелости, — она согнала с губ улыбку, — вы упрекаете меня за опрометчивость?

— Я упрекаю себя за опрометчивость, донна. Но совсем чуть-чуть. А вас не упрекаю ни в чем. Великой любви все простится, а что не простится, то забудется — он непринужденно подал ей руку, она оперлась…

— Сиятельный маркиз, кажется, опять все перепутал. Эта милая особа вовсе не донна Элизабета.

Знакомый голос. Голос графа Мирафлор. А у него, дона Карлоса, полшага на то, чтобы ответить или не ответить. Обыкновенно он не отвечал. Но обыкновенно он появлялся в Алькасаре один. Алессандрина шевельнула губами. Заступаться, что ли, за него собралась?

— Я рад, что высокочтимый граф Мирафлор, в отличие от меня, не путает своих женщин, — ровным голосом отшутился дон Карлос.

— А я рада тому, что ни в коей степени не похожу на донну Элизабету и меня нельзя с ней перепутать! — подхватила Алессандрина, приседая в реверансе.

— Сиятельный граф, есть иная опасность, — обратилась она к Мирафлору, несколько опешившему, (потому что он-то рассчитывал вогнать маркиза в краску), — дон Карлос так любезен и добр ко мне, что я невзначай могу принять его дружбу за нечто иное. Но в этом будет только моя вина. Mea culpa! Mea maxima culpa! — и с этими словами она потянула своего спутника прочь.

«Представьте же себе, каково выслушивать подобное по десять раз на дню!» — хотел вслух посетовать дон Карлос, но не посетовал.

Он проходил мимо насмешек, словно они и не сотрясали воздух. Но они жили в нем вместе с голосами и улыбками насмешников. Он ощущал их, то как ядовитые шипы, то как маленькие кровососущие жала. С каждым днем их вонзалось все больше, и все глубже они проникали в него. Зря он не отвечал на них хотя бы так, как сегодня.

…Возле самого города, лежавшего в отдалении дымчатой мозаикой, дорога шла по холмам. Окружающий вид стал разнообразнее и пестрее, то тут, то там краснела черепица, белела колокольня или ограда, желтел посев или чернела пашня, светлела переменчивая под облачным небом вода - да и ложбины с возвышенностями не давали глазу соскучиться: словом, это было всем приятное путешествие - если бы не менялось так быстро небо, еще минуту назад почти чистое (солнца, однако, не было - хоть время, казалось, было полуденное!), а сейчас испещренное сине-белыми крутобокими облаками.

Больше всего их теснилось на севере и востоке. Они скользили с поразительной быстротой, как будто сами по себе (здесь, внизу, ветра не было), заполоняя оставшуюся голубизну - их подбрюшья тяжелели и темнели, подергивались странным туманцем, который густел в белесую пелену, похожую на сухие паучьи тенета.

Она уже поняла, к чему это. Она уже искала взглядом укрытие, но все деревни, будь они неладны, оказались в чудовищном отдалении - словно на дурной картине, написанной без оглядки на перспективу. Хуже того - гряда холмов стала выше, и пологие склоны тянулись вниз на мили и мили, переходя в лоскутный покров полей.

Она поспешала, шагая как могла шире, шаг ее то и дело срывался в шаткую рысь - памятную телу по прежним снам и по яви.

Однако странное состояние воздуха изрядно искажало перспективу - потому что одна из усадеб, выстроенная на склоне, чуть ли не подкатилась ей под ноги: в мощеном покатом дворе суетились женщины. Она обогнула жилище, рассчитывая спуститься как можно ниже. Неожиданно совсем близко открылся город - ярусы предместий, выкипевших аж на стену: видны были только зубцы, обведенные серебряным светом, отраженным от моря... А над морем языком вытянулась черная, сплывшаяся от собственной тяжести туча, и с нее опускалось в воду нечто, похожее на дымный сталактит... Торнадо! Охвостье его исчезало в угрожающем блеске воды, и он сейчас должен был наскочить на гавань!

Фонтаном взметнулись обломки. Еще! Еще! Черный смерч окутался дымом и стал толще - словно он кормился разрушением. Завороженно следя за ним (почему она при этом стояла на четвереньках?) она забыла об опасности сзади, и всполошилась лишь когда на плечи почти ощутимым грузом легла мгла.

Там, за спиной, все было в пепельных, от земли до неба тенетах - был это ливень, или движение воздуха так странно влияло на мокрую хмарь? Среди них, неподвижных, шествовал торнадо - и ее пронизала тягучая судорога узнавания - словно столп из ветра, земли и воды был живым, имеющим имя и душу врагом. Он шествовал, подпирая слившиеся в единый свод тучи, втягивая в себя новые и новые полосы тенет. Его голос овладел воздухом и заместил воздух.

И он близился.

Она легла наземь лицом вниз под напором тугого ветра; через миг он оборвался, и пало безмолвие. В безмолвии она подняла от земли отяжелевшую голову:

Торнадо был рядом.

Но это был уже не он.

Зримо упругий, точно свитый не из воздуха, а из прозрачных жил, сверху донизу пронизанный белым сиянием столп толщиной в ее - не больше - охват стоял, казалось, на расстоянии протянутой руки, не вызывая не малейших колебаний воздуха.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ

На исходе которого мона Алессандрина становится женщиной

— Дон Карлос, друг мой, он сделал мне подарок! Он подарил мне белую лошадку, такую же как у вас, нарочно к завтрашней охоте, — Алессандрина явно хотела что-то от него услышать. Она сидела перед ним, смотрела ему в глаза и, наверное, отражалась там вся, как есть: слегка ссутулившаяся, теребящая плоеный край рукава, ожидающая слова, ласки, мимолетного мановения руки, отметающего прочь все кручины и печали.

— Ну, придется мне подарить вам двух лошадок! Одна будет гнедой масти, другая — вороной. Таким образом, у вас будут три разномастных лошадки, и вы всегда сможете выбрать ту, которая будет лучше сочетаться с вашим платьем.

— Я вовсе не напрашивалась на подарок, дон Карлос, — Алессандрина была одновременно польщена и разочарована. Она ждала других слов - серьезных и тревожных, чтобы, оттолкнувшись о них, рассказать Карлосу о торнадо и спросить, не стоит ли ей при новом его явлении - раз он встречает его изо сна в сон - попросту шагнуть в ветряной столп.

— Я знаю. Донна Алессандрина, сегодня вечером я позвал тех, которые еще остались моими друзьями, в мой загородный дом. Среди них есть и дамы. Там будет маленький пир в духе старой Византии. Могу ли я рассчитывать, что вы примете приглашение, и прислать за вами носилки после вечерни?

Черные носилки ждали ее у паперти, и в них был он сам, одетый пышно и мрачно в долгополое, с вырезными рукавами платье, щедро подбитое никогда не виданным ею соболем. Когда она садилась в носилки, ей послышался за спиной шепоток, пробежавший среди выходящих прихожан, но тут плотные занавеси сомкнулись, шум стал глуше, а свет исчез.

Носилки привезли их к очень старинному мавританскому дому; он стоял в предместье, уже за крепостной стеной, и был укрыт высоким дувалом.

Стойкий дух сандала и розы наполнял каждую трещинку, каждую ложбинку арабесков, сплошь оплетающих стены и многосводчатые потолки. Слабо освещенные покои были полны вкрадчивого молчания ковров — ничто не скрипело под ногой, не падало со стуком на каменные плиты, отзываясь эхом в каждом закоулке. Чем дальше вел ее под руку хозяин, тем больше ароматов сплеталось в густеющем воздухе.

Путь окончился в довольно высоком расписном покое. Лепестки живых роз (откуда? — зимой!) медленно опадали с деревянной галерейки, и на этом вся Византия заканчивалась. Прочее было Мавританией, только Мавританией. «У меня две Отчизны… Но одна скоро падет…» Он оставил одну ради другой, но этот осколок нежно хранит у сердца.

Покой был пуст.

Тонкий дымок кудрявился над курильницами, и сладкий холодок ладана чувствовался в этом дымке наравне с приторным, почти удушливым благоуханием неизвестного вещества. На Алессандрину этот запах нагнал тоску.

— Скоро ли начнут собираться? — спросила она, проходя по коврам к столу.

Карлос смотрел на нее и вспоминал графа Мирафлор. Она не похожа ни на одну из двоих, принесших ему беду. Она — мед и золото, чистый мед и чистое золото, мед в ее темных глазах, золото — в мелко завитых волосах, и вся она точно припорошена им: проведи пальцем по выступающим позвонкам, и на пальце останется золотой налет.

— Все уже в сборе, донна, нам некого больше ждать.

Между ними сиял карафинами и блюдами стол; стол походил на город, полный арен и мечетей.

Они смотрели друг на друга поверх сияющего града-на-столе. Розовые лепестки соскальзывали с ее гранатового платья, но оставались на волосах.

«Ты умница, ты догадаешься…»

— Вы верно меня поняли, донна. Вы мой единственный друг, и вы дама; я не солгал вам, когда говорил о дамах и друзьях.

По ее молчанию он подумал было, что гостья сердится, и удивился, когда, не сказав ни слова, она села и позволила налить себе полный бокал вина.

Вместо двух высоких кресел был диван, полукругом огибающий стол, и их, севших рядом, не разделяло даже самой маленькой подушки.

— Вы дадите мне знать, когда мое общество вам наскучит?

Она кивнула, подняла бокал и краем его задела край д'Агиларова бокала — звон — должно быть, это излюбленный обычай Венеции, где стекло такое звонкое.

— А сейчас, донна, будет маленькое развлечение. О ней только и говорят в городе, и я нанял ее на этот вечер нарочно, чтобы показать вам…

Алессандрина подумала, что об этом найме тоже — всенепременнейше — будут говорить в городе.

Заиграла музыка, вначале чуть слышно, словно настраивая слух и зрение.

— Ее зовут Арана. Это фамилия, но звучит, как языческое имя. Говорят, дон Кристобаль от нее без ума.

«Арана» было последнее, отчетливо расслышанное Алессандриной, потому что горячая невесомая рука обняла ее, и пальцы погладили плечо сперва поверх рукава, а потом, перебравшись чуть выше — по открытому телу.

Арана танцевала танец, неизменный со времен Тира и Гадеса. Одно за другим спадали с нее семь ее покрывал.

Алессандрина смотрела на Арану, ощущая тепло, льющееся от обнявшей руки.

… Дон Фернандо стискивал со всей силой жаждущего.

… Дон Карлос до сего дня обнимал, конечно, не как друг, вовсе нет. Просто он до того стосковался по женщинам, что обнял бы любую, не склонную врать.

Но это его обволакивающее объятие вытягивало из нее последние мысли, оставляя одну только о том, что, кажется, кажется… Дальше слов не нашлось. Вернее, она побоялась назвать кажущееся словами.

Если они так и будут глазеть на Арану, оба делая вид, что его руки нет на ее плечах, то это будет предательством. Ее предательством. Одна предала его, рассказав про корону. Ей, Алессандрине, и рассказывать ничего не надо: не замечай себе обнимающую руку.

Ведь он-то уже сделал и первый, и второй шаг, и третий. И у него нет права хватать ее в охапку и валить на перину!

Наученный горьким опытом, Карлос отпустит ее, и до самого прибытия галеры будет ей другом. Он сам возвел ее в свои друзья. А для прочих довольно и признаков того, что они — любовники.

Она повернулась, и встретила его взгляд.

Просто смотреть друг на друга дольше, чем два удара сердца, они не могли.

Кружилась Арана, скинув последнее покрывало. Падали из темноты в темноту лепестки.

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

В КОТОРЫЙ НЕЧАЯННО ВСЕ РЕШАЕТСЯ НЕ НАДО ЛУЧШЕ ДЛЯ МОНЫ АЛЕССАНДРИНЫ, НЕ ОЗАБОЧЕННОЙ БОЛЕЕ ЧУЖИМИ ДЕЛАМИ.

Он очнулся, почуяв, что уже недалек рассвет. Волосы Алессандрины щекотали ему подбородок и горло, они пахли вчерашними благовониями и ею самой. Ночью он звал ее каким-то коротким именем… **А**ли. Да, именно так. Имя дому под стать.

Костяшками пальцев он провел вдоль ее голой спины. С края ложа потянул на ощупь меховое одеяло, закутал ее — даже не проснулась.

Не дама, не супруга — подруга. Подруга… Спи, моя подруга.

А что ей мешает и впредь оставаться его подругой?

Уединенный дом, хоть вот этот; молчаливая прислуга, лучше из морисков, они дорого ценят защиту знатного христианина, а вскоре будут ценить ее еще дороже; дети — дважды бастарды, пусть. Главное — насмешкам, песенкам и сплетням путь сюда заказан. Ничто из этого не вспоминается рядом с Али. Рядом с Али все так, будто он — прежний, и не нынешняя, а прошлая зима свистит в ставнях сырыми ветрами.

Как же у нее это выходит? Как будто она берет в себя его память, а ему позволяет не помнить. Сейчас она спит, и память вернулась. Но она проснется, и он снова станет самим собой — кабальеро, идальго, грандом. Соблазнителем, как этой ночью, без меры и удержу. Без меры и удержу. Ни одного «Оставьте!», ни одного «Прошу вас!..», ни одного «Нет!!» этой ночью он от нее не услышал.

Ну да… Она все время помнит, кто он такой. И старается держаться так, чтобы ни звуком, ни взглядом не напомнить ему об этом. И ей удается — уследить за каждой мыслью своей о нем, за каждым вздохом, за каждым мимолетным движением. В этом все дело.

Он блаженно вздохнул и зарылся лицом в ее волосы. Все как прежде.

«Могу стать вашей, ежели захотите. И обойдусь вам совсем недорого…»

Мало же ей надо!

В самой глубине души что-то задребезжало и треснуло.

Как же ей мало надо.

А что он может, кроме этого? Что? Что?

Он выпустил спящую из объятий, встал, неслышно зашагал взад-вперед возле ложа, на ходу продевая руки в широкие рукава домашней симарры.

Кроме этого дома да звания своей любовницы он ничего не может ей дать.

Не сбежать ли? Недалёко Африка. Там Альджерия, Тунис, другие державы полумесяца. Отступись от Назореянина, и тебя примут. Каково тебе покажется быть старшей и любимой женой, сладко спящая Али?

Пустое…

Что тогда?

Рим? Развод?

Он остановился.

А почему нет?

«Почему нет?» — яростно прошептал он, чтоб до конца увериться во внезапно возникшем намерении, и оглянулся в испуге — нет, не проснулась, слава Богу.

Мысли заскользили как стремительные эфы по раскаленному песку.

Иные разводу предпочли бы убийство. Есть немало способов, тонких, ловких и верных. Усилием воли он заставил свои мысли свернуть с этой торной дороги на дорогу, ведущую в Рим.

Итак, Рим. В Риме его знают многие. Толика золота, и прелаты с охотой склонят слух ко смиренным мольбам раба Божия Карлоса.

Дьявол, да ведь на том турнире Исабель поклялась за него, лежащего без памяти, что если он снова начнет судиться со своей супругой, имя его будет предано позору!

Куда уж больше позора, моя королева, куда уж больше!

А хотя… Хотя, речь, кажется, шла о том, что он не должен оспаривать законности брака… Ну, так он и не оспаривает! Брак законен, брак трижды законен, и четырежды действителен, и этот действительный и законный брак с донной Элизабетой он хочет расторгнуть. Почему?

А это сейчас не суть важно.

Важно, что, добившись развода, он получит свою Алессандрину. Всю, как она есть, золотую, медовую, насмешливую, кортезану и дочь кортезаны, венецианскую лазутчицу, королевскую пассию…

За неплотно прикрытыми ставнями мало помалу светлело.

Она проснулась и смотрела на него с постели, не говоря даже «Доброе утро!»

«Вложи свечу своего раскаяния в холодные пальцы умершей невинности ее…»

Он хотел рассказать ей все, до чего додумался, ожидая ее пробуждения, и не стал ничего рассказывать. Нечего стало сказать, пропали куда-то слова, красивые и обычные, всякие, все до единого, какие могут быть, и он беспомощно ждал, что скажет она, а она молчала.

А она молчала — у нее не было нужды говорить. Она думала: до конца жизни пролежала бы вот так под его виноватым взглядом, в нежной полутьме мавританской спаленки, потому что около полуночи время разорвалось, неравные части его разметало, и та [часть], не большая и не маленькая, что досталась им, вот-вот замкнется сама в себе. Слово «любовница» — думала она дальше — как ожерелье из жемчуга, бесстыдно богатое и бесстыдно дорогое, каждая жемчужина — с голубиное яйцо, лестное и опасное подношение — такое ожерелье.

Задумавшись, она не заметила, как рваное время снова слилось и спрямилось, являя мысленному взору день прошедший и день предстоящий, оглашенный воем охотничьих рогов, крепким топотом копыт по сухой земле, кликами и треском веселого огня.

— Есть хочешь? – вдруг спросил он.

Она раскрыла глаза, словно бы проснулась окончательно:

— Еще бы нет, мой друг, еще бы нет! — сказала хрипловатым низким голосом, в котором уже слышался хохоток, и села, ладошкой прижимая на груди простыню.

— Ты более мавр, чем кажешься… — Алессандрина ела, так и не покинув постели. Из одежды на ней по-прежнему оставалась только простыня, которая то и дело сползала, и она подтягивала ее обратно липкими от сластей пальцами.

— И порой это мне сильно мешает. Если ты будешь есть столько сладостей, свет моей души, ты станешь похожа на эту перину, уж не говоря о том, что сделается с твоими зубами.

Замечание было к месту. Завтрак Алессандрины состоял почти исключительно из цукатов и вареных в меду апельсиновых долек.

— Вот обожди, после сладкого меня всегда тянет на соленое.

— Что такое? Ты намекаешь на возможных бастардов?

— Нет, на свой вкус. Меня с самого детства после сладких пирогов тянет на солонину, именно на солонину, и чем она солонее, тем лучше. Матушка моя не устает на то дивиться до сих пор. А что до зубов, то Бог миловал, я никогда на них не жаловалась.

Карлос очень задумчиво (и очень ласково) смотрел на нее.

— А знаешь, ты ведьма. Я всегда подозревал, что отцам-инквизиторам не попалось еще ни одной натуральной ведьмы.

— Побойся Бога, ты впадаешь в ересь.

— Нет, вовсе нет. Я же не отрицаю существования ведьм. Я только говорю, что отцам инквизиторам еще ни одна не попалась.

— Кто же им, по-твоему, попадается?

— Глупые и тщеславные женщины, которые воображают себя ведьмами. А ты вот… Смотри, что ты творишь: король, Его Высочество, едва увидев тебя, начинает чуть ли не выдыхать искры, дарит тебе лошадь… А я, будто мало позора на мою бедную голову, увешал тебя золотом, вместо того, чтоб выдать коррехидору, да еще заступил дорогу королю. И все это произошло за каких-то восемь или девять дней. Солонины нет на столе, съешь-ка паштета, а то у меня скулы сводит при виде этих сластей.

Алессандрина, видно, и сама пресытилась сластями; она с радостью потянулась за паштетом. Простыня опять открыла ее прелести.

— Оденься в то, что не спадает, моя волшебница. Иначе нам не выйти отсюда до Второго пришествия.

— А надо ли выходить?

— Увы, надо. Мы были званы на охоту, причем ты — особо, и тебе для этого подарена лошадь, которую ты даже не озаботилась взять сюда.

— Вчера я была звана на дружеский пир в византийском вкусе, и никак не рассчитывала тут завтракать… — она со значением оглядела себя сверху вниз.

— Тебе понадобятся перо и бумага, чтобы написать записку в посольство. Мой слуга отнесет ее.

— Так уж и быть, — быстрым уколом двузубой вилочки она подцепила последнюю апельсиновую дольку, и заела ею паштет.

— Боюсь, моя волшебница, мы этак поспеем только к объедкам жаркого! Все по пословице, — заметил маркиз, оглядывая улицу, ведущую через предместье к воротам.

Скоро должно было бить полдень, улица была полна людей.

— По которой пословице?

— Кто рано встает, тому…

Алессандрина расхохоталась так, словно услышала непристойность. Уследив за извилистым скольжением ее мысли, маркиз едва сдержался сам. Пословица о встающем и дающем презабавно вывернулась.

— Вот что: объедки с королевской трапезы не есть мое любимое кушанье. Поэтому держи поводья крепче, потому что мы поскачем, а не поедем шагом.

Простолюдины жались к стенам, срывая шапки и не успевая разглядеть, кто это такой неистовый мчится по самым широким улицам во главе своей свиты и бок о бок со своей дамой. Какая-то женщина из-под самых копыт с воплем выхватила зазевавшегося дитятю; визжа, отлетела в сторону попавшая под кнут шавка.

Но рыночная площадь так кишела народом, что поневоле пришлось умерить прыть.

— Глядите, его светлость опять что-то перепутал! — радостно сказали сбоку.

Значит, мирафлоровы остроты все же пошли по городу… Ладно, коли так.

Дон Карлос развернул коня к шутнику боком, раскланялся.

Эта толстогубая харя попадалась ему на глаза уже не в первый раз. И дурашливый радостный голос он тоже слышал не впервые.

— На этот раз путаница произошла к обоюдному удовольствию, милейший. Но лучше бы ты утруждал свой острый глаз и острый язык по иным поводам. Не все гранды так любезны, как я. Граф Мирафлор в подобном случае отшутился бы кнутом.

Шутник был не из робких. Он предерзко вернул поклон, приподняв войлочную шапку.

— Коли так, ваша светлость, нельзя ли просить вас о любезности представить вашу даму честным горожанам?

Один поворот головы и свита мигом их разгонит. Побегут, как крысы, на бегу изощряясь в остроумии…

— Я не из тех, кто скрывает имя своей дамы, милейший. Честь имею представить — донна Алессандрина, племянница светлейшего посла венецианского.

Она тронула коня пяткой, чтобы подался вперед, кивнула. Колючий ветер насмешек стихал как будто.

— Отчего ж вы не спрашиваете, как поживает моя крестная матушка донна Исабель? Это с вашей стороны неучтиво, обычно вы это делали. Но будем считать, что вы спросили. Моя крестная матушка донна королева Исабель поживает все лучше и лучше. Если же вам любопытно, на каких еще турнирах защищала мою честь моя достойная и добродетельная супруга, то должен признаться, что всячески оберегаю ее от подобных подвигов. Хотя, полагаю, в войне с маврами от нее будет больше пользы, нежели в гостиной кастильо д’Агилар. Будь она крестоносной воительницей, как ее достославные предки, я почел бы за честь быть ее смиренным оруженосцем. Кажется, я все доложил вам о своих делах?

Алессандрина улыбалась. Перепалка походила на модное нынче фехтование: чувствительные, но не болезненные уколы возвращались сторицей.

— Любезные горожане, дайте же нам проехать, мы торопимся, — шутливо взмолилась она. Народ с прибаутками начал расступаться, прямо сказать, не слишком торопливо. Карлос от возбуждения теребил наполовину стянутую перчатку.

Проезд уже почти освободили…

Фанфары.

В толпу на рысях ворвался королевский охотничий выезд.

Маркиз и его любовница оказались лицом к лицу с доном Фернандо и донной Исабель.

— Горе нам, мы не поспели и к объедкам, — одними губами сказала Алессандрина.

— Нет, что-то случилось, — без тени улыбки отозвался Карлос, отвешивая положенный поклон.

— Дон Карлос, наш любезный племянник, — сухим тенорком начал дон Фернандо, — мне следовало бы крепко попенять вам за то, что вас не было на охоте, и вы даже не соизволили меня об этом уведомить, но я не буду ничего говорить по этому поводу… — он говорил так, словно Алессандрины рядом вовсе не было, — потому что случилось большое несчастье, и оно имеет прямое касательство к вам лично.

Светлыми недобрыми глазами король обвел пространство вокруг, не отличая, кажется, даже конного от пешего, снова остановил взор на чуть побледневшем племяннике:

— По несчастной и роковой случайности, ваша супруга донна Элизабета была ранена и рана ее оказалась смертельной.

Небо просело и тяжким краем надавило на землю, креня ее вбок. Он пошатнулся, сжал переносицу. Единый выдох многих людей продлился шумом в висках.

И все время, пока дон Карлос приходил в себя, Алессандрина выдерживала взгляд короля. Незримое жемчужное ожерелье — **л-ю-б-о-в-н-и-ц-а** — сверкало на ней. Не его любовница — племянника — и никакое во лбу пылающее ¡Yo el rey! не в силах этого изменить.

— Где она? — долетел до Алессандрины вопрос Карлоса из такого далека, точно королевский взгляд притупил ее слух.

— Ее отвезли домой, дон Карлос. Прошу вас, поторопитесь, если хотите застать ее живой, — ответил голос донны Исабель.

Дон Карлос, поклонившись, тронул коня. Не зная, что делать, Алессандрина последовала за ним.

Где-то слева из-за чьего-то плеча мелькнуло лицо посла венецианского, но она не успела различить его выражения.

В беломраморном парадном патио стояла полная соломы двуколая тележка. Тут же топталась нерасседланная белая лошадка донны Элизабеты, почти такая же, как у Алессандрины.

Алессандрина шла за маркизом через все покои, не зная, в каком остаться, пока не оказалась у самого смертного одра.

Донна Элизабета лежала на своей половине постели. Возле, на треножнике, блестел серебряный таз, и в тазу — арбалетный болт. У изголовья молился доминиканец. У изножья стоял врач-мориск. Он тоже что-то шептал темными губами, но, услышав шаги, отвлекся и повернулся к вошедшим.

— Глухая исповедь, ваша светлость… Она отходит…

Маркиз сделал ему знак, они удалились в полутемный проходной покой.

— Было задето сердце, ваша светлость… Удивительно, как с такой раной она выдержала путь до дома. Она очень сильная. Попади стрела на палец ниже, она выжила бы непременно… — мориск повел умными глазами на безмолвную Алессандрину, не удивляясь, просто принимая к сведению, что благородный дон Карлос к умирающей жене явился с любовницей.

Донна Элизабета уже вытянулась, как была — в красном, на английский лад скроенном платье с горностаем по подолу и вороту, одна светлая коса выбилась из прически и была немного запачкана кровью, а так на красном крови почти не было видно.

Невозможно.

Немыслимо.

Это не могло случиться вот так: как нарочно, как по злому человечьему умыслу, как по его злому умыслу… Да ведь не было умысла, не было!

А только живая его любовница стоит над мертвой его женой, с которой он как раз сегодня утром вознамерился было развестись, и еще гнал от себя прельстительные мысли о яде, кинжале и прочем подобном, что рвет брачные узы куда быстрее и проще, чем Его Святейшество. Ан вот изгнанные мысли его вернулись арбалетной стрелой, трехгранной, темной, боевой — откуда бы такая на веселой королевской охоте, откуда?

И теперь лежит перед ними мертвая английская дуреха. Стоило ей тогда заваривать всю эту кашу, переодеваться в кузинино подвенечное платье, красить волосы, обмирать в страхе, когда он ее перед алтарем целовал, одурев от страсти и подсыпанного тишком зелья. Стоило павой выступать в королевском суде, а на турнире хватать с песка его меч и замахиваться на победителя с криком «Прежде, чем ты убьешь его, убей меня…» Этого он уже не видел, это ему рассказывали, пряча улыбки.

Он ненавидел ее? Нет. Не было смысла. Все рухнуло не по ее – по его вине. Он всегда был слишком умен, чтобы винить других. Он даже думал, давно, до Алессандрины, что когда-нибудь и где-нибудь, в отдалении от городов и двора, посмотрит на неистовую Элизабету иначе, и признает ее женой не на словах и не от нужды. Но до поры он позволял себе обзывать ее «белобрысой», ласковым голосом говорить ей до слез обидные вещи, и не прикасаться к ней ночами, лежа на расстоянии вытянутой руки от нее. Это не так уж сложно, если ты едва-едва оправился от ран…

Но что за дьявол ведет с ним игру?

Он покосился на Алессандрину почти со страхом.

Молоденькая ведь, вдвое его моложе.

И тут у него неприятно закружилась голова, пришли на ум все недавно слышанные шутки про перепутанных дам, и сквозь видимую ткань происшествий недавнего времени стала просвечивать тайная их связь. Когда она стала явственной, он едва не вскрикнул.

Он велел женщинам обмыть и обрядить покойницу, отдал прочие распоряжения, положенные в таком невеселом случае. Из головы все не шли мертвая супруга в красном распашном наряде английского покроя, живая любовница в бархате гранатового цвета, белые лошадки во дворе — разве что у донны Элизабеты лошадка чуть подороднее, чем у Алессандрины.

Обе в красном, обе — на белых лошадках, обе светловолосы и не прячут волос, обе — чужеземки, это видно издалека. Что стоило меткому стрелку принять одну за другую? Ему перечислили приметы — светлые волосы, красное платье чужеземного покроя, белая лошадь — и приказали убить такую женщину. Со ста, двухсот или пятисот шагов оттенка платья не различить. Смотрел ли стрелок на гербы? Ясно, не смотрел.

А ведь она и часа не прожила бы, попади в нее эта стрела. Выходит, он сберег ее сердце размером чуть побольше кулака.

Она все была тут, возле него, она ждала. Он сильно стиснул ей ладонь, уводя за собой через все покои во двор, где метались обескураженно челядинцы. Прикрикнул на них, велел впрячь носилки.

— Куда мы? — спросила она, натягивая на плечо сползающий плащ.

— В посольство покуда. Я провожу тебя. Расспроси дядюшку о том, как это случилось, в подробностях. Я тоже расспрошу тех, кто еще ко мне расположен.

— Ты полагаешь, ее нарочно?

Носилки были готовы. Он подсадил в них Алессандрину, устроился сам, задернул занавески.

— Я полагаю, что **ее -** случайно. Я полагаю, что метили в тебя. Я полагаю, что это дело рук дона Фернандо. И единственное, что я могу для тебя сделать, это нанять добрую каравеллу, чтобы ты крайний срок послезавтра отбыла в Венецию… — он осекся, потом до странности неловко притянул ее к себе, — я могу и еще кое-что для тебя сделать… Но не знаю, примешь ли? Мы могли бы обвенчаться.

Посол разговаривать не хотел. Он не хотел даже ее видеть. Алессандрина только к вечеру решилась постучать в резную дверь его кабинета, и, когда отозвались, попросила разрешения войти.

— Ну и что ты наделала? — спросил он сухим от ярости голосом, — перед королем выставилась девкой, которой смазливая рожа и сладкие бредни дороже чести? С каким лицом по твоей милости я должен теперь являться при дворе?

— С тем же, с каким и прежде являлись. А я всего только устроила свою жизнь. Мы с маркизом, даст Бог, обвенчаемся. А послезавтра я уеду на судне, которое он наймет для меня, — ее голос тоже был сух, но не яростен.

Посол подавился воздухом. Мысли его были видны в его глазах — сплошь дурные мысли о сговоре и женоубийстве.

— Не надо думать обо мне дурно, — сказала она, — я сделала свое дело, и…

— Да уж, ты сделала свое дело не надо лучше! — все еще запальчиво отозвался посол, и осекся, осознав, что так оно, по сути, и есть.

ОТСТУПНИК

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ,
В КОТОРЫЙ СЛУЧАЕТСЯ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ДВЕ БОЛЬШИХ НЕОЖИДАННОСТИ.

Низкие берега отсвечивали нежнейшей апрельской зеленью, ею пропах пологий несильный ветер. Он гнал с левого берега на правый дробную серебристую рябь и овевал лицо женщины, что стояла на носу каравеллы, ухватившись руками в перчатках за крепкий, досера обветренный поручень. Ее покрывало отлетело далеко за спину, откидные рукава бились, как чаячьи крылья.

Ветер! Ей в лицо дышала земля, где любовь к женщине и любовь к Богу, несовместные от века, но купно пылающие в крови здешних мужчин, доводят до самосожжения.

Она была готова потерять себя и сгореть – лишь бы еще раз увидеть того, чье имя она страшилась упоминать даже мысленно – да и что ей имя, если он – Возлюбленный.

Что ей весь мир, клички-прозвища его насельников, их су**е**ты и тщет**ы**, их обеты, противные Господу, ибо говорил: “Не клянитесь!”?

Ей остались три часа пути по чешуйчатой ряби реки, полчаса езды шагом по тесному от толпы городу – и взгляд Возлюбленного.

Что после – неважно.

Хоть и смерть.

“Возлюбленный мой!

Прости мне всю вольную и невольную ложь мою. Прости мне златолюбие дома моего, и худородство мое, и гордыню мою, худшую из гордынь – гордыню смирения. Вот только за слепоту мою изначальную нет мне твоего прощения, даже если в сердце своем простишь меня, ибо сама себе простить не могу.”

Она осеклась в мыслях, и уставилась на воду.

Ложь. Все ложь.

“Прости мне, любимый мой, лживую пышность моей молитвы.

Ибо хочу жить с тобой. И родить от тебя детей. И долгие годы ласкать тебя на ложе, и принимать твои ласки, и прощать твои измены…

Господи, что ж это с мыслями – ровно в колею попадают! Проклята будь книжная ученость, низвергни, Господи, в ад краснобаев-книжников!»

Измен она не простит. Как себе не простила бы, так и ему не простит, но все сделает, чтобы и мысль такая ему в голову не пришла.

Ибо со дня первой их встречи она не изменилась ни на волос: ей казалось, она чувствует каждый этот неизменный волос под своим покрывалом, долгий и скользкий, как шелковое волокно. Также она чувствовала каждую кудель искристого черного руна у себя в паху; живую тяжесть грудей, чутошную дрожь в круглых коленах - она стояла на палубе уже второй час, немудрено, что ноги затекли. Было блаженством ощущать свое тело в неделимой совокупности его совершенств: это отвлекало от лживых мыслей, что составлялись, будто не ее волей, из книжных словес.

«Вот если б вовсе не стало слов! Сколь много – и сколь правдиво – может выразить рука – суховатым пожатием, или исступленным прикосновением к щеке, или скупым взмахом в ожидании почтительного поцелуя. А походка – чуть извилисты, подстать тропе и настроению, шаги по саду; ровна поступь по плитам дворца – если на уме нет ков и каверз, стремителен, сродни полету, бег по галерее навстречу возлюбленному…

А если помыслы нечисты, их выдадут жар, дрожь или влажность ладони, сбивчивость поступи, вороватое скольжение взгляда от предмета к предмету.

Как выдают боль расширенные зрачки, даже если краска не сходит со щек.»

Пусть же ее зрачки расширятся от любви, и примут весь свет полдневный.

Подворья на берегах стали попадаться чаще. Желтыми лентами потянулись проселки. Кое-где белели островки овечьих отар.

Дыхание ветра все сильнее отдавало дымом и духом хлевов.

Слева в межхолмьи забелело большое, по всему видать, старинное село. С колокольни благовестили. Отделенные друг от друга равными промежутками времени, удары колокола были так ясны, что казались осязаемыми, как волны или порывы ветра.

Она перекрестилась.

Благовест можно было принять за счастливый знак, но она не верила столь незатейливым знакам, особенно если они были явлены по отдельности. Знаки должны следовать друг за другом - да, как удары колокола, предсказывать друг друга, чтобы предваренное ими событие в свою очередь стало знамением чего-то большего – как возвещенная благовестом обедня предшествует благодати. Нет, одинокий благовест сельской церкви ничего не значит.

Между тем, она нуждалась в знамениях. И чем ближе был конец путешествия, тем сильнее дрожали колени, а сердце стало пропускать удары.

Вдали по холмам разостлалась серая пелена.

Это был город. В дыму своих очагов, кузней, и негасимых костров инквизиции он разлегся перед ней, равнодушный, шумный, глухой к мольбам. Каравелла до предела умерила ход.

Груженые и порожние барки, лодки со скучающими лодочниками, вереницы согбенных грузчиков, караваны ослов; частые узкие окна с полукруглым верхом, пестрые навесы, чадные ущелья улиц, полных толкотни и ора; а надо всем высоко громоздящийся Алькасар и закопченная древняя храмина с новой, меньше века назад отстроенной звонницей.

Каравелла причалила. По сходням свели двух коней, размяли их тут же на пристани, и заседлали - кобылу женским седлом, жеребца - мужским, простым и потертым. Крепкий слуга подержал даме серебряное стремя, и сам вскочил в седло. Некоторое время она из-под руки оглядывала площадь у пристаней, пока не углядела в кишении толпы стражников. Голосом она тронула свою лошадь с места. Сопровождающий, учтиво приотстав, последовал за ней.

- Уважаемый старшина! - наклонилась дама к начальнику караула. Тот, польщенный, зарделся. - Не могли бы вы указать мне, как отсюда быстрей проехать в кастильо Агилар, дом его светлости маркиза Морелла?

Стражник объяснил дорогу с такой охотой, словно надеялся заслужить знак отличия.

- А не знаете ли вы, в городе ли его светлость?

- Должен быть в городе, я не слышал, чтобы он уезжал: ведь Их высочества здесь, а он придворный и королевский родственник.

Дама протянула старшине монету.

Двое чужеземцев углубились в сплетение узких улиц, и принялись считать повороты.

Они добрались весьма быстро. Кастильо был маленькой крепостью, он глядел на улицу узкими окнами, и подставлял взорам гладкие беленые стены, пряча все роскошества внутри. Над воротами висел гербовый щит с красным орлом, с него ниспадало черное полотно – знак траура.

Дама спешилась и взялась за кольцо врезанной в створку ворот калитки.

Она ожидала, что сперва откроется смотровое оконце. Нет, перед ней сразу распахнули калитку: но привратник был насторожен и вооружен.

Впрочем, при виде женщины он отступил на полшага и отвесил поклон.

За его спиной, в патио, шумел фонтан и расцветали померанцы.

- Что угодно благородной сеньоре?

- Я хотела бы видеть его светлость по чрезвычайно важному личному делу.

- Его светлость отбыли в Алькасар. Если вам, благородная сеньора, угодно его дождаться, я провожу вас в приемную.

- Может ли мой слуга подождать меня на конюшне?

- Разумеется, благородная сеньора.

Они прошли по чисто отмытой мраморной мозаике патио; в чаше фонтана тенями сновали рыбешки, от померанцев тянуло тонкой сладостью, нежное по утреннему времени солнце играло на острых листочках. Эту райскую благодать уже возможно быть счесть за первый добрый знак.

Но покои выглядели заброшенными.

Иные палаты и галереи стояли полупустыми, словно лучшую мебель вынесли за долги; ни шпалер, ни ковров, ни вышивок. Кованые из чугуна подсвечники на фоне тончайшей белокаменной резьбы выглядели, как нищие в королевской часовне; да и свеч во многих не было.

Слуга как будто услышал ее невысказанный вопрос.

- У нас перемены, благородная сеньора, большие перемены. Возможно, его светлость скоро покинет этот дом.

Впрочем, разор не достиг приемной: здесь пола не видно было из-под ковров, на скамьях и стульях лежали парчовые перинки, все подсвечники сияли позолотой, и свечи в них были новые, по углам в прорезных золоченых сферах сонно курились благовония - воздух был сух и сладок.

- Если сеньоре будет угодно назваться и изложить суть дела, я отправлю в Алькасар посыльного…

- Нет-нет. Срочность велика, но не такова, чтобы предуведомлять его светлость запиской. Я подожду.

Слуга притворил двери.

Наглухо сомкнутые створки на противоположной стене должны скрывать личные покои хозяина. Они миновали больше половины дома. Стало быть, он оставил за собой совсем немного. Что же случилось? Неужели его долги так велики?

Жаль, здесь нет его портрета. Она боялась, что хранимый в памяти облик не совпадет с живым лицом

Ее светлость донна Беатрис Мойя только-только оделась, чтобы ехать к утрене, как ей доложили о доне Кристобале Колоне – дескать, очень взволнован и настаивает на встрече. Это было странно: обычно являлся он после полудня, докладывался скромно, принять просил “при возможности” - и таковую возможность маркиза всегда находила. Тут же время было неурочное. И комиссия по дон Кристобалеву проекту, насколько было маркизе известно, накануне не собиралась: а стало быть, никаких радостных или горестных новостей, коими надлежит немедленно поделиться, у него быть не могло. Но долг покровительства требовал от маркизы принять дона Кристобаля, хотя бы и на минуту перед отъездом. Исключительно долг покровительства. Ибо слухи о нежных чувствах между нею и доном Кристобалем были только слухами. Кто он такой, чтобы вызывать у нее сердцебиение?

Он всего лишь человек, способный быть полезным кастильской короне. Пусть пока монархи его не ценят. Она, Беатрис Мойя, поддержит его добрым словом, а при нужде и золотом, ей это не в тягость. А когда он восторжествует, и принесет славу Кастилии, часть кастильской славы по праву будет принадлежать и ей, Беатрис, вдохновительнице морехода и советчице Их Высочеств.

Но как бы спокойно не было ее сердце, при виде дона Кристобаля она заволновалась, заразившись его волнением. Поводы волноваться у него оказались нешуточные.

Вчера вечером уже в сумерках он сопровождал до дома одну достойнейшую даму (танцовщицу Арана, ясное дело). Сопроводив, отправился к себе, и миновал уже полпути безо всяких препятствий, как неподалеку от моста в отхожем проулке краем глаза заметил двоих,

почуял недоброе и замедлил шаги. Они, видимо, рассчитывали напасть на него сзади, а потому, оказавшись с ним лицом к лицу, растерялись, и кинулись в открытую. Оба - со стилетами и в масках. Кто бы они могли быть? Вот относительно чего он хотел переговорить с маркизой, прежде чем обращаться к коррехидору. В Кастилии он ничьей чести не задевал, стало быть, заклятых врагов у него нет. Родня покойной жены? Ничем не обижены. Он, правда, не был ровней Филиппе, мир ее праху – но ведь брак они благословили. Родину свою, Геную, он покинул и вовсе давно.

Упоминание о Генуе, а также одно недавнее знакомство, с Генуей, впрочем, не связанное, но тем не менее навевающее мысли о приморских городах и нравах их обитателей, натолкнули маркизу Мойя на одно соображение:

- А не рука ли Венеции пыталась Вас поразить, дон Кристобаль?

Дон Кристобаль хотел было отмахнуться: мол, Венеция – дело прошлое, но не отмахнулся. Вспомнил сам: вечер у покойной маркизы Морелла, куда явился потому только, что не хотел обижать королевскую любимицу, стая разряженных сучек, смешки, шепотки – и среди всего этого молчаливая проницательная девица с грифельной доской. Венецианка. Родственница посла. Алессандрина. Точно.

Он еще тогда малодушно подумал войти к ней в расположение – мало ли как повернется дело в Кастилии, да ее перехватил сам хозяин дома, сиятельный маркиз.

- Здесь потребуется расследование по всей форме. Кроме того, вы нуждаетесь в королевской защите. – Веско пресекла маркиза Мойя начавшийся было обмен догадками и подозрениями. А про себя подумала, что покушение придаст дон Кристобалю больший вес в глазах королевской четы. – А сейчас я прошу вас сопровождать меня к заутрене, ибо заступничество Господне нам нужнее всего.

Его Высочество говорил о предстоящем походе на Гранаду. В последнее время кто только об этом не говорил, и речи венценосных особ отличались от болтовни простолюдинов лишь большей изысканностью. И вот потому, что тема была ему знакома и неинтересна, дон Карлос не столько слушал, сколько наблюдал за дядюшкой. Его Высочество Фернандо хоть и говорил о войне, каковая была его излюбленным предметом, однако думал о другом. Многозначительный взгляд короля столь часто схлестывался с рассеянным взглядом собеседника, что дон Карлос уверился: пригласили его поутру в королевский кабинет вовсе не ради тактики и стратегии при осаде Гранады, а для иного разговора. И разговор этот таков, что у венценосного дядюшки никак не повернется язык его начать. И не стоит ли ему, племяннику, начать первому, и, быть может, принять на себя удар королевского гнева?

Нет. Не стоит.

И он стал разглядывать разложенные по столу карты, благо Его Величество рассуждал именно о том, как надежнее всего обложить мавританскую твердыню.

Все лучше, чем играть с доном Фернандо в гляделки.

Не стоит. Здесь уже все потеряло цену. На днях ему выплатят последнее за проданное имущество. И он покинет эту землю. Ибо Кастилия перестала быть к нему благосклонной, а Гранада скоро падет, и подтверждение тому - королевская настырность. Будет ли к нему благосклонна Венеция? Венеция всегда благосклонна к деньгам, разве нет? Через век тамошний язык обкатает имя “Агилар”, как ручей обкатывает гальку – и оно потеряет изначальный смысл. Еще через век ему придадут новое значение. А еще через век подрастающие потомки, не удосужась прочесть истории рода, будут выдумывать сказки про тех, что лежат под мраморными плитами в фамильном склепе.

Алессандрина д’Агилар, маркиза Морелла

Карлос д’Агилар, маркиз Морелла

Эти имена станут жестки для их слуха, избалованного нежностью итальянской речи.

И уж подавно никто из них не будет иметь ни малейшего представления о том, как странно ему ощущать себя супругом Алессандрины –словно венчан с волшебницей; и

каравелла, на которой она уплыла, не мяла килем волны три недели кряду, изнуряя путешественников качкой, но, едва исчезнув из виду, во мгновение ока перенеслась в Венецию. Вот только что Алессадрина обещала ему отправить весточку с голубем сразу же, как прибудет – а весточки пока нет.

- Дон Фернандо!

Мужчины одновременно подняли головы. Дону Карлосу пришлось встать и поклониться, пробормотав необходимые учтивости. Донна Исабель была возмущена, и не сочла нужным этого скрывать – а, стало быть, имел место случай чрезвычайный: ее щеки пошли пятнами, дыхание сбилось, пальцами правой руки она щипала бобра на обшлаге.

Дон Карлос чуть вздрогнул, когда она – как будто в лад его мыслям – повела речь о Венеции и доне Кристобале. И снова наткнулся на взгляд короля – отстраненный и пристальный, словно Дон Фернандо рассматривает какую-то вещь непонятного свойства и назначения.

- Что ж, надо разобрать это дело со всем тщанием. - Дон Фернандо чувствовал себя “упавшим с коня”, как бывало в детстве, когда плечо ломит, во рту песок, над головой мотает поводьями конская морда, и сам не понимаешь, как это ты умудрился соскользнуть. Чувство это обострялось тем более, что он и в самом деле намеревался по-родственному поговорить с доном Карлосом, околичностями вызнав, насколько болтлива Алессандрина, и есть ли опасность, что она раззвонит итальянским щелкоперам-новеллистам про восковое подобие. Хуже всего было то, что дон Фернандо за краткостью знакомства не успел сам понять, какова Алессандрина – умна или глупа? Коварна или простодушна? Даже – красива или некрасива? Возникли – и не без его невольного участия – обстоятельства, сделавшие Алессандрину опасной, а ее молчание – весьма желательным. И вот теперь король пребывал в затруднении. Ибо если Алессандрина хоть сколько-нибудь сообразительна, она похоронит память о восковом подобии; а если она обладает благоразумием в полной мере – она похоронит память и о доне Карлосе, и о нем, доне Фернандо, заново сочинив свои кастильские приключения для подруг и поклонников.

Вот он и хотел выяснить у Карлоса степень ее благоразумия. Ан нет: надо было явиться донне Исабель с этакой новостью. Кругом сплошные венецианские ковы.

Алессандрина... Венецианка. Прытка она все-таки была непостижимо.

Так-так.

Даже в самых узких улицах, неизводимо пропахших смрадом убожества, ощущалась весна. Небо ручьями лазури струилось меж сходящихся кровель, разбрызгивая райский свет на сморщенные рожи попрошаек, на шелудивые спины бродячих псов, на драные одежки уличной ребятни.

Карлос всегда про себя дивился, как это грязные города на полотнах живописцев выходят такими чинными и чистыми. Верно, в нежном весеннем свете живописец видит не низкую материю, а ее облагороженное отображение. Хотя что отображено в чем? Вертоград господень в граде земном, никак не наоборот. Стало быть, по весне, да еще и под Пасху, сквозь град земной проступает его небесный прообраз.

И опять пришла на ум Алессандрина.

В Венеции ему бывать не случалось. Тем легче было вообразить ее выезжающей в изукрашенной барке навстречу его кораблю – хотя, понятно, скорее он явится к ней в дом...

Золотистый налет на щеках и веках, душистое золото волос, их скользящие переливчатые извивы, золотое сияние расширенных зрачков – а то, что дальше, ниже – ее сокровенные совершенства ему уже не надо было видеть, только ощущать – губами, щеками, ладонями, всем телом. “Господи всеблагой, да когда я ее увижу, я ее выпью до дна!.. Когда же окончатся проклятые дела??? Зачем было отлагать отъезд? Что мне лишняя тысяча мараведи? Сегодня же нанять корабль и вон отсюда, прочь от разговоров о войне, от взглядов короля, от свежей могилы, для которой еще не заказан монумент...”

Выдумывать надгробие у него нет ни таланта, ни охоты. Вернее всего будет изготовить, по обычаю, лежачую статую из белого мрамора. Да, из белого. С ангелами в изголовье. Хотя этим не искупишь вины. Донну Элизабету еще не схоронили, а он, Карлос, обвенчался с Алессандриной. Грех великий – индульгенцией не спасешься, отмаливать надо, и ему, и Алессандрине. В скорби и покаянии. Умом он это понимал. А в душе было иное. Боже всеблагой! Или не грешила покойница-Элизабета, когда его обманывала? Или не грешно было бы отпустить Алессандрину любовницей?

Аромат померанцев, повеявший ему в лицо во дворе кастильо, унес из головы последние невеселые мысли. Он задержался возле фонтана, подставив лицо солнцу. Сквозь смеженные веки его лучи проскальзывали золотыми искрами. Золото... Алессандрина... Вот бы ощутить сейчас ее поцелуи – на лбу, на висках, на веках, уголком губ... Или хоть поцеловать в головку того голубка, что принесет от нее известие.

- Мой господин?

Привратник выглядел виновато. Чуть более виновато, чем обычно – ибо виноватое выражение было у него на лице всегда.

Это был верный привратник, он его уговорил ехать в Венецию, также как еще двоих слуг, которых знал с детства. Все они были крещеные мавры, и маркиз полагал, что после войны и победы Королей (а чем еще закончится война – рано или поздно?) жизнь их в Кастилии станет трудной.

- Мой господин, вас в приемной ожидает благородная донна.

Маркиз приподнял брови:

- Вот как? И кто же она?

- Мой господин, премного виноват... Как она прибыла, я у нее не спросил, думал, успею. А глядь – уж вы прибыли. Но по выговору она иностранка.

Что?..

... Невозможно. Никак невозможно. Если только повернуть назад с полпути... Нет, едва ли это она. Едва ли. К сожалению. Ах да. Привратник должен бы узнать Алессандрину в лицо.

- Это не та итальянская донна, которая бывала гостьей в нашем доме накануне Великого поста, еще при жизни донны Элизабеты?

- Премного виноват, я не помню ее отчетливо, мой господин. Тогда у нас бывало много гостей.

- Ну, Бог с ним. Иду.

Шаги. Шаги по пустой анфиладе. Спокойная, но скорая поступь. Сладкая пустота подкатила к горлу, воздуха не стало, плоть утратила вес – и она ухватилась за кресло. Вот... вот... вот... отпахивается резная створка.

Он ее не узнал. Не потому, что она изменилась. Просто она не могла здесь оказаться. Никоим образом. Кто угодно, только не она.

Хотя, не узнав, он привычно отметил то, чего не видеть не мог – ее красоту.

Но когда с языка уже было готово сорваться безразлично-вежливое приветствие, узнавание обрушилось на него ледяной тяжкой волной, колени ослабели и он едва не осел на пол с одной единственной мыслью в голове: “Наказание Господне!”. Но все-таки устоял. А потом снял шляпу, отвесил глубокий поклон и медленно произнес на родном для нее – а ему с известных пор ненавистном – наречии:

- Безмерно рад приветствовать вас моем скромном жилище, леди Маргарет... Брум.

Она присела в нижайшем, изящнейшем, столь памятном ему реверансе, и отозвалась по-кастильски:

- Прошу прощения, что осмелилась без приглашения явиться в ваш дом, ваша светлость.

И было видно, что ей это также далось нелегко.

Он указал на кресла:

- Прошу вас, леди. На каком языке вы предпочли бы вести беседу?

- Выбор за вами, ваша светлость, ибо вы хозяин этого дома, а я – незванная и нежеланная гостья.

- В моем доме принято оказывать гостям уважение. А посему давайте говорить на вашем родном наречии.

Он помолчал. Сердце сжималось, замирая при каждом ударе. Рука тянулась перекреститься, хотя сидевшая перед ним женщина была из плоти и крови. Дьявольски прекрасной плоти. И дьявольски низкой крови – хотелось бы ему сказать, но он так не скажет. Ибо сам поступил с ней низко. И теперь она ему – наказание Господне.

- Сказать, что я удивлен вашем приезду – значит ничего не сказать. Что привело вас ко мне, леди Маргарет?

- Горестная весть о гибели моей кузины. И желание почтить ее память.

Да, он посылал известие. Не мог не послать. Велел гонцу не жалеть коней, а в Сантандере найти надежное судно. Но он не ожидал подобного ответа. И так скоро. Чтобы сегодня быть здесь, она должна была выехать в тот же день, как получила его послание. И ветры должны были благоприятствовать ей.

- На ее могиле пока что нет даже монумента. Как раз на днях я должен заказать зодчему эскизы.

- Я могла бы внести свою лепту. Я располагаю достаточными средствами.

- Я не посмею ее принять. Я очень виноват перед покойной, и будет справедливо, если я хотя бы достойным образом увековечу ее память.

- Ваша светлость...

- Да?

Она подалась вперед в кресле, перехватила его взгляд.

И перешла на кастильский.

- Ваша светлость, дон Карлос... Я хочу просить у вас прощения. За себя и за мою покойную кузину. За все зло, что мы вам причинили, вместо того, чтобы понять вас и простить... Я знаю, вам будет трудно простить меня... Но позвольте мне хотя бы надеяться на прощение.

- Что уж теперь, донна Маргарет? Что мне остается, как ни простить?

Он почувствовал, как на губах против воли рождается улыбка. Не смиренная, что уместна в подобном положении. Улыбка печального торжества. Он встал. Поднялась и она:

- Прощаю вам от всего сердца. И сам у вас прошу прощения за то зло, что причинил вам в страстном ослеплении.

У нее дрожали губы. Но в губы он ее поцеловать не осмелился. Поцеловал руку.

И уже непринужденно опустился в кресло:

- Я так полагаю, самые важные слова уже сказаны. Перейдем же к земному. Где вы остановились, донна Маргарет?

Она замялась, оправляя юбки.

- По правде сказать, дон Карлос, я не подыскала себе постоя. Не будет ли дерзостью попросить вас приютить меня на то недолгое время, что я намереваюсь здесь пробыть?

- Сколько с вами людей?

- Только сопровождающий. Он мой телохранитель, если угодно. Нет даже камеристки – я привыкла все делать сама. Несколько предосудительно для дамы моего положения, не так ли? Но я решилась ехать так спешно, что не было времени собраться и подготовить людей.

- Понимаю. Разумеется, мой скромный дом в вашем распоряжении. И мои люди тоже.

Найти двоих убийц в большом городе, тем более если им не удалось совершить убийства – затея почти безнадежная. К тому же покушались они на иностранца, не связанного родственными узами ни с одной из известных семей. Дон Ксавьер, городской коррехидор, и

минуты не потратил бы на раздумья по этому делу, не будь у иностранца, Кристобаля Колона, знатных и очень настойчивых покровителей. Правда, покровители его дали коррехидору и внятный намек. Который все еще более усложнил.

Поэтому дон Ксавьер заставил Кристобаля припомнить все до последней мелочи – вплоть до того, какие были прорези на масках, чем отдавало дыхание нападавших и каким хватом они держали оружие, а выпроводив его, помолился Богу, чтобы убийцы оказались добрыми кастильцами. Да и в самом-то деле, зачем засылать убийц из Венеции, когда проще нанять местных, благо – а вернее сказать, увы! – недостатка в них нет.

Стало быть, первым делом соглядатаи должны разузнать, не случилось ли в последнее время найма на выгодное “дело”.

Но одновременно с этим надо все-таки осторожно выяснить, не приписывали ли новых людей к венецианскому послу.

Недурственно бы и венецианцев посольских скопом показать “сведущим людям” - где бы? – да хоть в церкви на мессе.

И займет все это ну никак не меньше недели, если только этим и заниматься.

Дался им этот Кристобаль Колон!

“Друг мой!

Пишу, как и обещала, едва ступив на землю, а, вернее сказать, на крыльцо моего дома. Дома меня ждала – вместе с радостью моей матушки – грамота дожа, подтверждающая введение нас во владение наследством д’Эльяно, каковое включает не только дом, но и несколько поместий с виноградниками, оливковыми рощами и иными угодьями. Также милостиво дозволено мне присоединить к родовому имени моему имя д’Эльяно и титул. Словом, мы богаты... Господи, вывожу это, а иное рвется из-под пера! Пишу. Прочти и не кори за несдержанность.

Еще в пути я так мечтала написать тебе, что водила сухим пером по чистому пергаменту. Удерживало меня лишь то, что, если выпустить голубка в открытом море, он не долетит до суши. Я очень тоскую по тебе, друг мой, мне холодно засыпать и безрадостно пробуждаться без тебя. Вижу твою голову возле своей на подушке. Жду не дождусь, когда ты закончишь свои дела и приедешь.

Твоя Алессандрина”

Он обхватил голову руками и сидел так, пробегая глазами тонко выведенные строки – раз, другой, третий, десятый – пока слова не потеряли смысл, не превратились в заклятие. Заклятие, подарок волшебницы. Вот только спасет ли оно?

Мессер Мочениго, посол венецианский, любезно разрешил ему воспользоваться посольскими голубями, если будет нужда в ответном послании. Есть ли нужда? Или он вынесет наказание Господне без жалоб? И потом – если и правда послать за зодчим прямо завтра? Да пусть бы захватил с собой листы с набросками надгробий, какие уже были им когда-то сработаны. Ему же не завитушки пересчитывать.

Ему - и той, что где-то неподалеку, разоблачаясь, шуршит надушенными лавандой одеждами. Той, что едва не убила его своим презрительным вероломством. И испросила за вероломство прощения. И была прощена. Была ли?

Он поднялся, отошел к распятию. Долго, сбивчиво молился, чтобы Господь укрепил его в решении простить леди Маргарет. И с каждым словом все яснее ощущал, что молитва не подымается к небесам, но наполняет душу безысходностью – как иногда в скверную погоду наполняет комнаты дым очага.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

В КОТОРЫЙ НЕОЖИДАННОСТИ ПОЛУЧАЮТ НЕ МЕНЕЕ НЕОЖИДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ.

На временное надгробие, гладкую плиту вровень с церковным полом, падал расцвеченный витражом полуденный свет – точно пестрое покрывало во вкусе покойницы.

Маргарет не плакалось. Слава Богу, можно было сказать, что оплакала сестру по пути сюда – кабы спросили. Но кто бы стал спрашивать? Возлюбленный? Едва ли. А Господу и ангелам его без того ведомо, что она не пролила ни слезинки. Бетти была верная и добрая, хоть и дурочка. И умри она от лихорадки, от кровотечения после неудачного изведения плода, по любой другой причине – Маргарет все глаза бы выплакала. А так слез не было. Только молитва за упокой сестриной души, которая, уж верно, в раю.

Она перекрестила могилу, отступила, повернулась, легко оперлась на предложенный локоть спутника.

В кастильо их уже ожидал зодчий с листами, исчерченными свинцовым карандашом. Его услугами пользовались многие знатные семьи. Он долго распинался, не торопясь разворачивать листы, а когда наконец развернул - признался, что, прослышав о смерти донны Элизабеты, по собственному почину начертал несколько эскизов надгробия – да простят ему сиятельные господа сию дерзкую предусмотрительность, и да не оскорбит она их горестных чувств.

Он был удостоен сдержанных похвал. С дюжину листов остались на столе в покоях дона Карлоса: лежащие и полулежащие статуи, то с книгой, то с крестом в руках, и с неизменной собачкой у ног.

Обсуждение их решили отложить на вечер: яркое солнце не располагало к беседе о столь печальном предмете. Остаток дня дон Карлос и леди Маргарет провели в саду под нежным апрельским солнцем, рассуждая о пустяках, курьезах и отвлеченных предметах.

Маргарет привычно вела учтивую беседу, к месту улыбаясь и поддакивая – и удивлялась самой себе: когда она сюда спешила, ей думалось, что, едва увидев Его, она упадет без памяти. Но при встрече у нее даже в глазах не потемнело, и язык сам сказал нужные слова. Что же это значит? Что ее любовь уменьшилась? Или – напротив, возросла многократно, и обрела мудрость?

Она смотрела на него, не сводя глаз, и не заботясь о том, что он подумает. Жесткие, подстриженные “шлемом” волосы с легким налетом проседи, до которых ей не привелось пока дотронуться; резко вычерченные, всегда готовые надменно взлететь брови; глаза – сейчас взгляд был пристальным и одновременно ускользающим, как будто он сличал ее нынешнюю с ней – былой; острый нос с горбинкой, придающий самым почтительным поцелуям сходство с клевком; властные губы, прикосновение которых помнили ее руки, да подол одного платья (она захватила его с собой), что было на ней год назад (да-да, почти что ровно год назад), когда Карлос на коленях просил ее руки. Но купеческая гордыня одолела даже гордость испанского гранда.

Купеческая гордыня и слепота, принимаемая за благочестие. Их дом был обителью слепых праведников, которые не грешили потому лишь, что не видели соблазнов. Если не считать одного обманщика, ее отца. Умножать богатство, блюсти сословную добродетель, подавать щедрую милостыню, хранить твердость в вере и держать слово ее домочадцы умели. Но жить? В ее доме, в проклятом доме, где что ни возьми - все золото, словно всех насельников поразил дар Мидаса, никто не умел жить. Ни покойная Бетти, ни отец, ни супруг ее Питер, ни она сама. Но вот со смертью кузины жизнь Евиным яблоком подкатилась ей прямо под ноги: подбери и надкуси, если хватит дерзости. И она впилась зубами со всей силы. Теперь ее рот на всю жизнь полон этого вкуса. Но время делиться с Возлюбленным еще не настало, хотя уже скоро. Очень скоро.

Солнце ушло, и из углов пополз вкрадчивый холодок.

- Время ужина, донна Маргарет...

“Мы бы проводили время точно так же, будь мы супруги...”

Как горячо стало под веками. Только не сейчас. Нет.

Надменно-отрешенное лицо...

Она помнила его умоляющим, оно стояло перед ее глазами, как лицо дорогого покойника. Неужто тот влюбленный умер? Неужели возможно, чтобы такое чувство вовсе иссякло? Пусть бы лучше оно переродилось в ненависть, пусть бы он истерзал ее, измучил, хоть искалечил!

Но даже этому не бывать – он ведь ее простил.

Может, не стоило просить прощения? Пусть бы между ними грозовой тучей висела недосказанность?

И тем не менее, предаваясь этим мыслям, она ела пряную оленину с черносливом, запивала ее гранадским вином, и продолжала говорить об отвлеченных предметах.

- Донна Маргарет, как бы там ни было, а вы знали донну Элизабету куда лучше меня. Признаться, в силу известных обстоятельств я и не стремился узнать ее ближе. Так что вам и выбирать для нее памятник. А я приму любой ваш выбор.

Они добрый час перебирали наброски, обмениваясь замечаниями и соображениями, но никак не могли прийти к решению – обоим было безразлично, какое надгробие выбрать.

- Здесь везде то книга, то крест. А Бетти не была ни богомолкой, ни книгочеем. По правде говоря, ей бы больше подошла роза...

- Или меч.

- Что?

- Меч. Которым она изволила спасти мне жизнь.

- Вы смеетесь надо мной, дон Карлос?

- Нимало. Хотя я не стремился ее узнать, однако знал довольно, чтобы судить о ее природе. Покойная Элизабета была по сути своей воительницей; предки ее бились за Гроб Господень. И меч в руках ее статуи был бы по меньшей мере столь же уместен, как роза... – Он задумался. – Собственно, почему бы не совместить эти два высоких символа? Почему розовая ветвь не может обвивать клинок? Так будут отражены две ее добродетели: доблесть и... Не подскажете ли, что на высоком языке символов означает роза? У меня в голове крутятся сравнения столь легкомысленные, что я едва не краснею.

- Я и сама наверное не помню, дон Карлос. Когда я подумала о розе, мне просто показалось, что роза больше ей подойдет.

- Но что же вы все-таки думаете о розе, обвивающей меч?

- Я думаю, что это было бы смелым, но верным решением.

- Тогда на том и порешим?

- С вашего позволения.

- И, быть может, никаких ангелов у изголовья? Зачем эти крылатые истуканы, если ее покой будут охранять ангелы господни? Пусть надгробие будет просто и строго, как надгробия королей в старину...

- Пусть... И еще, дон Карлос... Эти собачки в ногах... Символ верности, я понимаю, но... Всегда ли это должны быть мальтийские болонки?

Он не сдержал улыбки:

- Как вам будет угодно. Можно изваять хоть пса бордосской породы!

Улыбнулась и Маргарет:

- Это нарушит гармонию. Но вот если бы охот...

И осеклась.

Дон Карлос смотрел мимо нее и поверх эскизов, словно ожидая, когда она исправит оплошность.

- ...прошу простить, мне не стоило упоминать об охоте!

- Отчего же? – медленно начал дон Карлос, сам не вполне понимая, зачем говорит это, - третьей добродетелью покойной, наряду с доблестью и великодушием – вот только не знаю, его ли символизирует роза? – была верность. И борзая в изножье ее надгробия как нельзя более уместна. Благородное и преданное животное, тоскующее о хозяйке. И что за беда, если при жизни она не любила собак?

- Она не привыкла, дон Карлос. У нас в доме не было принято...

Она почувствовала, что увязает в прошлом. Конечно, конечно, хозяином в том доме был тайный иудей. Он не мог позволить держать в покоях нечистых, да еще и бесполезных животных. А сторожевые псы, жившие во дворе, не смели даже взглянуть на порог дома, который стерегут.

- То есть вы полагаете, с годами она бы сумела их полюбить? Также как моих людей, которых она считала дармоедами?

- Почему вы меня об этом спрашиваете?

- Бог весть. Но когда вы помянули прошлое, мне вдруг показалось занятным поразмыслить – а что было бы, не случись того, что случилось? Через какое время смягчилось бы мое сердце, и в нем поселилась бы по меньшей мере признательность к ней? Когда бы я взошел с ней на ложе, как с супругой? Сколько бы у нас было детей – очаровательных, надо думать, ибо смешение кровей всегда дает превосходные плоды... – Он помолчал, и как будто не к месту добавил. - Взять хотя бы вас саму, донна Маргарет.

- Дон Карлос... Ваши речи заставляют меня думать, что вы простили меня лишь на словах...

- Если бы я не простил вас, донна Маргарет, я бы не смог оказать вам гостеприимства.

- Если уж поминать прошлое... Вы ведь оказывали гостеприимство и моему жениху, сэру Питеру. Помните, в вашем дворце в Гранаде?

- Да, ведь я не держал на него зла. Хотя это был скорее почетный плен.

- Но вы пытались нас рассорить.

Он улыбнулся – с невеселым лукавством.

- Вы испытываете искренность моего прощения? Заверяю вас - оно искренне.

Она не ответила.

Вот и смерть. Ее сердце будет биться еще много лет, ей предстоит еще много тягот и много молитв – но умирает она сейчас; и не сладкая, как вчера при встрече – горчайшая пустота подступила к горлу.

- Маргарет?

Она плакала.

Так точат миро неподвижные лики мадонны – когда на небесах та, с кого они писаны, слезно молит Господа за род людской в скорби и... любви?

Вчера при виде ее его окатило холодом. Сейчас он застыл, забыв дышать.

А потом осторожно опустился на колени возле ее кресла, и стал оцеловывать ей ладони, запястья – она бессильно никла к нему – мокрые щеки, губы, шею, ключицы, плечи – а под его пальцами точно живые змеились, слабея, шнуровки ее платья – пока она не выскользнула из одеяния к нему в объятия.

И последней его мыслью перед тем, как окончательно впасть в помешательство, было – что все равно он не ведает лучшего способа утешать плачущих женщин.

Немилосердный Боже! Она не понимала, что с ней делается, и уж подавно, что Он с ней делает, она не в силах была поднять рук, чтобы сомкнуть объятия – только плакать и плакать – даже когда он развел ей колени, и сперва легко припал губами к сверкающему руну, а потом выпрямился и, заслонив свет, вошел в нее – нестерпимой рвущей нутро болью, такой сильной, что у нее пресеклось дыхание.

Торжествующая плоть ощутила было легчайшее сопротивление – а потом его подняло, как смерчем, он подхватил ее с пола, усадил себе на чресла, сам откинувшись назад – и они стали одно.

Она едва дышала – и со стороны могло показаться, что ей остались считанные мгновения. Ее бедра были в крови; также и его.

Крови пришли? От неожиданности, должно быть.

Вопреки обычаям и даже Писанию, он не считал месячные истечения нечистыми. А потому снял пальцем еще не запекшуюся каплю – и поднес к губам, словно причастие.

Странно.

В ее крови был неощутим свойственный истечениям привкус переспелого плода. Это больше похоже на кровь из раны. То есть...

Неужто ее супруг?..

Он бережно поднял женщину с пола, отнес в опочивальню и уложил на виссонные простыни. Надо приказать подать вина. Нет – гипокраса. Того, что настоян на чистом золоте. И пусть приготовят теплую ванну... Нет, это долго. Хотя бы умывальный прибор, немного нагретой воды и полотенца.

- Донна Маргарет... То, что произошло между нами, а также некоторые другие обстоятельства, вынуждают меня задать вам прямые вопросы. Которые я, как могу, постараюсь смягчить. Но сути это не изменит.

Он отставил ополовиненный кубок с гипокрасом на ступени ложа, на котором она полусидела, утонув в подушках, и натянув одеяла до подбородка: выпростана была только тонкая рука с кубком, едва початым.

- Я не стану спрашивать вас о природе того порыва, который бросил нас друг другу в объятия. Однако кое-что заставляет меня предполагать, что вы, будучи замужем, не стали... в полном смысле женой сэра Питера. Так ли это?

Она судорожно кивнула, словно хотела спрятать лицо за своим кубком. Золотинки затанцевали живее в гранатовой глубине питья.

- Почему так случилось?

- Он... оказался бессилен. Поначалу подступал ко мне еженощно, но едва видел меня нагой, как его плоть опадала. Он дрожал, пытался меня целовать, ласкал, но познать меня не мог!.. Я не понимаю, почему?! Как будто кто-то навел лигатуру...

- Эта лигатура зовется Восхищением, донна Маргарет. Ваш супруг, истинный рыцарь, восхищен вами, как святой. И любит вас, как святую. Но любовь в восхищении плохо уживается с земной плотью. Даже и с такой прекрасной плотью.

- Что же я могла сделать?

- Сойти с небес на землю. И вы бы сошли, если бы любили его, конечно.

- Дон Карлос!..

- ...Но вы лишь воображали, что любите. Не думайте, что я вас осуждаю, или читаю вам наставления. Такое случается очень часто. Пылкая девочка, начитавшись рыцарских сказок, выбирает себе молодого человека, часто ниже себя по положению. Случается, что и отдается ему. Поверьте, было бы куда хуже, если бы он довел дело до конца и овладел вами. Вы бы возненавидели его – за боль, которую он вам причинил, за терпкий запах пота из подмышек, который не перебить никакими благовониями, за стоны и тяжелое дыхание, за грубые толчки его чресл... За все то, что было и сейчас. Но ненависти в ваших глазах я не вижу. А это значит, что я вам желанен, по меньшей мере. И по большей – вами любим.

Она снова заплакала, но уже иначе, со всхлипываниями, и ему пришлось взять кубок из ее задрожавшей руки.

- Не плачьте. Вам не плакать нужно, а попытаться понять самое себя. Не плачьте. Не надо.

Пришлось поцелуями осушить ее слезы.

- Хорошо, что вы это сказали... Я не смогла бы этого сказать! Я бы не смогла...

- Почему?

- Я... Когда вы пришли в наш дом, тогда, в прошлом году, я сразу поняла, что вы меня выбрали. Вы меня выбрали, и решили, что я буду вашей. Дон Карлос, я была глупа тогда. Я не привыкла, что меня выбирают. Я привыкла выбирать сама...

“Купеческая дочь в ювелирной лавке...”

- Меня это разозлило и удивило, я не встречала раньше людей, столь властных в своем выборе. Я была глупа, мне казалось, что все ваши слова – нет, не обман, но лишь способ меня добиться, не более, торговля за меня со мной же, с моим сердцем.

- С кем же я должен был за вас торговаться?

- С моей гордыней...

- Честный ответ.

Он отхлебнул гипокраса – по ошибке из ее кубка.

- Мои вопросы к вам еще не иссякли. То, что вы приехали сюда только с одним сопровождающим, наталкивает меня на мысль, что ваше путешествие вы держите втайне от близких. И истинная его цель – увидеть меня, - он позволил себе полуусмешку, - прикрыта какой-то ложью.

- Это не путешествие, дон Карлос. Это бегство.

Он не нашелся, что сказать. Не он один бежит, стало быть. Но пути их сойтись не могут. Нет.

- Каким же образом? Вы отправили прошение в Рим? И требуете развода на том основании, что муж...

- Нет. Я умерла для него, дон Карлос. Если, как вы говорите, он любил меня, как святую, пусть святую и продолжает любить.

- ?

- Я утонула. Утонула, или утопилась, Бог весть. Одежда моя осталась на берегу, а тело унесло течением в море.

- Не так-то далеко от истины... – пробормотал он.

- Вы осуждаете меня?

- Донна Маргарет... Вы понимаете, какая это боль для ваших близких? Вы не любите вашего супруга, и Бог вам судья, но отца-то вашего вы любите. Каково ему знать, что он вас пережил? Вас, которую он спасал... За которую боролся? Послушайте меня: ей-Богу, вам лучше вернуться. Мы можем выдумать ложь, которая объяснит ваше отсутствие. Допустим, вы не утонули; у вас на время помутился от горя разум, вы скитались, забыв свое имя... Вы не помнили, что с вами делалось, где вы бродили и с кем. Но однажды опамятовались и вернулись – в рубище, босая. Или в платье с чужого плеча...

- Нет... Я не в силах. Вы говорите – мой отец?.. Мой отец... Он любил меня, я ничего не могу сказать. И лгал из любви.

Она помолчала.

- Я не знаю... дон Карлос, приходилось ли вам такое испытывать? Когда мир, который кажется столь понятным и ясным, столь прочно стоящим на своих опорах – вдруг оказывается, что он держится на одном молчании. И стоит нарушить молчание, как разрушится все. Я была дочерью почтеннейшего человека, негоцианта, первого в первой дюжине. И в одночасье стала дочерью иудея, и сама – наполовину иудейкой. Это страшно для христианского сердца. Но хуже всего то, что страшно только мне, что никто вокруг ничего не замечает, всем кажется, словно у нас все по-старому, как будто время остановилось. Так вот, я не хочу жить в браке, который все считают счастливым – а между тем это вовсе не брак. Я не хочу жить под одной крышей с моим отцом, которого я почитала, и который оказался

обманщиком. И я не нашла сил ни осудить его, ни простить – только промолчать. Если я ничто, пусть я буду ничем. – Она вдруг опустила взгляд вниз, на свое укутанное покрывалами тело. - И потом, дон Карлос, как я вернусь, если под сердцем у меня будет ваше дитя?

Он едва не рассмеялся – хотя и не понял, наивность это или уловка, впрочем, тоже наивная.

- Сколько дней прошло с тех пор, как у вас были последние истечения?

Она сильно покраснела.

- Донна Маргарет, когда избираешь кумира для поклонения, не худо знать, из чего он изваян. Я, как вам известно, поклоняюсь Женщине. И раз уж она – мой кумир, я должен знать о ней все, в том числе и те вещи, которые считаются стыдными. Так когда? И как приходят к вам крови? В точном ли соответствии с Луной?

- В точном соответствии. И последние начались дней двадцать назад. Да, уж недели две как отошли.

Он загнул по очереди смуглые пальцы.

- Вам не стоит волноваться. В несколько оставшихся дней перед истечениями женщина понести не может. Такова ваша природа, о которой вы столь неосведомлены. Хорошо же. – Он сплел руки замком. – Я хотел бы знать, чего вы от меня ждете. Кроме возведения монумента в память донны Элизабеты, что разумеется само собой.

- Я... ничего. Я хотела только вас увидеть. И большего не загадывала.

- Это ваше желание исполнилось и даже более чем. Видите ли, донна Маргарет, вы можете говорить, что угодно, и чего угодно желать, или вовсе не знать, чего вы желаете. Но положение таково, что вы – гостья в моем доме. И коль скоро нами были сказаны слова прощения, я не могу остаться безразличным к вашему будущему. А потому, простите мне мою настойчивость, я не пожалею сил и времени, чтобы убедить вас вернуться в Англию, потому как...

Она перебила:

- Позвольте мне только побыть в вашем доме! До вашего отъезда.

Он удивленно приподнял брови.

- Вы уже осведомлены?

- Да, ваш привратник...

- Понимаю. Боюсь, мой отъезд – дело считанных дней. Хорошо, сойдемся на этом. Теперь о делах житейских. Я полагаю, вам надо будет нанять камерэру на то время, пока вы пользуетесь моим гостеприимством.

- Не стоит хлопот, дон Карлос. Я привыкла сама.

- Служение даме не есть хлопоты. Или, в самом крайнем случае, приятные хлопоты. А теперь, с вашего позволения, я вас покину. Доброй вам ночи, донна Маргарет.

Он легко поцеловал ее в лоб, и удалился.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

В КОТОРЫЙ КОРРЕХИДОР ДЛЯ ВЕРНОСТИ РЕШАЕТ ПРИБЕГНУТЬ К ПОМОЩИ СЕНЬОРЫ ИНЕС, НЕ ПОТРУДИВШИСЬ ВЫЯСНИТЬ СТЕПЕНЬ ЕЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В ИНТЕРЕСУЮЩЕМ ЕГО ДЕЛЕ.

Два дня – это и много, и мало. Человек легкомысленный, особенно женщина, тем паче, если она шлюха – за два дня может позабыть про клятву на распятии, не говоря уж о бахвальстве посетителя о том, что, мол, хороший куш ему обещали за одного... Жаль только, сорвался – но ничего, во второй раз подсечем непременно.

Поэтому, когда два дня расследования не принесли ни малейшего прояснения, коррехидор забеспокоился. Если и по истечении недели ясности не наступит, придется браться за посла Мочениго, а этого дону Ксавьеру делать не хотелось бы. Посол есть лицо полномочное и неприкосновенное, а потому, хоть припри его пикой к стенке, тайн

посольских он раскрывать не будет. Стало быть, придется вести долгую слежку за ним и его присными.

Можно было бы еще попытаться приманить убийц на Колона, но для этого следовало унять уже пошедшую молву об убийстве, пустив по городу слухи, к лигурийцу касательства не имеющие. А это, однако, мысль. Чем бы потешить уши горожан? О злокозненности жидов и так судачат немало. Разве если о похождениях какой знатной особы рассуждать занимательнее? Кто из них в последнее время давал повод для сплетен?

Вот, скажем, дон Карлос д'Агилар, маркиз Морелла. Едва оправился от прошлогоднего позора, как тесно сошелся с некой итальянкой, племянницей посла венец... И тут, матерь Божия, венецианцы. Всюду, не лучше жидов. Что ж, лишний повод присмотреться к дону Карлосу. Кичится он много, а рождения незаконного. Королями, вернее, королевой крепко обижен – а дон Кристобаль у королевы как раз в чести. Челядь у дона Карлоса многочисленная и молчаливая, в большинстве своем мавританская, хоть и крещена для виду. Подослать их с кинжалами – труда не стоит. Надо, ой, надо к нему присмотреться. А то и в дом кого заслать.

Для этого коррехидор решил прибегнуть к одному сомнительному, но полезному знакомству, и отправил посыльного в квартал, который, при всей кажущейся тишине и благопристойности, стоял на отшибе между двумя старыми кладбищами, да еще соседствовал с богадельней, так что селились там люди, к смерти по меньшей мере равнодушные.

После обедни к нему ввели женщину, одетую скромно, но добротно, под густой вуалью. В ее метрике, кабы таковая имелась, эта сеньора значилась бы "девицей Инес", ибо она не была замужем и не вдовела. Происхождение ее было неясно, прошлое – темно, вроде бы она несколько лет провела рабыней у мавров и бежала, учинив какую-то хитрость в духе арабских сказок. Да что там прошлое! Коррехидор поостерегся бы биться об заклад о ее возрасте. Разве что чрезмерная холеность ее лица и рук подсказывали, что девице Инес – к тридцати.

Этой-то девице коррехидор и изложил дело, не упоминая, правда, подробностей: пристроить в дом к Морелла соглядатая.

Взяться за это Инес согласилась сразу. Вознаграждение она запросила немалое – но выплатить его должны были только после того, как дело будет сделано.

Как коррехидор не стал делиться с Инес своими подозрениями относительно дона Карлоса, так и девица Инес не сочла нужным предать огласке некоторые вещи, ей известные.

А между тем, она могла бы рассказать, например, куда подевалась большая и лучшая часть обстановки кастильо Агилар.

...

Мглистым утром возле церкви св. Екатерины Александрийской стояли обок двое носилок без гербов; рядом ожидала небольшая конная свита, и угрюмая растерянность всадников, возможно, удивила бы случайного прохожего. Но Инес, украдкой наблюдавшая за папертью из оконца соседней харчевни, ничему не удивлялась; она только принимала происходящее к сведению, и делала выводы. Возле церкви св. Екатерины Александрийской она выслеживала своего бывшего любовника дона Карлоса, маркиза Морелла, графа д'Агилар. Менее часа назад он вошел туда с женщиной, укутанной в меховой капюшон. А что можно делать с женщиной в маленькой церкви ранним утром, как не венчаться – причем тайно: как еще прикажете венчаться человеку, который вчера только стал вдовцом?

Собственно, поэтому его люди и угрюмы. Да и кому такое придется по нраву?

Новобрачные тем временем вышли об руку на паперть. С ними были двое в темных мантиях - нотариусы, и видный сеньор, судя по одежде - высокопоставленный иноземец. Все сели в носилки, и отъехали. Инес скоренько сбежала со своего насеста, и устремилась за ними. Разоблачения она не боялась, потому что шла в достаточном отдалении, а лицо и голову закутала. Час такой, что доброй горожанке пора по хозяйству спешить, а беспутной,

Господи прости, с блудного ложа домой возвращаться, пока благоверный или сводник не проснулся.

Его светлость направлялся в гавань. Куда бы это он собрался? Не иначе как в Рим, отпущение грехов испрашивать – донну-то Элизабету еще не схоронили! Да нет, конечно. Проводит свою ненаглядную до сходен, не более того.

С донной Элизабетой Инес была накоротке. Встречаться, правда, им приходилось тайно: сиятельная маркиза удалялась из дома под предлогом посещения нищих в богадельне, и, оделив убогих, захаживала к Инес, благо та снимала дом неподалеку.

В числе прочего однажды рассказала и про принятую в их доме ученую итальянку, которая проявила любопытство к забавному проекту лигурийца по имени Колон. Про Колона Инес знала – она водила знакомство с танцовщицей Беатрис Арана, его любовницей: одинокие женщины с горестным прошлым всегда сойдутся.

Прошлое донны Элизабеты тоже было горестным, а замужняя жизнь – безрадостной. Инес охотно привечала эту иноземную дурочку; к ней она маркиза не ревновала. Не то, что к сестре ее Маргарите – та была прекрасна, как сорок тысяч девственниц иудейских.

Но при этом переписывалась донна Элизабета с кузиной Маргаритой через Инес, у нее в доме и письма сочиняла, потому что при муже кузинино имя даже в мыслях поминать боялась. Хоть в этом ум выказывала, покойница. А ей, Инес, сложно ли передать письмо знакомому шкиперу, если тот все равно зашел провести ночку перед дальней морской дорогой? Инес письма передавала исправно; случалось, две-три любезных строчки добавляла от себя. Как знать, может, ей придется покинуть Кастилию, спасаясь от дона Карлоса, св. Инквизиции или взревновавшего поклонника? Тогда друзья на чужбине будут кстати. Даже если ты их ненавидишь.

А Маргариту и супруга ее рыцаря Питера она ненавидела.

Так же как и дона Карлоса.

Но его она еще и любила.

Носилки проследовали через всю гавань к дальнему причалу. Здесь качалась на воде чернобокая каравелла; вблизи, на причале, стояли повозки, и с них по сходням переносили на борт сундуки, тюки, и окутанные войлоком короба – верно, клетки с певчими птицами и мартышками, потому что из-под войлока иной раз доносились странные звуки.

Инес озадачилась еще больше. Похоже, она стала свидетельницей поспешного бегства. Куда же собрался дон Карлос? В Тунис? В Альджерию? К самому Султану?

Супруги и сопровождающие вышли из носилок.

Высокопоставленный иноземец раскланялся с маркизом, поцеловал в лоб новобрачную. Стало быть, ее родственник? А не сам ли это посол венецианский? Так-так… А раз так, то не в Венецию ли собрался его светлость маркиз?

Между тем дон Карлос бережно снял с жены меховой капюшон, и зоркой Инес стало видно ее лицо.

Как молода!

Этого было достаточно, чтоб заболели старые сердечные раны – а когда-то Инес была ранена едва ль не смертельно.

Уже превозмогая боль, она разглядела, что новая соперница – не красавица. Ни с Элизабетой, ни уж тем паче с Маргаритой ее нельзя было сравнить, да и сама она, Инес, рядом с этой отроковицей – королева.

И, тем не менее, дон Карлос целовал отроковицу – как возлюбленную. Инес ощущала это отчетливо, как будто он целовал ее самое. Так же как и то, что поцелуи эти были прощальными.

А по сходням все тащили и тащили – резную мебель, ковры, скатанные шпалеры, штуки драгоценных сукон и шелков, бархата и парчи; вели лучших маркизовых арабчаков, с бережением несли соколов.

Значит, здесь не бегство вдвоем – а разлука, верно, недолгая. Пока дон Карлос не

устроит своих дел в Испании. И дела эти, стало быть, таковы, что он скорее доверит свое богатство волнам и юной супруге, чем подвалам кастильо Агилар.

А после того не раз и не два попадались ей знакомые вещицы у перекупщиков – верно, те, которым не нашлось места в рундуках и коробах на каравелле; кое-что она даже приобрела из странной прихоти.

...Словом, Инес была осведомлена достаточно, чтобы возбудить подозрения коррехидора, но в ее намерения это пока не входило.

Друг мой!

Ты будешь корить меня за то, что я пускаю голубей с пустыми вестями. Прошу, не кори. Я не могу иначе. Попробую вкратце объяснить. Я стала часто смотреться в зеркало – лучше видеть себя, чем не видеть тебя. Я смотрю твоими глазами. Но все вокруг выглядит так, словно тебя вовсе нет – и не было никогда. Здесь очень холодно, особенно ночами, воздух вязок и стыл: может оттого, что вода все еще стоит высоко? И если я не выпущу из рук теплую, стосковавшуюся птицу, у которой письмо привязано под крылом, я просто утрачу веру в то, что ты – есть, что ты – скоро будешь со мной. Я не жду ответа, я знаю, что ты занят перед отъездом, но мне хочется думать о том, что ты прикоснешься к моему письму; нет, не так – письмо позволяет мне ДУМАТЬ, а не воображать. Я не хочу воображать, чем ты занимаешься. Это удел мечтательных дур. Я, как ты знаешь, не такова.

Твоя Алессандрина

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

В КОТОРЫЙ СЕРДЦЕ СЕНЬОРЫ ИНЕС ПОДВЕРГАЕТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЯЖКОМУ ИСПЫТАНИЮ.

Не то, чтоб Инес жалела о своем согласии помочь коррехидору – однако она не могла не признаться себе, что согласиться ее сподвигло исключительно вознаграждение. Задача представлялась ей тем труднее, что маркиз, насколько ей было известно, своих людей почти всех распустил, оставив только нескольких крепких мужчин для охраны кастильо, управляющего и привратника. Все они знали ее в лицо, и наверняка имели приказ при встрече ее схватить и доставить к господину, а то и вовсе прикончить на месте за вероломство – так что их подкупить было нельзя.

Днем у нее была встреча с одним нищим, который побирался как раз неподалеку от ворот кастильо. Он кормился там уже не один год, а за пару медяков был готов припомнить, кто проходил по улице, когда, как был одет, и даже о чем говорил. Инес подавала ему не два, а пять медяков, чтобы он смотрел не прямо перед собой, а несколько дальше – и видел, что творится у ворот. Наведывалась она к нему не реже, чем раз в неделю, вкладывала в ладонь свои пять монет, наклонялась, как бы для участливой беседы – и выслушивала скороговорку.

На этот раз ее ждали воистину поразительные новости. Три дня назад приехала дама под вуалью, с одним слугой. А вчера утром управляющий отправился куда-то, и после обедни привел в дом другую женщину, видно, в камерэры.

Заскорузлая пятерня нищего дернулась, как ожженая, когда Инес с силой вложила в нее кастельяно.

- Смотри в оба. И я каждый день буду приносить тебе кастельяно. Эта женщина, которую привел управляющий, уже выходила сегодня?

- Нет, госпожа, еще нет!

Судя по лицу и повадкам, она была из того рода “хорошей семьи”, где девиц учат ненужным в жизни вещам вроде чтения и стихосложения, вместо того, чтобы преподать им уроки обольщения и спровадить с обольщенными под венец. Ей шло, должно быть, к сорока; Инес готова была поспорить, что она не была замужем – и увяла, как увядают полураспустившиеся розы на сильной жаре: по очертаниям бутона можно угадать, как прекрасен был бы цветок, но темная сухость лепестков свидетельствует, что розе уже не цвести.

Локоть ее оттягивала корзина, наполовину заполненная лакомствами и туалетными снадобьями, только что ею купленными в нескольких лавках. И нигде Инес не удалось к ней подступиться: чертовы торговцы, завидев явно неискушенную покупательницу, начинали рассыпаться в таких похвалах своим товарам, что третьему и слова было бы не вставить – не то, что завязать приятное знакомство. К тому же Инес пока что колебалась в выборе предлога и способа обратить на себя внимание. Камерэра казалась женщиной чувствительной и доброй; стало быть, можно было бы дать ей при очередной покупке дельный совет, а дальше уж труда не стоит разговориться о том, о сем. С другой стороны, скорее всего камерэра честна и не склонна перемывать господам кости. И тогда заставить ее разговориться могло бы только “тайное поручение” от имени коррехидора.

Судьба улыбнулась Инес в лавке книготорговца – верно она догадалась, что камерэру учили чтению усерднее, чем женским премудростям. У той даже лицо просветлело, когда она стала перебирать томики с “Песней о Сиде”, “Повестью о короле Артуре и рыцарях круглого стола”, сборники баллад и прочие сокровища, которые, по мнению Инес, нужно было держать взаперти от большинства женщин – а то и вовсе сжечь. Но книготорговец, учуяв жертву, не трещал, а, напротив, помалкивал – книги тут были зазывалами куда лучше его.

- Прощу прощения, донна...

Камерэра живо обернулась.

- Да, что вам угодно?

- Вы интересуетесь книгами? Собираете редкости, быть может? У меня есть некоторые любопытнейшие сборники. В свое время были переписаны на заказ.

- Нет-нет, благодарю вас. Я всего лишь приобретаю книги по поручению... – однако глаза у нее загорелись. “Любопытнейшие сборники” взбудоражили воображение камерэры. У Инес они и впрямь имелись – чудом остались от отца. Но, сказать по правде, она не прочь была бы от них избавиться: слишком о многих печалях они ей напоминали одним только своим видом, а уж их страниц она не касалась и вовсе давно.

- Понимаю... Но, возможно, вам самой захочется на них взглянуть?

- К сожалению, я едва ли могу позволить себе...

- Взгляд ничего не стоит, благородная сеньора. И, поверьте, если что-то привлечет ваш взгляд, я не буду запрашивать втридорога. Соприкосновение с родственной душой всего дороже.

- О, как вы правы! Я бы с превеликим удовольствием взглянула на ваши сокровища, но, увы, я не располагаю своим временем. Я всего лишь камерэра.

- Я не поверю, чтобы камерэра в знатном доме не располагала временем!

- Увы, это не совсем обычная служба. Меня взяли менее, чем на месяц, только потому, что к господину внезапно приехала кузина его покойной жены.

Инес едва сдержала крик. И взмолилась Господу, чтобы ее не выдала бледность.

- И вы подбираете книги для нее?

- Да. Она англичанка, прекрасно говорит по-испански, но полагает, что нуждается в совершенствовании.

- Понимаю. И она заказала вам рыцарские романы, как я вижу?

- Она заказала что-нибудь развлекательного, но благородного содержания. Полагаю, что старинные повествования о рыцарях есть наилучший выбор. Простонародные новеллы

развлекательны, но отнюдь не благородны. А жития святых благородны – но читая их, хочется плакать.

- Полностью с вами согласна. И все-таки очень бы хотела видеть вас своей гостьей. Так редко можно встретить даму, искушенную в изящной словесности. Мое имя... Долорес де Кастро, с вашего позволения. – Инес слегка поклонилась.

- Мое имя Санча. Санча Альварез. Как найти ваш дом, сеньора Долорес?

- О, очень легко. Он расположен, правда, в несколько удаленном месте... - Инес, едва сдерживая дрожь, объяснила, где.

- Позвольте еще один вопрос, сеньора Санча! У кого вы служите? Если это по пути, я могла бы проводить вас немного. Так жаль было бы расстаться, едва представившись.

- В кастильо Агилар.

- Ах, это не совсем по дороге... Ну да Бог с ним! В самом деле, Господь не велел искать кратчайших путей.

Санча уплатила за выбранные книги, и они вышли из лавки на шумную улицу.

- Сеньора Санча, про кастильо Агилар и его господина говорят много странного! А как он показался вам?

Санча пожала плечами.

- Его светлость осведомился о моем имени, и только. Красивый мужчина, истинный гранд. До меня доносились довольно злые сплетни о его любовных неудачах, но по нему ничего не скажешь. Вообще же я не люблю сплетен.

- Иногда они бывают правдивы. Вам ведь наверняка приходилось слышать о том, что он с год назад сильно влюбился в некую англичанку, которую даже и похитил, а потом...

- Да-да, именно это... Боже мой! – ахнула Санча, - так выходит, моя временная госпожа – это... его бывшая возлюбленная? Господи, помилуй, вот ведь история! Почище чем в рыцарском романе!

- Только, как вы изволите говорить, увлекательная, но неблагородная...

- Не мне судить о благородстве ее участников, сеньора Долорес. Я слишком мало их знаю. Могу только сказать, что донна Маргарита, которой я прислуживаю, очень грустна – но это объяснимо: она потеряла кузину, которую очень любила. Боже мой, вот уж не думала, что окажусь у нее в камерэрах!

- Сеньора Санча, – вкрадчиво начала Инес, - знаете, что мне внезапно пришло в голову? Только сперва выслушайте меня, а потом возражайте. Видите ли, так случилось, что мне об этой истории известно многое “с изнанки”.

Санча вскинула брови.

- Не знаю, донесла ли до вас сплетня имя некой Инес...

- Не припомню... Хотя... Вы о той служанке, которая хитростью подменила невест?

- Именно о ней. Видите ли, мой дом стоит уединенно. Однажды один из моих друзей попросил меня приютить на время некую даму, которой грозит опасность. Что я с удовольствием исполнила. Той дамой была Инес. Поначалу она была очень скрытной, однако понемногу оттаяла и рассказала мне все. Таким образом, я знаю одну часть истории, ее начало. Вы знаете ее продолжение. И у меня возникла мысль записать ее целиком. Нет, пожалуйста, не возражайте! Я верю, Господь не случайно свел нас в этой книжной лавке! Эта история волнует меня уже давно. Мы записали бы ее вместе. Я знаю одного владельца типографии в Саламанке. Мы могли бы предложить ему эту историю под выдуманными, понятно, именами. Я верю, это одна их тех историй, что должны остаться в памяти потомков. Прошу вас, сеньора Санча, не отказывайтесь...

Разрумянившаяся от волнения Санча качала головой – то ли в сомнении, то ли в восхищении.

- Сеньора Долорес, но как мы это устроим? У меня совершенно нет времени писать, да и... Я никогда не пробовала.

- Сеньора Санча, вам довольно будет только рассказывать мне новости и то, что покажется вам важным для повествования. Мы может с вами встречаться хоть в той же самой книжной лавке, хотя на рынке, хоть в церкви! Я буду записывать по памяти, а после вы прочтете, и поправите там, где я ошиблась!

Глупенькая, глупенькая Санча! Курочка на золотых яичках!..

Инес уже давно добралась до своего дома (даже и не заметив дороги), переменила одежды и подкрепилась щербетом, а новость о приезде донны Маргарет все не укладывалась у нее в голове. Горечь в душе росла, ее хотелось заглушить сладким вином или утешной беседой с другой горемыкой. Инес выбрала последнее и отправилась к приятельнице, донье Беатрис Энрикес д'Арана, у которой всегда найдется пара-тройка сетований на тяготы жизни вне брака и равнодушие сильных мира сего, которые все никак не дают хода проекту дона Кристобаля.

От Араны Инес услышала о покушении на дона Кристобаля. Арана даже робко ее попросила: расследование расследованием, но не могла бы любезная Инес, будя дойдут до нее какие разговоры, не держать их в тайне – ни от дона Кристобаля, ни от коррехидора. Инес согласно кивнула.

"Моему отцу, да будь ему земля пухом, не стоило учить меня читать по рыцарским романам". Вообще не стоило учить читать дочь новообращенного в первом поколении. Ее стоило выдать замуж за христианина, который, если что, выбил бы из нее охоту к лишним знаниям затрещинами. И сейчас она была бы темна от грубого загара, в ранних морщинах, с недостачей зубов. И у нее расцветали бы дочери, о судьбе которых пришлось бы рядить с соседками, приглядываясь к их мужающим сыновьям.

Или сыновья.

Сыновья с простыми открытыми лицами: кастильская кровь возобладала бы над кровью мавританской.

Не как ее мальчик...

С неразделенной любовью – как со смертью близкого: разговоры и суеты притупляют на время боль, но стоит остаться одной, как она возвращается – острее, злее, неуемней.

Что больнее – потерять любимого, или похоронить его?

ДЕНЬ ПЯТЫЙ.

В КОТОРЫЙ УЯСНЯЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ НЕМАЛОВАЖНЫЕ ПОДРОБНОСТИ.

- Как продвигается сыск по покушению на дона Кристобаля, не слышно ли новостей?

Ее высочество донна Исабель пребывала в хорошем расположении духа. Дело скорым ходом шло к войне; средства были собраны и рассчитаны таким образом, что даже при непредвиденных тратах казна не должна была задолжать солдатам, тянись осада хоть год – а уж после войны можно было приступать и к прочим проектам: донна Исабель, хотя никому из ближних этого и не высказывала, была убеждена – новое дело надо начинать, когда будет доделано старое, а большее должно следовать за меньшим – и тогда ничто не окажется в забросе и небрежении.

Ее подруга маркиза Мойя придерживалась убеждений не то, чтобы противоположных, но отличных. Поэтому вопрос о доне Кристобале ее чрезвычайно обрадовал, и она рассказала, что коррехидору было указано обратить на это дело особое внимание, и что, хотя поиски пока ничего не дали, коррехидор принимает это дело близко к сердцу, а вот самого дона Кристобаля она уже третий день не видела, верно, он бережется, и правильно делает. За разговорами о доне Кристобале донна Беатрис едва не забыла поведать венценосной подруге наисвежайший слух о том, что в кастильо д'Агилар появилась ни кто иная, как донна Маргарет, да-да, та самая... Но этому слуху ее высочество как раз большого значения не

придала, только вскинула слегка брови – одна? в сопровождении слуги? неудивительно: ее отец и супруг виноваты перед святейшей инквизицией Кастилии, и поездка в Испанию может стоить им жизни. И Беатрис Мойя подумала, что ее высочеству не очень приятно вспоминать о дочери тайного иудея, которого его зять дон Питер и его слуги сумели отбить у инквизиторов перед самым ауто-да-фе. А ведь супруг Беатрис тоже из семьи выкрестов, правда, переменивших веру столь давно, что память об их былом иудействе вместо изъяна стала чем-то вроде особого знака отличия. Но времена сейчас такие, что этот знак может опять легко превратиться в изъян, несовместный ни с высокими должностями, ни с богатыми угодьями, ни с королевским благоволением, ни даже с правом жить в Кастилии. Кто знает? Удрученная этими мыслями, она оставила королеву, не заметив, что и королева – если не удручена, то растеряна до крайности.

Восковое подобие, с шипением тающее в огне.

Столь давнее это было дело, что она не сразу вспомнила, какое заклятие скрепляла стальная игла, проткнувшая восковую куклу насквозь. Это явно не мог быть приворот. Лигатура? Тоже едва ли. Воспоминание, которое она старалась похоронить в себе до исповеди на смертном одре, никак не давалось сознанию...

...Одиночество.

Да.

Именно так.

Тогда, когда дон Карлось кружил ей голову Ланселотом, вожделея ее, но, как ей думалось, не любя; когда они на виду у всего двора – только слепец не узнает! – играли строфами баллад, применяясь к ролям героев, когда однажды в тени высокого старого розового куста, никнущего от обилия бутонов, он вместо рук расцеловал ей грудь, и она с пылающими щеками неловко отталкивала его – а он обнимал ее все крепче... Нет, тогда у нее и в мыслях не было желать ему одиночества! Тогда она, быть может, и поддалась бы – и потом они улыбались бы друг другу, ценя ту игру и тот невеликий, но отрадный обоим выигрыш.

Но на следующий день после ребяческих объятий под розовым кустом он возник в ее покоях, у нее за спиной, напугав ее до полусмерти (позднее она приказала заложить тот ход кирпичом – и впредь во всех цитаделях и замках, где ей случалось оставаться на постой, стенки опочивален тщательно выстукивались, а на все выступающие завитушки нажимала крепкая рука начальника стражи). И предложил совсем иную игру. Он заговорил о недальновидности дона Фернандо, о решительности его давних противников, о своих правах на корону, и о том, что ее – Исабель – он хотел бы видеть своей соправительницей – и своей супругой.

Она не испугалась. Не возмутилась. Уж подавно не выказала радости. Она сказала тогда, что понимает дона Карлоса, не осуждает его за дерзость и благодарит за великое доверие, однако по ее мнению стоит оставить все, как есть – ибо в государстве только-только улеглась смута, и если начать новую, пусть даже с целями самыми благими... Он поклонился, и оставил ее, ни говоря ни слова. И вместо грешных и нежных воспоминаний между ними на годы и годы легло молчание.

Но ей стало ясно одно: дон Карлос не оставит своих намерений – и изберет себе в супруги ту, с кем не зазорно делить трон. Горе ей, Исабель, если он восторжествует. Но позор на ее голову, если она обречет его на смерть – хотя бы потому, что во многом он трижды и четырежды прав. Дон Фернандо редко видит выгоду дальше своего носа, а уж на годы вперед рассчитывать не способен вовсе. И тогда она заказала одному каббалисту изготовить подобие.

Ей не стать для него Королевой – так пусть же он не найдет свою Королеву вовек.

И умер его сын – незаконный, но рожденный в любви, а та, что его родила и не уберегла, стала отверженной.

И прекрасная англичанка Маргарет отказала ему.

И после этого, как будто, заклятие стало ненужным. Исабель едва не позабыла про подобие. Пока не увидела его в руках дона Фернандо. Пока тот не швырнул его в огонь. Пока заклятие не истлело вместе с лепестком пергамента, не изошло витым дымком с багровых углей.

Дон же Кристобаль пребывал в смятении. Мысленному взору его все чаще представал тот темный зловонный проулок – нет лучше места для засады, подумал он тогда, проходя мимо, и даже позволил себе вообразить, как кидаются на него маскированные убийцы. А не поднимает ли весть о покушении его цену в глазах Их высочеств, не заставит ли их поторопиться?

Наутро он отправился к маркизе Мойя, так себя настроив, что в приемной у нее и впрямь взволновался до заикания. Но когда делу дали ход, и лазутчики пошли выспрашивать народ по тавернам и притонам, дон Кристобаль устыдился своей выдумки. Все дни он молился, чтобы сыск как можно скорее прекратили, и не схватили бы невинных, да те не оговорили бы себя под пыткой. И особо - чтобы коррехидор не пострадал за нерадивость. Но стыд и страх не покидали его, заставляя крепче стискивать руки в молитве.

- Ох, сеньора Долорес, право, не знаю даже, что думать, что говорить...

- Сеньора Санча, бывают такие положения, что лучше говорить, чем думать. Ибо мысли делу не помогают, а слова снимают тягость с души.

- Да такому делу ничем не поможешь. Его светлость, дон Карлос, прости его Господь, всего второй месяц вдовеет, а с донной Маргаритой ложе делит, как с супругой, безо всякого стыда. А она-то ведь замужем. Мы-то с вами, сеньора, из благородных побуждений записать все это хотели, а что выходит?

- Повесть о страстях грешных и темных, донна Санча, за которые неминуемо скорое возмездие.

Инес опустила глаза, чтобы ее не выдал гневный пламень.

- Сеньора Долорес, признаться, страшно мне быть ко всему этому причастной. Гнев Господень может и на меня обрушиться за молчание и тщеславие. Слыханное ли дело женщине писать повести, да еще о страстях?

- Если женщина может носить корону и мудро править державой, женщина может и сочинять повести, тем более что мы не воспевать собрались чужое греховодничество, но лишь описать его с назидательными целями. Не бойтесь, молитесь только крепче за их и за наши души. А чтобы вам отвлечься, пойдемте-ка к книжному рундуку.

Пока Санча ахала над пожелтевшими сокровищами, Инес, чтобы остыть от ревности, размышляла об ином. Уже три дня миновало, а к коррехидорскому поручению она всерьез не приступала, если не считать, конечно, знакомства с Санчей. А вот для любезной подруги Беатрис Энрикес де Арана, провались она, порадеть успела – да ничего из тех радений не выродилось. Какими только околичностями она за эти три дня не выспрашивала городских воров да душегубов, с какими только шлюхами не сплетничала – ни про какой найм никто слыхом не слыхивал. Подступилась она и к посольству венецианскому под тем предлогом, что ждет из Венеции весточки, и не приезжал ли кто в последнее время? – никто не приезжал. А уж у нее соглядатаи понадежнее, чем у коррехидора – иные и сами не знают, что соглядатайствуют. И раз она на след выйти не сподобилась, стало быть, так высоко наниматель, что не дотянуться. Или же нанимателя вовсе не было. И найма не было. Так-то.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

В КОТОРЫЙ ХОСЕФ КАРВАЛЬО, РАНЕЕ БЫВШИЙ НА СЛУЖБЕ У ДОНА КАРЛОСА, И ИМ ОТПУЩЕННЫЙ, СНОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА СЛУЖБУ.

Он вдохнул запах ее волос – лаванда, роза, дух разгоряченной со сна кожи – и блаженно приник к ней всем телом. Было тягостно и сладостно. Не то, что говорить – думать не хотелось, а только млеть, растворяясь в этом благоухании.

Пусть. Все равно – он с неведомой ранее отчетливостью ощущал, невзирая на всю свою и ее нежность – это не любовь. Это воздаяние – им обоим. Не более и не менее. Недаром же она, Маргарет, не спрашивает его – ни о том, куда он уезжает, ни о том, почему.

И слава Богу.

Он поднялся, и тихо вышел в соседний покой, где было все приготовлено для утреннего умывания.

Белая вымостка патио сияла до боли в глазах. На каменную скамью присела Санча – она кормила с руки пшеницей тугобокого жадного голубя, и дон Карлос, освеженный благовонной водой, в светлом, против обыкновения, камзоле, было умилился, а потом, сообразив, что это за голубь, подошел, и прижал его ладонью. Тот привычно притих.

Письмо...

Он стиснул тугую трубочку пергамента в кулаке, ушел, не заметив удивленно распахнутых глаз Санчи. Поднялся на асотею, не в силах смирить смятения. Город лег перед взором – черепичное море, подернутое извечной рябью, с белыми скалами – Алькасаром, церквами, башнями старинной стены, за которую уже давным-давно выплеснулись предместья. Он вздохнул и взялся читать:

Друг мой!

Верно, своими письмами я заставляю тебя волноваться за меня больше, чем стоило бы – потому что я, как будто, здорова и благополучна. Только вот все чаще ловлю себя на том, что не разделяю мой язык и твой. Вчера ответила матушке по-кастильски на какой-то ее вопрос, а когда она не поняла, я удивилась, и повторила, да еще с подробностями. Матушка от испуга едва не послала за доктором и священником – решив, что я заговорила на неизвестном наречии.

Прошу, не стесняйся отправить посольского голубя с вестью о твоем отплытии.

Твоя Алессандрина.

- Карлос? – вздрогнув, он стиснул письмо в кулаке, смял, обозлился на себя и некстати явившуюся Маргарет. Она стояла у него за спиной, словно сошедшая с небес, в жемчужно-сером платье и с белым шелком на волосах. И, кажется, догадалась, что не вовремя.

- Санча удивила меня, сказала, ты получил послание с голубем? Дурные вести? Я некстати?

- Ты не можешь быть некстати, Маргарет. А вести – ну да, досадные. Продажа одних моих угодий, кажется, не состоится. Управляющий уже было сговорился, да покупатель оказался мараном, и днями попал под сильное подозрение. Куда ему теперь угодья? А поскольку дело срочное, то послали весть не с нарочным, а голубем. Да полно об этом. Не откушать ли нам? Я уже с час на ногах.

Хосеф Карвальо, крепкий буйноволосый малый, катал и катал по столу последний кастельяно, словно надеясь, что тот раздвоится. Куда там! Кастельяно только звенел, признаться, довольно уныло. Что такое для Хосефа один кастельяно? Ночь погулять – если так, как он привык, а утром – зубы на полку, или в войско к королям записываться, а того он не хотел, потому что не по нраву ему сухарям-офицеришкам подчиняться. Если бы в отряд к какому сеньору, знатному и щедрому, тогда бы славно. Да какой сеньор приблудного возьмет? Вот к дону Карлосу на службу он поступил из Мотриля, деревни, что у самой

гранадской границы – дон Карлос там каждую собаку знал, и от щедрот своих деревенским уделял немало. Потому и взял его, Хосефа, на службу.

А дон Карлос тоже себе на уме. Вроде королевский племянник, но собрался куда-то в страшной тайне, при этом добрых христиан рассчитал, а выкрестов мавританских при себе оставил. Не по-Божески это, с теми-то, кто везде и всюду за него горой стояли, и все его грехи покрывали. Правда, жалование он всем за полгода выдал. Да где же оно у служилого человека удержится? Там глазки сверкают, тут ножка мелькнула, на те ушки сережки повесь, на ту ручку перстенек надень, да себе одежду справь, чтобы не зазорно было куртуазничать, да вина хорошего, да долги старые раздай – раньше-то, пока на службе был, боялись их спрашивать, а теперь налетели. Вот и остался от всего один кастельяно – кому состояние, кому смех, да и только. А ему, Хосефу, хоть плачь.

- Не будет ли достойный сеньор против моего общества?

Хосеф накрыл кастельяно от греха подальше ладонью, и поднял глаза. Тот, кого принесло к его столу, выглядел более чем странно.

Это был маленький мориск. Его вкрадчивый, довольно высокий голос заставлял подозревать наклонность к мужеложству или совершенное в отрочестве оскопление. Лицо было очень смуглым, гладким, но словно бы присоленные сединой брови выдавали зрелый возраст. Словом, человек этот явно не был особо счастлив в жизни, и немало поплутал тропами судьбы.

- Садитесь, сеньор. Но если вы рассчитываете на занимательную беседу, должен сразу сказать, что охоты беседовать у меня нету.

Незнакомец слегка изогнул уголки узких губ.

- Ведь ваше имя – Хосеф, не так ли?

Хосеф вскинул брови.

- Так и есть. Только вашего я что-то не припомню.

- Достойный сеньор Хосеф, вы меня, к сожалению, помнить не можете. Однако мы с вами служили одному господину, и я вас с тех пор мельком запомнил, хотя ваша служба была дневная и у всех на виду, а моя больше – ночная и тайная. Так вот хочу вам сказать, что дон Карлос, мой господин, вас помнит, и именно вас попросил разыскать. А чтобы у вас сомнений не оставалось, вот вам доказательство – узнаете?

Золоченого перстня с эмалевым орлом, какой носила приближенная маркизова челядь, Хосефу по прежней его службе не полагалось. Но тут украшение скользнуло на палец, как будто он его век носил.

- Так я, стало быть, снова на службе?

- Стало быть, да. Только служба у вас теперь тоже будет – ночная и тайная.

- И в чем же она будет состоять?

Мориск придвинулся к нему, обдав ароматом сандала и старого дерева, и перешел на шепот.

- Говорите, почтовый голубь? – Инес бесстрашно подняла на Санчу сверкающие глаза. – Сеньора Санча, а не кажется ли вам странным, что лицо, пусть и весьма высокого происхождения, но ведущее жизнь сугубо частную, пользуется голубиной почтой, да еще накануне войны?

- Милая сеньора Долорес, я не знаю, что думать... – Лицо у Санчи было умоляющее.

- Сеньора Санча, настал час истины. Начать с того, что я очень перед вами виновата, ибо хоть и с благими целями, но я вас обманула. Я бы никогда вам в том не призналась, не найди я в вас человека благородного и честного. Так вот, я не случайно заговорила с вами в книжной лавке...

И она в подробностях рассказала о поручении коррехидора.

- Так я, выходит, волей-неволей служу Их Высочествам? – Перехваченным голосом спросила Санча. Она так сияла восторгом самопожертвования, что Инес начала опасаться за

успех замысла, - сеньора Долорес, да я умереть готова за Их Высочества, верите, мученической смертью...

- Надеюсь, Санча, и я, и вы будем жить еще долго и безмятежно. Но пока нам предстоит опасное и трудное дело – добыть эти голубиные письма. Постарайтесь разведать, где он держит наиважнейшие документы, а как разведаете, надо будет хозяина выманить из дома...

За такое дело коррехидор прямо на службе хватил винца. Был он доволен, однако, правда, и несколько уязвлен: подумать только, какая-то бабенка все обделала лучше опытнейших его осведомителей, сразу на верный след вышла!

А дон Карлос-то!.. Нет уж, если попала в жилы мавританская кровь, Господи прости, никакая другая с ней не совладает. Правы святые отцы – гнать из Кастилии жидовье и обезьян черномазых магометовых, гнать.

И, допив вино, он послал нарочного за доном Кристобалем.

А сам стал думать, кого бы приставить к генуэзцу в тайные охранители.

Человек требовался сообразительный и скорый на руку – ведь ему и жизнь дона Кристобаля поручалась, и арест убийцы.

Вечерело. Солнце уже осталось только на самых высоких башнях – слабеющие лучи розовели, в улицах залегла синяя тень, и над дверями таверн запалили фонари.

Дон Кристобаль давно вернулся от коррехидора; пил вино; листал старые записи; но так и не мог прийти в себя. Какой волшбой выдуманное им нападение обернулось если не былью, то возможностью? Или просто та его выдумка не выдумкой была, а причудливым предвестием, которое позволило ему сейчас быть наготове и во всеоружии. Наготове ли? Во всеоружии ли? Где его подстережет убийца – не прямо ли за дверью его жилища?

А коли так, не привести ли в порядок дела земные?

Его карта и письмо Тосканелли, слава Богу, в надежном месте. Остальное? Перечень имущества уместится на один-единственный лист, даже с подробными пояснениями – что отходит сыну, что – родне, что – Беатрис, что – матери нашей Церкви.

Он достал этот самый лист и принялся писать.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

В КОТОРЫЙ СЕНЬОРА САНЧА, СТРАДАЯ ОТ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ДОЛГОМ И ЧУВСТВОМ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ВЫСКАЗЫВАЕТ НЕКОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.

Дурнота уже прошла, однако подвздошье наполняла стылая легкость.

- Донна Маргарита, это все от недостатка воздуха. Вы же целыми днями в четырех стенах. Вам надо съездить за город, развеяться. Вы бы уговорили дона Карлоса устроить прогулку. И вы развеетесь, и он от дел отвлечется хоть на день.

Маргарита обмахнулась мокрой ладонью.

- Что со мной, не пойму... Спала, как будто, хорошо. И вчера превосходно себя чувствовала. Ела, что всегда.

- Говорю вам, если не сегодня, то завтра непременно поезжайте на прогулку. Погода день ото дня все жарче, и в покоях душно. Вот и сейчас - посидели бы в саду. Он хоть и невелик, а зелен. Померанцы доцветают. Право же, донна Маргарита! Давайте я вас провожу, если вы еще слабость чувствуете.

Оставив Маргариту в саду, Санча вернулась в покои прибираться.

Утренняя дурнота, конечно, может быть случайной. Но если донна Маргарита понесла? Каким бы грешником ни был дон Карлос, что бы он ни замышлял, не станет же он, сам незаконнорожденный, отказываться от своего ребенка? Да еще рожденного любимой

женщиной? Донна Маргарита, правда, замужем. Однако раз муж не стал ей преградой на пути в Кастилию, не удержит он ее и потом.

Стало быть, если дон Карлос и впрямь что-то замыслил, нужно, чтобы он отказался от своего замысла, и, больше того, явился с повинной – понятно, не к коррехидору – к королю. А как заставить его это сделать? – только рассказав о ребенке и воззвав к его отцовским чувствам. Но точно ли беременна Маргарита, ясно станет лишь через несколько дней. А до того нужно узнать, где он держит письма, и... Эта мысль заставляла ее холодеть. В смятенных чувствах она пообещала подруге своей Долорес всяческое содействие, но теперь, поостыв, понимала, что даже повода войти к маркизу в кабинет – осмотреться - ей не выдумать – все дела она решает с управляющим. Даже в замочную скважину она подглядывать не осмелится – а вдруг застанут? Если только не...

- Прошу простить, ваша светлость, что отрываю вас от дел. Однако мне нужно безотлагательно с вам поговорить.

- Я весь внимание, сеньора Санча, - дон Карлос выглядел, однако, рассеянным.

- Донне Маргарите сегодня утром стало дурно... – Санча многозначительно замолкла, кося глазами по сторонам, как будто от неловкости, а на самом деле стараясь приметить и запомнить все ларцы и рундуки.

- Это случается. Извольте, позовите хорошего врача.

- Дон Карлос, мне думается, немочь ее – особого свойства. Естественная, но особого свойства.

- Сеньора Санча, будьте любезны, скажите о природе ее немочи прямо.

- Мне думается, донна Маргарита понесла.

...

“Значит, она обсчиталась...”.

- Дон Карлос, я на своих сестриц да свояченицах нагляделась. Все признаки сходятся. Сама она еще ни о чем не подозревает, в недоумении – что с ней такое.

- Хорошо, сеньора Санча, правды от вас, как видно, не утаишь. Хотя лучше бы вы ошиблись.

- Время покажет, дон Карлос. Примите только мои уверения в том, что я при донне Маргарите буду неотлучно, и все, что в моих силах, для нее сделаю – понесла она или нет. У меня еще просьба будет: донна Маргарита очень хотела бы верхом прокатиться подальше за город, только вот сама вас об этом просить постеснялась. А раз уж я о таких вещах говорить осмелилась, о которых до последнего молчат, так уж и это ее пожелание могу передать.

- Хорошо, завтра же...

- Прошу простить меня за дерзость, ваша светлость.

- Это не дерзость, сеньора Санча. Это преданность. И я вам за нее признателен.

Значит, она обсчиталась. Ошиблась на день или два, но здесь и день имеет значение, как учат написанные вязью трактаты.

Господи, помоги...

Он посмотрел на распятие, однако остался сидеть за столом. Молитва не шла с уст. Вместо молитвы достал принесенные голубями записочки.

Что она сделает, Алессандрина, если он привезет с собой женщину, которую обрюхатил и скажет – прости, я не могу лишить своей заботы ни ее, ни ее дитя? А что сделает Маргарита, если узнает, что он тайно венчался, когда сестру ее Элизабету еще не похоронили? Они возненавидят его обе, и на том сойдутся – женщин всегда сводит ненависть к мужчине.

Маргарет должна остаться здесь. По крайней мере, на какое-то время, пока не подрастет ребенок. Он назначит ей содержание, купит ей дом, приличный, но уединенный, чтобы никто ей не досаждал, возможно, раз или два проведает ее, Алессандрине объяснив свои отъезды

делами, а потом вытребует подросшего сына или дочь в Венецию. Возможно, прибавит отпрыску лет, чтобы Алессандрина ничего не заподозрила. Так поступали до него, и также поступит он.

Санча, забыв дышать, приникла к замочной скважине. Теперь она знала, где, по крайней мере, искать голубиные письма.

Легко сказать – убить человека. Для этого его надо выследить, некоторое время понаблюдать за ним, и уж только потом подкараулить. Положим, где генуэзец живет, наниматель ему растолковал. Однако возле чертова дома никакого закутка не нашлось, чтобы незаметно притулиться. Голые стены, слепые, без окон. Не под нищего же рядиться – тем более, что тут и нищих-то не бывает, потому как здешним насельникам самим побираться впору. А генуэзец, из дому выходя, когда налево, когда направо по улице сворачивает, и переулками путь срезает – издали не уследишь, куда его понесло.

Между тем, поразить его надо с одного раза – и наверняка.

Днем об этом и думать нечего, если только в доверие к генуэзцу войти – а это у Хосефа едва ли получилось бы: нравом он был молчун, и в людях нуждался, только если от них была прямая польза; да и то предпочитал словам звон монетный. Тут же надо было прикидываться и мести языком во все стороны.

А ночью он едва ли из дома нос высунет: на гуляку не похож, баба у него одна.

Эх, до чего же заковыристое поручение дал его светлость!

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ.

В КОТОРЫЙ ХОД СОБЫТИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗНООБРАЗНЫХ ЯВНЫХ И СКРЫТЫХ ПРИЧИН УСКОРЯЕТСЯ, И ОНЫЕ СОБЫТИЯ ПРИОБРЕТАЮТ ОПАСНЫЙ ОБОРОТ.

Как бы Санча не трепетала, впуская Долорес и ее невидного спутника по имени Хуанито в затихший дом, она заметила, как уверенно держится подруга и каким едва ли не хозяйским взором обводит она голые стены.

Сеньор, как и обещал, с утра увез Маргариту кататься верхом, и забрал с собой всю челядь, в том числе и Маргаритиного слугу. Остался привратник – но он по званию ворота и охранял, а гостей Санча провела через калиточку в саду – вернее, они сами вошли, отомкнув замок.

Двери кабинета, конечно же, были заперты, и Хуанито полез в свой кошель, полный ключей, крючков, штырьков и прочей странной снасти. Выбрав подходящую, он капнул на нее из скляницы маслом. Замок поддался с чуть слышным щелчком.

Стол был чисто прибран: ни свитка, ни записки. Только по краям горбились крышками ларцы и шкатулки.

Санча указала на ту, где должна была найтись голубиная почта.

- Хорошо. Сеньора Санча, не могли бы вы покараулить, что делается на улице? А я останусь тут у дверей.

Запор поддался с первого раза, словно его открывали ключом, а не отмычкой.

- Готово.

- Хорошо, открой, пожалуй, и остальные, что на столе, а потом сменимся.

Инес достала из своей поясной сумки чернильницу и перья.

Над голубиными письмами она надолго задумалась, водя охвостьем пера по щекам.

Ей очень хотелось представить все сделкой, и возможность такая имелась – в письмах упомянуто было решение дожа о наследстве.

Но сама-то она понимала, для чего это упоминание, и между строк вычитывала невольные укоризны – как себе, так и всем прочим, что посягали на сердце дона Карлоса.

...А вот и брачное свидетельство. Очень важны имена священника, нотариуса и свидетелей.

...Акт о безвозмездной передаче имущества в полное владение, с перечнем переданного - на десяти листах

И договоры о продаже угодий. Много. Почти все земли обращены в золото.

У калитки Санча придержала Инес за рукав:

- Сеньора Долорес, когда вы будете делать донесение?

- Чем скорее, тем лучше. Сегодня.

- Прежде чем дело дойдет до коррехидора, я бы хотела вот что сказать: я хоть и недолго здесь служу, успела привязаться к донне Маргарите. Дело такое, что она, возможно, от дона Карлоса понесла. И хорошо ли будет, если его бросят в тюрьму, а она останется одна? Не лучше ли, чтобы он сам повинился?

“Вот ведь дура, господи прости!”

- Сеньора Санча. Дела обстоят так, что... Почему бы вам сейчас не выйти честь-честью на рынок, а там бы мы встретились и я бы вам рассказала, что за тайны нашлись в маркизовых ларцах. Ибо в наших трудах вслепую нельзя.

Санча покорно кивнула.

Город велик: редко бывает, чтобы три раза на дню попалось на глаза одно и то же лицо. А вот дону Кристобалю вчера повезло. Детина был крепкий, по виду воин – как будто наниматься собрался или побывку в городе догуливает. При взгляде на него глаз не отводил, даже вроде чуть подмигивал.

Коррехидор ведь ему никакой защиты не обещал, велел только ходить с осторожностью, людными улицами, да еще редкостную мавританского плетенья кольчугу ссудил – вот и вся защита. И правда – стражу к нему не приставишь. Можно, конечно, дома запереться – но трусливое затворничество дону Кристобалю претило.

И потому сегодня под вечер снова вышел - без особой цели. Шел, следил краем глаза, чтобы за спиной на десять шагов никого не было – обычно и не было, маячили только вдали такие же, видать, праздные прохожие; перекрестки примечал заранее, и шаг перед ними замедлял, ожидая за углом засаду. Сам не заметил, как оказался у ворот кастильо Агилар.

Ворота были раскрыты – хозяин только что вернулся откуда-то; сквозь арочный проем было видно, как он держит стремя даме, подняв к ней улыбающееся лицо.

Дама спешилась, вернее, упала дону Карлосу в объятия. Щедрое сердце у дона Карлоса, ничего не скажешь.

Тут привратник оделил дона Кристобаля нелюбезным взором, и стал затворять ворота.

Санча стояла в тени галереи, схватившись за грудь – так колотилось сердце.

Вот он придерживает Маргарите стремя, принимает ее, доверчивую, в объятия.

Этот человек, который знает о ее возможной ноше, который так ласково поддерживает ее под локоть, и за ужином наверняка будет расточать ей словесные нежности, а ночью – ласки – этот человек женат по расчету на венецианке вдвое себя моложе; ему посылают с голубями тайные распоряжения; и, исполнив их, он исчезнет из Испании, бросив здесь и Маргариту, и ее дитя, и свое собственное имя, коль скоро его ждут иные владения и титул.

И уже изготовившись к этому, он продолжает глумливо упиваться ее телом.

А ее сегодня поутру опять тошнило.

Господи, тут впору грех на душу взять и вытравить его семя, чем носить его!

Долорес просила не говорить Маргарите пока ни слова.

Господи, выдержать бы.

Господи, выдержать бы.

Выдержать бы еще неделю – пока не станет ясно, понесла она или нет – эти сияющие взгляды. Эти легкие, как бы невзначай, прикосновения руки к руке. Это молчаливое ожидание его решения.

Хуже, чем иная женщина терзается вопросом “Любит ли?” он изводился, пытая свое сердце: почему не вернулась его любовь к Маргарет?

Казалось, он довольно знал себя, чтобы опасаться ее возвращения.

Но сердце безмолвствовало, словно его не было вовсе. Совесть как заснула. А душа снисходительно позволяла плоти гореть страстью, ожидая соприкосновения с другой душой.

Он словно бы раздвоился: телом и памятью жил в одном мире, с Маргарет, а душой и сердцем – в ином. В этом раздвоении зияла неведомая ранее свобода. Раньше такого не было, чтобы он не мог отличить греха смертного от греха простительного. А тут, кажется, все стало простительно. Голова кружилась от неизъяснимого страха – он не узнавал себя.

За ужином Маргарет вновь искала сияющим взглядом его взгляда. Он выдержал часовую застольную беседу о различиях “Песни о Сиде” и “Короле Артуре и рыцарях круглого стола”, хотя имя Ланселота некстати навеяло воспоминания.

- Донна Маргарет, нам необходимо поговорить о вещах, которые касаются нас обоих.

В кабинете он усадил ее в кресло, но сам замешкался. Сесть у ее ног? Или пододвинуть табурет? Его не тянуло садиться вовсе, но, стоя, он возвышался над ней, как судья.

Все-таки табурет.

- Маргарет, - он помедлил, подбирая слова, - мы живем в сладком плену безвременья. Но ведь вечно это продолжаться не может...

- Да... Ты уедешь. – он едва ее расслышал. – Рано или поздно.

- Ты совершенно уверена, что не хотела бы вернуться в Анлгию? Потому что все мои средства...

- Нет. – Она подняла глаза. Они все также сияли. – Нет, я не хочу. Мое прошлое мне невыносимо даже держать в памяти. Тем паче туда возвращаться.

- Но позволь спросить, что ты собираешься делать одна в Кастилии, где никого не знаешь?

- Меня это не заботит. Полагаю, моих средств хватит на взнос в обитель.

Он невольно вздрогнул.

- Маргарет, это заботит меня. Потому что...

- Карлос, ты сам сказал: мы живем в сладком безвременье. Ты уедешь, я не хочу знать, куда и зачем. А я останусь жить этим безвременьем. Поэтому, прошу, не омрачай своих мыслей заботами о той, что не заслужила твоих забот.

- Маргарет, - он посмотрел прямо в ее сияющие глаза, - венец мученицы тебе не к лицу. Послушай меня. С тех пор, как ты здесь – я со страхом жду, что меня опалит прежний огонь, и ты станешь владычицей моей души. Со страхом, потому что ранее ты была ко мне немилосердна. А я выказал себя глупцом... Когда я смотрю на тебя, меня охватывает восхищение, нежность, желание, страсть. Но... Маргарет, мне и самому странно...

- Любви ко мне в тебе более нет.

Ему оставалось только покачать головой.

- Тогда почему же моя судьба тебя так заботит? Как я уже говорила, мне хватит средств на взнос в монастырь. Я не вздорная девочка, если уж я решилась на то, на что решилась, я подумала и о дальнейшем.

- Потому что я чувствую себя виноватым, что не сдержал себя. Что заронил тебе в душу надежду...

- Ты подарил мне счастье безвременья, Карлос. На которое ты сейчас посягаешь этим разговором. Забудем пока что о нашем будущем. Ведь, хотя ты меня не любишь, нежности и страсти мне довольно.

- Маргарет, мы можем забыть о будущем, однако оно не забудет о нас... Как ты себя чувствовала сегодня утром?

- Почему ты спрашиваешь?

- Потому что ты можешь носить под сердцем мое дитя.

Она побелела, прикрыв рукой рот. Потом с трудом выговорила:

- Но ведь ты сам сказал тогда...

- Да. Но здесь порой влияют десятки тончайших обстоятельств. Словом, ты можешь быть в тягости. И хотя бы поэтому твоя судьба мне небезразлична.

Маргарет выпрямилась, и положила руку на живот. Сияние в ее глазах неуловимо сменил гневный отблеск.

- О да, Карлос, теперь ты можешь распоряжаться моей судьбой в полной мере. Я даже не уверена теперь, не солгал ли ты мне, когда считал на пальцах дни. Сейчас я в твоих руках всецело, потому что никогда не пойду на то, чтобы вытравить этот плод – ежели это и правда беременность.

Ему кинулась в лицо кровь, но он сдержался. Она имеет право на гнев.

- Маргарет, мое предложение прозвучит оскорблением, я знаю. Однако прошу тебя выслушать. Ты останешься в Кастилии, в доме, который я для тебя куплю. Ты ни в чем не будешь нуждаться – ты и твое дитя. Если окажется, что ты не беременна, и если ты будешь настаивать на постриге, я сам внесу деньги в избранную тобой обитель. И не кори меня за холодность и расчетливость. Я не откупаюсь. Я исполняю свой долг настолько, насколько могу в данных обстоятельствах. Будь они иными, я поступил бы иначе. Я... Маргарет, прости меня. Я более ничего не могу тебе предложить. Я сказал все, что хотел сказать.

Они дали молчанию отяжелеть и насытиться треском свечей. Потом Маргарет тихим, без тени гнева голосом, произнесла:

- Но ты не хочешь раскрывать своих обстоятельств... Карлос... возможно, я не имею права их знать. Но и мне, и тебе было бы легче, если бы ты их открыл. По крайней мере, мне так представляется, и я знаю, о чем говорю: ведь я из дома, которым годы правило молчание.

Он поднялся, молча отомкнул ларец, и бросил ей на колени копию брачного свидетельства.

- Прочти это. Обрати внимание на даты. И, прошу, подумай трижды, прежде чем что-то сказать.

...

- Ты обвенчался с ней в день похорон Элизабет...

Он одними губами подтвердил: “Да”.

- И туда, в Венецию, ты уезжаешь. К ней.

“Да”.

- И ее ты любишь.

“Да”.

Лицо Маргарет как будто окостенело.

- Я не буду спрашивать, кто она есть и какова она. Не полюбопытствую, сколько времени вы были знакомы. Мне довольно того, что такой истово верующий человек, как ты, посмел обвенчаться в день похорон супруги. Пусть нелюбимой, даже, наверное, ненавидимой, но супруги. Теперь я все понимаю... И я принимаю твое предложение. Относительно дома и содержания. Мне ничего более не остается.

Она встала. Он сделал движение к ней и замер, повинуясь ее вскинутой руке:

- Прошу, не прикасайся ко мне. Между нами все решено, потому – не на...

И она осела на пол без памяти.

Далеко-то далеко, но как ни оглянись, кто-то один и тот же все время за ним тащился. Дон Кристобаль даже обмануть его пытался: заходил пару раз в таверны чин по чину, а выходил – в кривой проулок, и срезал так полквартала. Но только выбирался на широкую улицу, и отмахивал по ней шагов пятьдесят – глядь, сзади опять попутчик: то приотстанет, то чуть нагонит – но все один и тот же, точно. Глаза у дона Кристобаля были зоркие.

Меж тем свечерело, и он стал оглядываться чаще, досадуя, что его потянуло дразнить судьбу. Ведь ясно ему было сказано: ходить только белым днем и людными улицами.

Впрочем, разве не всю жизнь он дразнил судьбу, отвергая один за другим жребии, что она ему предлагала, вернее, подсовывала – ради единственного? А сейчас, кажется, судьба дразнит его – ты хотел стать важной птицей, суконщик Кристофоро? Вот же, смотри: кто-то наверняка могущественный желает тебе смерти; королева опасается за тебя; коррехидор лично занимается твоим делом.

Почему, интересно, коррехидор не захотел ему о своих подозрениях говорить? На какую высоту ведут нити заговора, в чьи чертоги?

Улицы заливала тень, и он ускорил шаги. Тот, позади, тоже зашагал быстрее. Дом, однако, уже близок – и чтобы убийца его нагнал, убийце придется бежать. А потому - еще быстрее. Там, в доме, люди – хозяева и постояльцы, они поднимут шум. Вот уже и крыльцо, и даже под навесом кто-то толчется...

Кто-то незнакомый.

Точно, незнакомый.

Человек от коррехидора?

Или их двое – убийц?

Если двое, то – плохи дела.

Кристобаль замедлил шаги.

Человек на крыльце смотрел на него пристально и спокойно.

- Сеньор кого-то дожидается?

- Да. Вы, надо думать, дон Кристобаль?

Генуэзец утвердительно наклонил голову.

- У меня к вам... дело.

- По поводу?

- По поводу вашей... По поводу того, что вашей жизни грозит опасность.

Кристобаль шагнул вперед.

- Вы от коррехидора?

- Нет. Просто... случилось кое-что услышать, что может быть для вас важно. Я, сеньор, добрый христианин, и не желаю ближнему зла.

- Подымемся ко мне?

- Не стоит. Разговор не долог.

Кристобаль поднялся на крыльцо, напрягшись, невольно ожидая удара, хотя собеседник убийцей не выглядел.

- Итак?

- Итак, смерти вашей хочет один знатный человек, которому глянулась ваша дама...

Кристобаль удивленно распахнул глаза.

- Сеньора Беатрис? Но она – женщина простого происхождения, да и... Связь наша давно уже очевидна. Кто же...

Тут его перегнуло от удара острым в подвздошину, а потом и вовсе подкосило. Перед глазами мелькнул сапог...

Сквозь шум в ушах он уловил топот – как будто бежали двое.

Вцепившись в стену, попытался подняться. Кое-как разогнувшись, бухнул кулаком в дверь. Еще. А шагах в двадцати, не более, дрались убийца и еще кто-то – случайный свидетель? Кристобаль, пошатываясь, побежал на помощь.

Когда насельники дома во главе с хозяином выскочили, размахивая искрящими лампами, на улицу, оглушенный Хосеф был уже связан по рукам и ногам крепкой новой веревкой, которая, ясное дело, была с собой у капитана Альваро Агилеса, исполнявшего коррехидорское поручение.

Хозяина дома капитан Альваро отправил за стражей. И чуть подмигнул Кристобалю – точь-в-точь, как вчера, когда три раза попался ему на глаза.

- Прыток, однако, ваш супостат зубы заговаривать. Ну да ничего: на дыбе он и вовсе ночным жаворонком запоет.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ,
В КОТОРЫЙ ДОН КАРЛОС СПОЛНА ИСПЫТЫВАЕТ УДАРЫ НЕМИЛОСЕРДНОЙ СУДЬБЫ.

- Как она?

Как всегда, в черном, да еще против утреннего солнца, дон Карлос этим утром виделся Санче посланцем тьмы, хотя вчера, когда позвал ее привести в чувство обеспамятевшую Маргариту, выглядел пораженным, даже испуганным, и она едва не до слез пожалела их обоих - отбились от рук Господних, мучают друг друга.

- Она в забытьи. Ночью несколько раз как будто бредить принималась, а сейчас в забытьи. Молю Бога, чтобы не открылась лихорадка. Если вы уедете, как она будет здесь совсем одна?

- Сеньора Санча, о моих решениях на этот счет я вас извещу. Уверяю вас, я не оставлю донну Маргарет своей заботой, пусть и на расстоянии... А пока, прошу вас, пригласите лучшего врача, какого знаете.

Он помолчал, вздохнул, задержал взгляд на угрюмом лице Санчи.

- Вы как будто осуждаете меня, сеньора Санча? И что у меня за доля? Все женщины судят меня, от королевы до блудницы...

- Боже упаси, ваша светлость дон Карлос. Кто я, чтобы даже помыслить об осуждении? А что я не в духе – так отчего же мне радоваться? Я к донне Маргарите душой прикипела...

- Сеньора Санча... Сейчас мне надо ехать, но позже мне хотелось бы с вами побеседовать. И, возможно, я дам вам поводы меня судить.

Он кивком обозначил поклон, и обычным легким шагом удалился по галерее, предоставив Санчу ее мрачным раздумьям.

Коррехидор втайне надеялся, что Их Высочества примут его не вскоре, хотя и доложил, что дело отсрочек не терпит. Хотелось не то, чтоб вздремнуть – передохнуть малость после ночи. Глаза жгло, словно в них песком метнули. Но стоило опустить веки, как виделся распяленный воплем рот, мутный бисер пота и слез на щетине, вставшие дыбом волосы. Так-то коррехидор был привычен к ночным допросам. По правде сказать, не столь уж часто приходилось применять пытку – обычно бывало довольно постращать, оборвав с плеч платье и привязав к станку. Однако покуситель на убийство уперся, хотя нашлись при нем изрядные деньги и, главное, перстень с алым орлом. Поэтому Хосефа щадить не стали.

На излете ночи записали полное признание. С перебеленным списком его коррехидор и ждал сейчас королевского приема. А в уме держал слова бесценной помощницы Инес про голубиные письма, брачный договор и купчие.

Однако Их Высочества допустили его к себе неожиданно скоро.

- Итак, дело о покушении на дона Кристобаля сдвинулось? Вы вышли на след убийц?

Донна Исабель улыбалась непроницаемо-любезной улыбкой.

- Да, Ваше Высочество. Вчера вечером произошло еще одно покушение, и убийца схвачен. Ночью же он был допрошен с пристрастием, и на допросе показал, что, - коррехидор сильно шелестнул бумагой,- “нанял меня человек средних лет, по виду мориск, от имени былого сеньора моего дона Карлоса д’Агилар, маркиза Морелла, дабы я дона Кристобаля

Колона лишил жизни, и за это уплатил он мне задаток в сорок кастельяно, и еще столько же посулил по исполнении дела, а также на словах передал, что принят я снова на службу к дону Карлосу, и слова эти передачей гербового кольца подтвердил”.

- Вот так-так. – Подал голос дон Фернандо, и под столом, незаметно, ободряюще сжал руку донны Исабель, которая не знала, что и сказать.

- И посему прошу у Ваших высочеств санкции на арест дона Карлоса и изъятие всех его архивов, ибо помимо этих показаний есть у меня верные сведения, что он посредством голубиной почты сносился с Венецианской Республикой. А также сведения о том, что он втайне без дозволения Ваших Высочеств заключил брак с гражданкой Венецианской республики некоей донной Алессандриной Адзанте д’Эльяно, и оной Алессандрине передал по заключении брака большую часть своего имущества. А ныне распродал спешно и остальное, вероятно, в преддверии скорого отъезда в Венецию.

У дона Фернандо дернулась губа.

- Дон Ксавьер, благодарю вас за службу. Требуемую санкцию мы вам даем, письменный указ об аресте будет составлен и передан вам незамедлительно. Сейчас же прошу вас оставить нас с Ее Высочеством наедине.

Едва дон Ксавьер вышел, как Его высочество взял в кулак серебряную чернильницу и стиснул так, что чеканный бок ее надломился и чернила брызнули на бархатную скатерть. Губы у него скривились, шея напряглась жилами, на лбу заблестела испарина – он все сильнее сдавливал в кулаке чернильницу, а потом швырнул ее на пол, и яростно, обильно сплюнул.

Дон Фернандо часто бывал зол, порой шумно гневался, но крайне редко приходил в неистовство. Донна Исабель, схватившись руками за щеки, смотрела на него со страхом. Потом пересилила себя, обняла супруга, и ощутила, как его ребра под камзолом ходят ходуном, точно мехи.

Наконец, он мало-мальски овладел собой, и высвободился из ее объятий.

- Как в навозе вывалялся... Да хуже! Подумай, мою кровь смешать с этой болотной жижей! В лазутчики на жаловании податься!! К торгашам! Да ему любой казни мало!..

Донна Исабель все молчала. Сосущая пустота разрослась в ее груди, как бывает от страха, только она не понимала, чем вызван этот страх, если все уже ясно, осталось только подписать указ. Поразило ли ее то, сколь низко пал приближенный, который дотоле стоял лишь на ступень ее ниже – и метил ей в равные? Или она ужаснулась тому, что сама своими насмешками шаг за шагом подвела его к этой бездне – так что ему стало безразлично, кто он и что творит? Или испугалась, что должна будет обречь его на смерть, его, кто значил для нее так много, дразня и вдохновляя ее одним своим существованием?

Он был для нее важен – как искус, как вызов, как недоступный возлюбленный, наконец. Даже история его страсти к англичанке на самом деле не принизила его в глазах Исабель – но странным образом возвысила. И вдруг на месте сего высокого и противоречивого символа оказался человек, насмерть – вот уж воистину насмерть! - запутавшийся в собственных страстях, стремлениях и обстоятельствах, а, стало быть, пылкий, недальновидный и по существу слабый. Он годами сносил бремя ее тайного неблаговоления и явного презрения, немудрено, что его подкосило. Ей было его отчаянно, до сердечной колики жаль. Впору бы облегчить душу слезами. Но плачь не плачь – государственному изменнику прощения и пощады нет.

Маргарет вполне пришла в себя, однако слабость и сердцебиения не позволяли ей даже сесть на постели. Приглашенный Санчей доктор-мориск долго щупал ее пульс, расспрашивал ее о том, что именно она чувствует, наконец, определил сердечную слабость, связанную, по видимости, с чрезмерным выделением у больной желчи, посоветовал несколько травяных настоев, улыбнулся бледной Маргарет, словно у нее была не стоящая опасений простуда.

Но за дверью опочивальни его улыбка истаяла.

- Сеньора Санча, больную я пугать не стал, чтобы ей не сделалось хуже. Но заболела она серьезно, и дело тут не в желчи, а в чрезмерном душевном потрясении. В романсеро поют иногда, что “сердце девы разбил жестокий кабальеро” - вот этот самый случай у нас и есть. У благородной донны надорвано сердце. И ее надо оберегать от любых волнений. Вставать ей по крайней мере еще неделю ни в коем случае нельзя. Разговоры вести только самые утешительные. Чтение – библейское, но безо всяких страстей... А может и вовсе пока никакого не надо. Если что – в любое время дня и ночи посылайте за мной.

Он обвел взглядом резные своды гостиного покоя, куда они вышли, и вздохнул.

- По правде сказать, если потрясение она испытала в этом доме, то лучше всего было бы перевезти ее куда-нибудь в другое место, хоть в загородную усадьбу. Это, мне кажется, не тот дом, где стены помогают.

Санча проводила доктора до ворот. По двору опять расхаживал тугобокий голубок – венецианский посланец. Привратник, видно, отлучился, не заметил вестника. Голубь легко дался ей в руки, притих в ладонях. Птица невинная, с бедой на крыльях. Вернее, под крыльями. Перевязь, видимо, ослабла: письмо осталось у нее в руках – твердая, словно камышовая, трубочка. Маленькая алая печать с гербом крошилась, едва скрепляя края.

И, словно ее что-то укололо, Санча быстро перекрестилась и развернула листок.

“Друг мой!

Прости, я не могу не писать. Этим я живу. Я писала бы и каждый день, будь у меня стая голубей. Но их осталось лишь два.

Сей ночью мне снилось, что меня пришли сватать. Поначалу все выглядело, как наяву. Матушка представила мне гостя. Надменный, совершенно незнакомый красавец попросил моей руки, а когда я сказала, что – замужем, ответил, что устроит все дело, и что мать моя согласна. И мать моя кивнула из-за его плеча. Я поначалу не испугалась, меня только удивила его веселая холодность, а потом я заметила, как черны тени по всем углам залы, а за окнами – бестрепетный сияющий свет. И меня объял такой ужас, что я проснулась с криком, запалила все свечи и до утра читала молитвенник.

Карлос, жизнь моя. Прошу, поспеши с отъездом. Мне без тебя невмочь. Я стала мнительна, слышу каждый удар своего сердца и мне все время кажется, что это – последний. Хожу в церковь дважды на дню – но страх тянет из меня душу, точно клещами. Молю, спаси меня от меня.

Люблю тебя.

Твоя Алессандрина.”

Листочек сам собой свернулся, точно волшебный.

Матерь пресвятая Богородица, что же это?

Истекающее любовью сердце билось в каждой остро-отчетливой букве, замирало между слов, давало глухой перебой перед новой строкой. Санча слышала это биение; Санча видела поверх жаркой, застилающей глаза пелены, как она пишет, низко склонившись, сдерживая дрожь в напряженном запястье; как наклоняет свечу, чтобы капнуть печатного воска; прижимает к алой капле маленький перстень; встает с напряженным лицом – отнести письмо голубятнику.

Санче тоже случалось писать письма. Но никогда она не посмела бы написать: “Поспеши с отъездом. Мне без тебя невмочь” - рука онемела бы при одной только мысли. Не голубю – соколу впору нести такое послание. Не дону бы Карлосу – Сиду его получать.

Некая Алессандрина, расчетливая молодица худых кровей, венецианская лазутчица – как честила ее Долорес. Вот, значит, какова она, донна Алессандрина. Замирающее на каждом

слове сердце, истекающее любовью, страждущее и слепо дарящее собой человека слабого и недостойного, который...

Она вздрогнула, колени едва не подогнулись.

Дон Карлос утром упомянул, что, быть может, даст ей, Санче, поводы его осуждать...

Осуждать вольно всем, а судить дона Карлоса будет королевский суд – за измену короне и государям. Так говорила непреклонная Долорес, которая прочла другие голубиные письма. Неужто в них было иное? Быть может, влюбленная лазутчица просто выговорила себе право воспользоваться одним голубем, чтобы прислать это послание? Хотя... “Я писала бы и каждый день, будь у меня стая голубей. Но их осталось лишь два”. – не подтверждает ли это косвенно, что и другие письма – о том же самом, о том же.

Сколько может вместить маленькое женское сердце, доколе не надорвется, подобно сердцу несчастной донны Маргариты? Не иначе, дон Карлос рассказал ей об Алессандрине.

Привратник вернулся, Санча отдала ему послание, сказав, что оно само упало с голубя, и печать с него сколупнулась. Привратник недовольства не выказал, спрятал письмецо в поясную сумку.

Маркиз вернулся только на закате, усталый и невеселый. По дому старался ходить тихо, говорил мало и вполголоса, чтобы не беспокоить больную. Отужинал в одиночестве и удалился к себе в кабинет, о Санче и утреннем обещании как будто забыв.

Маргарита, казалось, дремала; легкая тень сонно трепетала на ее щеке. Санча оставила ее так, вышла в соседний покой посидеть с книгой.

Там ее и отыскал дон Карлос.

В кабинете все шкатулки и ларцы с бумагами были составлены со стола на пол – на голый пол: ковер исчез.

- Сеньора Санча, дела обстоят так, что завтра я уезжаю. Моему управляющему я оставил все распоряжения: донна Маргарет пробудет в моем доме столько, сколько ей будет угодно, и вы будете при ней столько, сколько ей потребуется. Управляющему я указал также ни в коем случае не стеснять вас в средствах, на что бы средства не шли...

- Дон Карлос, я сегодня, как вы сказали, пригласила доктора, и он посоветовал, как только будет возможно, перевезти донну Маргариту в другое место. Потому что с этим домом у нее связаны теперь печальные воспоминания о болезни.

- И не только о болезни... – мягко добавил маркиз, - если вы помните, я грозился дать вам поводы меня осуждать...

Он осекся. Вечерний дом наполнялся шумом и топотом, кто-то тяжелой скорой поступью приблизился к дверям кабинета, сотряс их тремя ударами и зычно затребовал:

- Именем Их высочеств, отворите!

Дон Карлос чуть нахмурился, и шагнул к двери.

Санча приросла к своему месту.

За дверьми стоял чадный треск факелов и поскрипывали на стражниках латы. А впереди замер коррехидор дон Ксавьер, держа на отлете полуразвернутую бумагу с печатью.

- Дон Карлос д'Агилар, маркиз Морелла, гранд Кастилии. По указу их Высочеств вы подвергаетесь аресту по обвинению в государственной измене, каковая заключается в сношениях с Венецианской республикой и покушении на убийство дона Кристобаля Колона с целью причинения ущерба коронам Кастильской и Арагонской. Предписано также изъятие всех бумаг ваших с целью дознания. Вас же приказано препроводить в узилище в оковах. Прошу у вас ваш меч и все ключи от всех замков и засовов, что есть в вашем доме.

- Что?

- Извольте. – Дон Ксавьер повернул указ и поднял повыше, чтобы арестованный без труда прочитал.

Его лицо, поначалу вспыхнувшее от изумления, посерело. Он шагнул назад, с бессильно опущенными руками и поникшей головой.

- Оружие, все что найдете – берите сами. На мне его нет. Ключи, - словно вслепую, он долго шарил в поясном кошеле, - вот. От всех дверей, какие отыщете. Прошу вас только не шуметь – в доме больной, и его это дело не ка...

- Что здесь случилось?! – Маргарет была в пелиссоне поверх ночной сорочки; подсвечник с оплывшей свечкой едва не падал из дрожащей руки.

- Донна Маргарита, вам нельзя вставать! Это недоразумение, идите немедленно ложитесь! – вскрикнула враз опомнившаяся Санча.

Было видно, как сорочка на груди Маргарет неровно вздрагивает слева, где сердце. На лице ее выступила испарина.

- Что... здесь... происходит? – уже с трудом повторила она, - Карлос?.. Что..?

- Маргарет... Это недоразумение. Кто-то возвел на меня напраслину, только и всего. В моей жизни такое случалось не раз. Успокойся, иди ложись...

Она выронила свечку, и схватилась за грудь. Глаза ее, и без того черные, залило тьмой несусветной боли. Губы подернуло синевой.

Карлос бросился возле нее на колени:

- Воды! Доктора! Кто-нибудь!

Она содрогалась, глотая воздух, и вдруг разом обмякла, уронив голову набок.

- Господи Иисусе! – перекрестился коррехидор, слишком часто видевший смерть, чтобы ошибиться, и снял каску.

- Маргарет? – Карлос понимал, но еще не верил, что тело женщины в его объятиях – действительно лишь тело женщины. Тело Прекрасной Маргарет, которой он однажды клялся, что будя она покинет землю раньше него – он последует за ней на тот свет и найдет ее там.

И какое теперь судьбе дело до того, что Маргарет он более не любил?

Санча зажимала рукой рот, чтобы не кричать. У косяка застыл слуга с кувшином ненужной воды.

Он медленно опустил ее на пол и закрыл ей глаза – веки еще хранили тепло, и ресницы, казалось, вот-вот вздрогнут под пальцами.

Рядом с коррехидором стоял наготове сержант с оковами – и Карлос бестрепетно протянул ему руки.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ,

В КОТОРЫЙ ДОННА ИСАБЕЛЬ БЕЗ ЛИШНЕЙ ОГЛАСКИ НАЧИНАЕТ СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ.

Вчерашнее неистовство дона Фернандо сменилось спокойной брезгливостью. Он выслушал доклад коррехидора об аресте и найденных бумагах, скривил губы на замечание, что бумаги, хотя и подозрительны, преступный умысел доказывают лишь косвенно.

Ему, дону Фернандо, было все ясно: изобиженный племянник решил перед своим бегством отомстить сюзеренам за опалу. Венецианка ли подала ему эту мысль, или сам додумался – не суть важно. Важно, что он сделал. А сделал он такое, что терпеть его после этого в живых дон Фернандо не может. И не станет.

- Нет, дон Ксавьер, допрашивать его лично мы не желаем - не стоит внушать ничтожеству мыслей о его значимости. В деле сыска и дознания мы полностью полагаемся на вас.

- Ваше высочество... Прошу на меня не гневаться – но задать этот вопрос я по долгу службы обязан. Если случится так, что дон Карлос откажется давать показания по доброй воле, дозволено ли мне будет допросить его с пристрастием?

- Поступайте, как вам велит долг службы поступать с государственным преступником.

Королева за все время доклада не проронила ни слова. Больше всех подробностей о бумагах ее поразила смерть Маргарет, и для себя она твердо решила, что позаботится о ее погребении. Похоронить ее, конечно же, надо рядом с сестрой, и поставить им общий

памятник... За мыслями о похоронах она едва не пропустила мимо ушей согласие дона Фернандо на допрос с пристрастием. И подумала, что дон Фернандо еще не остыл от гнева.

Вчера она просто жалела дона Карлоса, и в душе о нем плакала. Сегодня, после подробного доклада, она явно ощущала, что разнообразные доказательства его вины лишены некоего единства, как если бы являлись доказательствами совершенно разных преступлений, подсудных разным судам. Да и вины эти... Она, конечно, понимала, что время и несчастья меняют людей – однако есть вещи неизменные.

Богопротивный тайный брак в день похорон жены – вполне в его природе. Ничем не уступает похищению Маргарет. Разве что без обмана, на удивление без обмана: священник, свидетели, посол венецианский, нотариус, свидетельство, передача имущества супруге. Хм. Если он решил служить Венеции, разве не ему должна платить Венеция жалование? Или вознаграждение предполагалось позднее – в виде поместий, садов, виноградников?

И потом: для чего было венчаться, греша против благочестия? В Алессандрине, при всем ее бесстыдстве, довольно ума. Неужели она не дождалась бы его в Венеции без обручального кольца? Почему она дала согласие?

Их связь на виду у двора была чем-то похожа на давнюю игру в Гвиневеру и Ланселота. И как некогда Гвиневере-Изабелле, он предложил Гвиневере-Алессандрине свое сердце... потому что больше у него не осталось ничего – даже честолюбия. Алессандрина приняла дар. И пренебрегла благочестием. Как пренебрегла бы Изабелла не только что благочестием, но и живым супругом своим Фердинандом, если бы сочла возможным принять любовь и служение этого Ланселота.

Да, такой брак – вполне в его природе. Но только он.

Если она, Исабель, хоть что-то понимает в людях – человек, столь горделиво грешащий, не опустится до найма убийцы по указке торгашеской республики. Там, правда, был как будто посредник – но дела это не меняет. Где, к слову, тот посредник? - коррехидор о его поимке не докладывал.

Во всей этой истории с убийством воистину заключалась какая-то странность, что-то ускользающее, что роднило эту историю с женитьбой дона Карлоса на Элизабете вместо Маргарет. Здесь отсутствует посредник, но налицо убийца и его признание, а там куда-то подевался священник, заключавший брак – но налицо были супруга и свидетельство.

Так-так.

Свадьбу ту устраивала особа по имени Инес. Невольница, некогда Карлосом любимая, потом ему опостылевшая, а может, и хуже – мужчине трудно забыть о смерти сына.

Ее низвели в прислужницы, и злые маританские рабыни, прежде ей льстившие, должно быть, издевались над ней. Лица более доверенные, чем она, передавали ей от господина тайные поручения – и она носила письма его новым пассиям, выслеживала ни о чем не подозревающих женщин, словно гончая, чтобы потом он наслаждался ими, наконец, пыталась вызвать ревность в той же Маргарет, заигрывая с ее женихом Питером... О чем сама же Маргарет и рассказывала - уже со смехом.

Инес отомстила и исчезла... Или? Каков был из себя этот “тайный посредник”?

Необходимо переговорить с коррехидором. Как можно быстрее.

Можно было бы позвать помощниц, даже и в ночь. Смерть часа не назначает, а убирать покойную надо быстрее, пока члены не закоченели. Однако Санча решила все сделать сама: черные мысли томили ее, а в посмертной суете меньше думается.

Утро выдалось пасмурное; обряженная в жемчужно-серое платье Маргарет лежала белейшем виссоне покровов, точно окутанная пепельной дымкой: красота ее как будто испускала слабеющее с каждым часом сияние. При взгляде на нее Санча начинала тихо плакать, и усилием воли удерживалась от того, чтобы прикоснуться, погладить по волосам, припасть к руке.

“Как же ее теперь хоронить? Управляющего забрали, на все арест наложен, Господи...”

- Прошу простить, добрая женщина. Вы служили покойной?

Санча обернулась, с минуту смотрела на печально-любезную, средних лет незнакомку, а потом, задрожав, упала на колени и было хотела поцеловать той подол – но сильные мягкие руки удержали ее, заставили подняться.

- Как ваше имя?

- Санча Альварез, Ваше высочество... Я всего-то чуть более недели покойной служила... Полюбить ее успела... Не ведала, что хоронить буду.

- И я того не ведала, что снова ее увижу... На ложе смертном. А о погребении не беспокойтесь. Я позабочусь.

Исабель поднялась на ступени ложа, коснулась обвитых четками Маргаритиных руки и легко поцеловала покойницу в лоб.

- Да покоится она в мире, бедная душа. А вас, добрая Санча, мне хотелось бы кое о чем спросить, если позволите.

- К услугам Вашего высочества.

Они вышли в гостиную, бывшую еще в беспорядке после ночного обыска.

- Ваше высочество... Молю простить, угощения в доме нет... Только сласти, немного, если вам угодно...

- Благодарю, не нужно. Донна Санча, - печаль уходила из глаз королевы, взгляд ее стал пристален, едва ли не подозрителен, - скажите мне – случайно ли вы попали в этот дом?

- Не то, чтобы. Управляющий дона Карлоса с моим семейством в дальнем родстве.

- Понимаю. Я вас вот почему об этом спрашиваю – некоторые обстоятельства ареста дона Карлоса наводят на мысль, что был в доме человек коррехидора...

- Ваше высочество, я этот человек и есть. Только напрямую коррехидор меня не сговаривал, обратилась ко мне женщина от его имени, сеньора Долорес...

Королева слушала сбивчивый Санчин рассказ, все сильнее стискивая на коленях руки. Долорес... Имя – самая легкая из людских одежд, как известно.

- Значит, сеньора Долорес была знакома с той самой Инес, о которой даже я наслышана. Тесен же мир. А вы, стало быть, сами тех голубиных писем и прочих бумаг не читали?

- Грешна, Ваше Высочество... – Санча задышала прерывисто, слезно, письмо возникло в ее памяти, точно каленой иглой вожженое, - последнее прочла... Прямо в руки оно мне с голубя упало... И печать повреждена была.

- И?..

Санча не выдержала и зарыдала, сквозь рыдания бессвязно бормоча, что в письме ни слова про ковы нету...

- Добрая моя Санча, что вы плачете, как будто на вас вина какая лежит? Вы ведь свой долг выполняли, и вам это зачтется, как в этой жизни, так и за гробом. Чем больше вы припомните, тем более исполнится долг ваш передо мной и перед державой. В чистосердечии вашем я не сомневаюсь нимало.

- Да от жалости я, Ваше высочество, от жалости... Донну Маргариту мне жалко, Господи, и дона Карлоса... А после письма того и венецианку Алессандрину... Может, в других-то письмах ее про ковы и было, откуда мне знать, но для этого-то, любовного, не постеснялась она голубя испросить...

- Помогай вам Бог, Санча. – Королева поднялась с кресла, - не смею более вас расспрашивать. Сегодня же будет от меня человек, который устроит с вашей помощью донне Маргарите достойные похороны. Я же пробуду здесь еще некоторое время, ибо мне нужно с глазу на глаз переговорить с одним сеньором, имеющим влияние на ход дела.

- Помогай вам Бог, ваше Высочество. Благодарю вас за все сердечно, помогай вам Бог...

Теперь дождаться коррехидора... Донна Исабель потерла рукой лоб.

Ей придется выступить едва ли не обвинительницей, опираясь при этом исключительно на подозрения. Коррехидор провел сыск, как положено: завел в доме своего человека, все

разузнал, и взял преступника – в последний момент, в ночь перед бегством. Она же исключительно на основании – что уж там! – жалости к дону Карлосу – будет ставить его труд под сомнение.

“Сердце, что ли, с годами у меня размякло?”

Да не должно бы. По молодости ей случалось бывать скорой на расправу и жестокой; потом эта жестокость перешла в державную твердость... От познания себя ее отвлек дон Ксавьер.

- Целую руки Вашему высочеству.

- Присядьте, дон Ксавьер. Вы можете посмеяться надо мной, но некоторые обстоятельства этого дела не дают мне покоя. До такой степени, что я решилась отнять у вас ваш хлеб, и порасспросить немного прислугу донны Маргарет. Прислуга эта, достойнейшая и сердечнейшая женщина, в числе прочих обстоятельств упомянула мне об одной вашей помощнице – Долорес - без которой, как я понимаю, сыск вести было бы непросто.

- Долорес? Такой среди моих соглядатаев не значится... А-а! Если только она этим именем назвалась. Потому что на деле женщину, о которой идет речь, зовут иначе.

- Как же? – Ее высочество невинно улыбнулась, - надо бы наградить эту достойную сеньору за старания.

- Не стоит забот, ей за это немалые деньги уплачены. А зовут ее Инес.

- Инес? Дон Ксавьер, а не странно ли такое совпадение? В свое время была ведь возле дона Карлоса женщина с тем же именем. И на редкость дурную услугу она ему оказала.

Дон Ксавьер приподнял брови.

- Ваше высочество, простите мне мою дерзость, да только я лично за полсотни Инес помню, от герцогини до нищенки. Ту историю я знаю. Та женщина дону Карлосу мстила. И удалась ее месть отменно. Поэтому не я думаю, чтобы она взялась за старое. И потом – после того, что она сделала, ей к дону Карлосу на день пути приближаться нельзя – не то, что в том же городе под тем же именем жить.

- Вы же сами говорите – Инес – имя частое. Мало ли в городе Инес?

- Частое. Но ту Инес, что у меня на жаловании, мне надежный человек представил. Так что голову даю на отсечение – не она это.

- А зачем бы ей тогда называться Санче другим именем?

- Не знаю. Может как раз для того, чтобы лишних сопоставлений избежать. Что же ей делать, если ей такое имя дадено?

- Ваша правда, дон Ксавьер. У меня еще только один вопрос: убийцу не сам дон Карлос нанял, а посредник. И у посредника был со собой гербовый перстень дома Агилар. Посредника этого вы искали?

- Хосеф с ним так договорился, что как дело сделано будет, посредник его сам найдет. А теперь где ж? Разве что по приметам его выслеживать?

- А вознаграждение сеньоре Инес уже заплачено?

- Утром рано отправили ей кошель с посыльным.

- Хорошо. Посмотрим, что дон Карлос покажет на допросе.

Тень узилища омрачила его юность. Страх за его жизнь до времени свел в могилу его мать. Множество раз, готовясь к худшему, он воображал себе - ночь, угрюмые лица стражей, блеск оков и обвинение - “заговор”, “измена”.

Так ведь и вышло – но чтобы вот так?

Кто мог так его оболгать? Зачем? Разве его не сбросили со всех счетов?

Словно во сне. Нет, как в бреду. Ему хотелось до крови расшибить себе лоб о волглые камни, чтобы наконец очнуться. Ноги казались чугунными: он брезговал присесть на прелую, поеденную крысами солому, так с ночи и кружил по узилищу, позванивая цепью оков. Руками лучше было не шевелить: при любом движении шершавое железо натирало запястья. Он пытался подтянуть пониже рукава – тщетно, они выскальзывали.

Отекшие ноги... Озноб... Тянущее руки железо...

Вот все, о чем думалось. Ни одной мысли о том, как выбраться, выпутаться.

В какой-то миг его замутило от усталости; он привалился к стене, в забытьи сполз по ней на солому.

К самым глазам подступила мягко колеблющаяся темнота, качнула, унесла ненадолго в небытие, а когда отхлынула, сознание стало ясным. Болезненно ясным.

Он понял, что могло стать поводом для доноса – и даже предполагал, кто оказался доносчиком: один из тех двух нотариусов, что засвидетельствовали брачный договор и сделки по продаже земель. Почему – десятое дело. Зависть, излишняя верноподданническая мнительность, некогда обесчещенная родственница. Таким образом, доказательства его вины весьма косвенны. Дон Кристобаль? Его, верно, просто приплели. Непонятно одно: почему коррехидор? хотя почему коррехидор? Надо смотреть выше. Почему королева оказалась столь пристрастна? Хотя... Ему ли не знать, как быстро в этом городе расходятся слухи. Он не таил, кто гостит у него в доме.

А, значит, ревность. И это скверно: при обыске найдут письма Алессандрины, и Ее высочество озлится вконец.

Господи, как скверно.

Ему слишком хорошо была ведома цена королевского правосудия.

Уж если дон Фернандо дал согласие на арест, значит, Ее высочество пригрозила чем-то очень серьезным, может статься, и разрывом унии.

Проклятая ведьма Исабель де Трастмарра, Твое высочество, гори ты в аду!

Он скрипнул зубами. Надо настоять на том, что отвечать он будет только Их высочествам. Только и исключительно. Коррехидор может хоть изойти на крик – если, конечно, осмелится возвысить на него, Карлоса, голос.

А уж Их высочествам придется признаться в тайном браке и в намерении уехать. Покаяться. Возможно, испросить сурового наказания. Ревнивым женщинам за честь смотреть на страдания неверных возлюбленных. Дай Бог, Ее высочество смягчится. Дай Бог. Дай Бог.

Ему надо спасти себя для Алессандрины.

Впервые за много дней он от души помолился, уже безо всякой брезгливости преклонив колена на мокрый пол, и не замечая, как ломит усталые ноги от сырого холода.

Хотя и нотариусы, и священник подтвердили, что посол венецианский мессер Федерико Мочениго присутствовал на тайном бракосочетании, коррехидор явился к нему не без внутренней дрожи.

Вопросы свои к послу он составил таким образом и расположил в таком порядке, чтобы на возможные ответы как можно менее влияла вероятная осведомленность посла об аресте дона Карлоса. Уяснить ему надо было подлинную суть связи между доном Карлосом и Алессандриной – для того, чтобы сподручнее было вести допрос.

Мессер Федерико принял его с видимым благодушием, велел подать вина и к нему закусок. Благодушие его не исчезло, даже когда после всевозможных вежливых оговорок и предварительных извинений был задан первый вопрос:

- Подтверждаете ли вы, дон Федерико, факт бракосочетания между доном Карлосом, маркизом Морелла, и племянницей вашей донной Алессандриной Адзанте д’Эльяно?

- С известным прискорбием, проистекающим из обстоятельств, при каковых брак был заключен – подтверждаю.

- Дон Федерико... Вы, как человек благочестивый, да к тому же лицо государственное, то есть себе не принадлежащее, понимаете, что такой брак противен законам божьим и людским. Как вы можете видеть, в большом городе такого дела не сохранить в тайне. Об этом браке стало известно персонам весьма высокопоставленным. Брак этот вызвал у них сильнейшее изумление и... подозрения. Мне было поручено негласным порядком выяснить обстоятельства заключения этого брака. И причины его, если угодно.

Сиятельный посол неожиданно ухмыльнулся.

- Причина главная такова, что племянница моя – особа весьма пылкая. Свиделись мы с ней впервые, так что нрав ее был мне известен мало. По переписке представлялась она мне девицей разумной и ученой. Таковой, в общем, она и является – ежели не влюблена. То есть, конечно, она не сама дону Карлосу в жены навязалась: любовь любовью, а положение у них несравнимое.

Дон Ксавьер бровями изобразил удивление.

- Мона Алессандрина, хоть и зовется для простоты моей племянницей, родня мне весьма отдаленная. Род ее, Адзанте – хоть и старинный, но – захудалый. Возраст ее таков, что в каждом встречном жених мерещится. А тут еще и обстоятельства... как в балладе какой.

- А дона Карлоса что на брак сподвигло, как думаете?

- Это уж, дон Ксавьер, у него надо спрашивать. Я с доном Карлосом не накоротке, чтобы о его поступках судить. Думается мне только, что и его страсть захлестнула. Он за год в шутах исстрадался, а тут появляется девица, которая видит в нем, если угодно, мученика Судьбы. Он и поддался, и голову потерял от любви и благодарности.

- И все имущество он ей тоже отписал из благодарности?

Посол ухмыльнулся снова - снисходительно:

- Ну ежели обезумел человек, за себя не отвечает? Он же ее чуть ли не на третий день после знакомства принялся золотом осыпать – весь город об этом говорил.

- Дон Федерико, попрошу мой вопрос не счесть за упрек... Но для чести вашей племянницы подобное было губительным. Почему вы, ее родственник, этого не пресекли? Ибо вы сами только что сказали, что любовь – любовью, но положение у них несравнимое.

- Именно потому и не пресек, что в амурных грешках девицы Адзанте, которая мне весьма дальняя родня, большого вреда нет. А вот от гнева дона Карлоса, откажи она ему во взаимности, ущерб и убыток мог бы выйти немалый – мне и через меня отчизне моей Венеции. Вы вот ведь сами говорили: мы, государственные служащие, себе не принадлежим. Правило сие по несчастью распространяется и на семьи наши. Чему примером – хотя бы история иудейки Ла Фермозы и его величества короля Альфонсо.

Голос посла менялся от шепота к рокоту, расписывая все эти не слишком благочестивые резоны, но дону Ксавьеру куда больше сказали выпуклые серые глаза в тяжелых веках, непроницаемые, как камень. Первое: посол был готов продать свою “племянницу” - и без зазрения совести продал, обиняками от нее открестившись. Второе: ее прислали к нему с самых верхов Венецианской республики едва ли не против его воли – и не в подчинение. Прислали с поручением, пути к исполнению коего найти должна была она сама, и наградой за удачу был титул, о котором посол не упомянул, потому что мог и не знать.

В чем заключалось то первое поручение? Ведь попытка убийства есть уже только его следствие. Стало быть, она узнала о доне Кристобале нечто, сделавшее того опасным для Венеции. Впрочем, это сейчас не столь важно.

Человек от Ее высочества и впрямь не замедлил явиться. Однако распоряжения по похоронам заняли у него не более четверти часа; еще он спросил, где проживает сеньора Долорес. Засим откланялся.

Дон Фернандо желал чтобы суд состоялся скоро и без огласки. По его мнению, дон Карлос довольно позорил королевский род, чтоб еще и трубить о его измене на всех площадях. Донна Исабель поддержала его в этом решении.

Неважно, сколько будет судей, важно, чтоб на суде этом была ловкая коррехидорская помощница по имени Инес - а уж дальше лицо подсудимого окажется красноречивей любых оправдательных речей.

Однако соседи сеньоры Инес сообщили королевскому посланцу, что она отбыла в паломничество к святому Иакову Компостельскому согласно давнему обету, благо теперь у нее нашлись на это средства.

Посланник погнал коня к северным воротам, потом по тракту, по пути терзая расспросами всех корчмарей, однако никто не видел молодой паломницы. Всяко бывает. Могли и не заметить. Мало ли паломниц и паломников проходит по этой дороге. Или, может, она выбрала путь неторный, проселочный, ведущий от одной сельской церкви к другой…

А то и вовсе не в паломничество направилась.

Хотя дон Ксавьер получил от Их высочеств разрешение подвергнуть узника допросу с пристрастием, и при этом не испытывал к дону Карлосу ни малейшей жалости, чутье – и пуще того утренний разговор с королевой - подсказывали ему, что лучше бы обойтись без дыбы.

А для этого дона Карлоса надо изрядно напугать.

В пугала годился Хосеф, который второй день лежал после пыток пластом.

Еще коррехидор уповал на ледяную непреклонность, которую он умел выказывать лицом и голосом. И на упреждающие выпады в словесном фехтовании.

Ноги в намокших чулках ныли уже нестерпимо, по временам пробирала дрожь. Бездействие угнетало. И вот наконец-то в дверях заскрипел ключ, и на пол лег неровный отсвет факела.

Его повели сразу вниз… Колени ослабели, пришлось усилием воли отогнать страх, однако мрачные намеки мерещились в каждой тени, в каждой трещине, в каждом сыром потеке.

Внизу, в пыточной, было красно и веяло тем особым жидким жаром, сквозь который все равно ощутима тюремная стынь. Сосредоточенно дышали мехи. Подручные палача чем-то побрякивали.

- Дон Карлос. Уведомляю вас, что Их высочества дали мне разрешение допросить вас с пристрастием, если возникнет надобность. Также, предвидя ваше требование держать ответ только и исключительно перед Их высочествами, уведомляю вас, что Их высочества к таковому вашему требованию прислушиваться не намерены, и вести все допросы поручили мне.

Это коррехидор сообщил стоя, потом сел. И кивнул секретарю.

- Дон Карлос, с обвинением вы знакомы. В вину вам вменяются сношения с Венецией и покушение на убийство дона Кристобаля Колона, каковое вы пытались устроить, наняв через некоего неизвестного человека убийцу. Всему этому, как вы понимаете, есть неопровержимые доказательства. Посему прошу вас самолично рассказать, когда и через кого вы с Венецией снеслись, кто поручил вам убить дона Кристобаля, кого вы для этого наняли и за какие деньги?

- Дон коррехидор... Сношения мои с Венецией выражаются лишь в моей любви к венецианской жительнице Алессандрине Адзанте, что гостила здесь в городе по зиме – более ни в чем. Понимаю, что история эта представляется вам невероятной, но я готов на распятии клясться, что это так. Готов я также перед вами и перед Их высочествами виниться в том, что под влиянием этой любви наделал немало глупостей, например, задумал тайно уехать. А перед церковью нашей каяться, что обвенчался с возлюбленной, в то время как супругу мою донну Элизабету еще не предали земле. Что же касается дона Кристобаля, то никогда у меня и в мыслях не было причинять ему хоть какой-то вред, тем паче – лишать жизни. Напротив, при иных обстоятельствах я бы его замыслам только споспешествовал. И поскольку это второе обвинение я полагаю следствием чьего-то навета, то прошу очной ставки с теми, кто посмел меня обвинить.

Его спокойствие удивляло. Строй речи, впрочем, подсказывал, что сутки в узилище не прошли даром - каждое слово было взвешено и выверено - не понять, говорил он всю правду или искусно недоговаривал.

- Вскорости я исполню вашу просьбу. - Коррехидор покачал головой, изображая невольную участливость. - Дон Карлос… Хотя доказательства выглядят неопровержимыми, и вы и я понимаем, что во всяком деле возможны ошибки и роковые совпадения. Потому до очной ставки давайте спокойно побеседуем о благородной донне Алессандрине Адзанте - тем более что предмет этот вам очевидно будет приятен и отвлечет вас от мрачных подозрений. Где и как вы с ней познакомились?

- Покойная супруга моя, донна Элизабета, пригласила ее в наш дом. Знакомство наше произошло случайно: в то время меня не должно было быть в городе, я собирался в паломничество, однако с полпути вернулся.

- Почему же?

- К стыду своему, должен сказать, что здоровье мое оказалось куда более слабым, чем я полагал. Один день путешествия верхом довел меня до таких мучительных головных болей, что пришлось возвращаться, да еще делая привалы каждые два-три часа.

- Вот как… Действительно, случайность. Скажите, дон Карлос, а по какому поводу собирала тогда гостей донна Элизабета?

Арестованный медленно прикрыл глаза.

Грифельная доска и очертания карты. Он тогда остолбенел от ее дерзости. Так смело и так просто заполучить карту генуэзца…

Но пусть даже он, Карлос, прикинется сейчас, что забыл об этом - про Алессандрину наверняка вспомнил мореход.

- Тогда был приглашен дон Кристобаль, чтобы рассказать гостьям о новом пути в Индии.

- Понимаю. Однако в свете нашего дела это я уже не склонен считать случайностью. Делала ли донна Алессандрина какие-то записи или пометки?

- Не знаю. Ведь я вошел в гостиную залу, когда речь дона Кристобаля была уже почти что завершена. Кажется, при ней была грифельная доска… Впрочем, не помню. Я куда лучше помню ее глаза. И ее голос…

- Вы говорили о с ней о доне Кристобале?

- Нет, разговор шел совершенно о другом. Кажется, о государственном устройстве Венеции, опять же, не вспомню наверное.

- А в последующие дни?

- Нет, ни разу. Дон коррехидор, я, как вам известно, человек пылкий и влюбчивый. В донне Алессандрине я нашел ответные чувства. До генуэзца ли нам было? Она исцеляла мои сердечные раны… А я ничего не мог дать ей взамен, кроме своего сердца.

- И вашего имущества, не так ли?

- Если угодно, да. Я отдал ей все, что имел, дон коррехидор.

- Ваше бескорыстие поистине восхитительно. Равно как и ваше хладнокровие, дон Карлос.

Дон Ксавьер прищурился.

- Приведите Хосефа.

- Вы хотели сказать, принесите, дон Ксавьер? Он же… - удивился старший стражи.

- Вы не ослышались. Приведите.

Его будут, понятно, не вести, а волочь. Изломанного, в сбившихся повязках, беспрерывно стонущего и поминающего матерь Божию. Что отразит при виде его надменное лицо королевского племянника?

Пока что Карлос молчал, бесстрастно прикрыв глаза. Но легкая сутулость выдавала, как он устал за эти тюремные сутки. Эта усталость коррехидору только на руку.

Цепи Хосефа со звенящим шорохом волочились по камням. Он даже не стонал - скулил, и не в силах был поднять голову: одному из палачей пришлось взять его за липкий от кровавой слюны подбородок.

Как и ожидал коррехидор, Карлос вздрогнул. Но на его лице читались только узнавание и сострадание.

- Это один из моих бывших слуг, дон Ксавьер. Его имя - Хосеф. Он мотрилец. И был отпущен мною со службы примерно с месяц назад с выплатой полугодового жалования.

- По его утверждению, вы наняли его снова. Не на явную службу, а на тайную. И ваш доверенный человек, нам пока неизвестный, подтвердил сие передачей присутствующему здесь Хосефу вот этого кольца. - Коррехидор со стуком выложил перстень на стол. - Признаете ли вы, дон Карлос, что самые доверенные ваши слуги носили такие кольца?

Узник не ответил. Он хмурился, даже сделал движение рукой, словно хотел потереть лоб, но цепи не пустили.

- Дон Карлос, признаете ли вы, что самые доверенные ваши люди были удостоены чести носить такие украшения?

- Эти кольца были знаком отличия. Дон Ксавьер, вы на этом строите доказательства обвинения? Большая часть моих людей отпущена, перстней я у них не отбирал, возможно, кем-то кому-то они были проданы, и кто-то…

- Хосеф! Повтори, как выглядел тот, кто нанял тебя за восемьдесят кастельяно лишить жизни дона Кристобаля?

Прежде слов у Хосефа вырвался длинный всхлип.

- Мориск… Скопец будто… Или какой порченый. Бороды ни волоса не растет… Говорит тонко…

- А вы, дон Карлос, потрудитесь, будьте любезны, припомнить его имя и где он может обретаться?

Вспомнить? У него не было таких слуг. У него была только прислужница по имени Инес, но ей надо быть безумной, чтобы продолжать мщение. И - колдуньей, чтобы перевоплотиться в мориска, пусть даже и безбородого.

Мориск.

Колдовство.

Давнее восковое подобие, чья сила иссякла.

Нынешний навет.

Быть может, она обратилась к тому же самому человеку. Или к его ученикам.

Все сходится. Все сходится над его головой разящим клинком секиры.

Вместе с ним она убивает свою память о давней трусости.

И одновременно походя подсобляет своему любезному генуэзцу.

Из косо повисшей руки Хосефа торчал острый розоватый обломок кости. Как все-таки тонки людские кости…

Как тонки…

Как хрупок человек - и если бы волей Господней.

А то ведь людским же произволом.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ,

В КОТОРЫЙ ДОН ФЕРНАНДО ПРОЯВЛЯЕТ БЫЛО НЕПРЕКЛОННОСТЬ – НО ДЕЛО ОБ ИЗМЕНЕ ПОЛУЧАЕТ РАЗРЕШЕНИЕ, КОТОРОГО ЕГО ВЫСОЧЕСТВО НИКАК НЕ МОГ ПРЕДПОЛАГАТЬ.

Полное признание было перебелено и подписано. С узника волос не упал.

Однако дону Ксавьеру было не по себе - и чем ближе утро, тем сильнее он волновался. Перед рассветом его уже попросту била дрожь. В другое время он выпил бы вина. Но после заутрени предстояло идти к Их высочествам.

Поэтому привычный к размышлениям коррехидор приступил к сыску в собственной голове.

Причин для неприятного волнения он нашел три:

Сомнения Ее высочества в честности Инес.

Легкость, с какой были добыты доказательства - и известная их косвенность.

Вчерашнее поведение дона Карлоса.

Последнее тревожило дона Ксавьера более всего. Не то, чтобы узник потерял самообладание, нет. В человеке, который стоял перед коррехидором, чуть сутулясь и неподвижно опустив скованные руки, словно бы что-то замерло. И когда раздался его голос, показалось, будто говорит не он, но некто, владеющий его гортанью, языком и губами.

Он чуть запнулся только на имени доверенного мориска-посредника - как будто на миг усовестился его выдавать. Да помедлил, прежде чем показать условную строку в первом письме Алессандрины - верно, по той же причине.

Можно было бы подумать, что он попросту убоялся пытки и покорился - но в мерности его речи была какая-то вышняя обреченность: словно бы он по размышлении над своими поступками вынес сам себе вердикт, и его огласил, а доказательства его вины и признания Хосефа были тут вовсе ни при чем.

Что же до Инес, то не нынче же будут судить изменника - а до того времени, да хоть сегодня, он может задержать ее и устроить в доме у нее обыск. Но ее имя все же казалось ему лучшим и надежнейшим доказательством: нет, она не могла быть той Инес. Никак не могла. Не могла.

Он поймал себя на этом самоубеждении и невесело усмехнулся.

Доклад Их высочества выслушали молча.

- Стало быть, даже стращать моего племянника не пришлось… - задумчиво заметил дон Фернандо.

- Все ведь против него, Ваше высочество, сложилось. Не отпереться. Да и потом, не ожидал он того, что вы его с пристрастием допрашивать позволите. Одно дело - принять страдания от клинка, другое - от клещей.

Донна Исабель все это время улыбалась с непроницаемой любезностью, но в глазах у нее стояли льдинки. И холод королевского взгляда так выстудил неспокойную душу дона Ксавьера, что, когда Его высочество удалился, а донна Исабель попросила коррехидора задержаться для беседы - он остался стоять ни жив, ни мертв.

- Дон Ксавьер, помните ли вы наш разговор о помощнице вашей Инес?

- Да, Ваше высочество.

- Вы не развеяли тогда моих сомнений. И вчера поутру я послала за ней. Однако Инес, видите ли, отправилась в паломничество к Сант-Яго-де-Компостелла. Я, разумеется, понимаю, что это может быть чистым совпадением. Но просила бы вас помочь в ее розыске. Ибо, повторяю, у меня остались сильнейшие сомнения в ее честности.

- Ваше высочество, все мои люди к вашим услугам.

- И вот еще что - до суда, а он состоится в ближайшие дни, ибо в деле как будто не осталось неясностей, я прошу вас предоставить мне для личного изучения все изъятые документы. И провести обыск в доме у Инес также не помешает.

Отпустив коррехидора, она отправилась к супругу.

- Ты слышала, его и стращать не пришлось? - Дон Фернандо, кажется, был этим поражен. - На первом допросе в пыточной, как тебе известно, только одежду с плеч обрывают и к козлам привязывают, еще не бьют. А его даже стращать не пришлось.

- И что с того, дон Фернандо?

- А то, что сегодня вечером вердикт напишем… А завтра поутру обезглавить его прямо в башне.

Она едва удержалась на ногах.

- Дон Фернандо, он же не бунтовщик деревенский…

- Когда ты, донна Исабель, кастильских дворян смиряла, то они частенько на собственных воротах болтались. А род иные от Сида вели, да от иберийских графов. Так-то. Сама подумай - изменник он. Уже одно его намерение уехать тайно - измена. Нет разве? Он -

опора трона. Что будет, если из-под тронного кресла ножка выскочит? Нет уж. Не жить ему после такого. Королевское слово - не жить.

Донна Исабель хотела сказать что, возможно, Карлос еще испросил бы разрешения на отъезд - и таковое, скорее всего, ему дали бы - ведь ни уважением, ни влиянием он более в королевстве не пользовался. Но при последних словах короля она словно потеряла дар речи. Дон Фернандо уже давно все для себя решил. И переубедить его никто не был в силах.

Разве что найдут наконец Инес - она была уверена - ту самую Инес. Или отыщется что-то в документах, которые обещал ей прислать коррехидор.

Некоторые глупцы перед бегством продают имущество.

А иные мстительные дуры непременно хотят лицезреть гибель своих врагов.

Она не такова.

Она уходит, потому что наконец-то хочет заново начать свою жизнь. Возможно ей – как знать – еще суждена семья и тихая радость отдохновения. Нет, любви к мужчине не будет. Ибо ее нет в природе: есть лишь горение плоти, воспаляющее разум. Но будут дети. Она тосковала по детским глазам и лепету: только в детях еще и живет любовь.

И как можно было искать ее в том вельможном хищнике, что некогда небрежно вложил в руку инквизитора кошелек, и увез ее на крупе своего коня?

Все оттого, что она досыта начиталась рыцарских повестей. И Боже, кем он только ей не представлялся, пока она ждала его, которая время опять же за книжками.

Потом она перестала носить крови, подурнела и до слез обижала служанок - он только посмеивался, припадая к ее отяжелевшей груди, целуя в затылок. Это было лучше, чем в любой из книг. Он к тому времени уже никем ей не виделся, кроме как мужем и господином. Он был все. Дом вместе с нею жил его дыханием, звуком его поступи, его голосом. Время остановилось: ход его угадывался лишь по участившимся толчкам в ее чреве - а потом сын родился, и со дня его рождения время стало подчинено его режущимся зубкам, растущим волосенкам, первым шагам, лепету, очень скоро сложившемуся в слова.

Карлос присаживался на резную скамеечку, закидывая за спину долгие вырезные рукава, и с тихой улыбкой следил за игрой, которую Инес и его сын затевали на многоцветьи ковра.

Кто как не она смотрела за каждым сыновним шагом? Кто как не она поутру проверяла, не слишком ли студен воздух, не ветрено, не сыро ли в саду? Кто как не она металась по лучшим лекарям Гранады, но никто не мог определить, отчего угасает мальчик, который еще вчера резвился и радовался, и которому на именины отец хотел уже подарить жеребенка и породистого щенка, а вскоре после того - приставить опытного оруженосца…

Ее ли это была вина?

Почему тогда у гроба, когда она упала к нему на грудь, он холодно и твердо отстранил ее, как чужую, и ушел.

Она не устояла тогда на ногах. На ледяном мозаичном полу, в глухих бесслезных рыданиях, зародилась ее ненависть к Карлосу. В иные дни при виде его она, Инес, едва не умирала от этой ненависти, и не умела облегчить терзаний. Чтобы наконец-то овладеть собой, ей пришлось обречь его на смерть.

И вот теперь она думает о нем, и жар не опаляет ее щек, и с языка не срываются проклятия.

Да.

Благородный рыцарь, властелин ее души и тела, жестокосердный распутник. Он позволял ей видеть в нем того, кого ей хотелось. Не разубеждал ее, не объяснялся, не оправдывался. Не открывался.

А если б?

Почему ни в лучшие, ни в худшие времена ей не пришло в голову завести с ним задушевного разговора?

Погруженная в мысли, она шла, не разбирая дороги.

Его женщины - не любовницы-однодневки, а те, кому он как бы то ни было отдал сердце... Первой была она, Инес. Она была хороша собой, беспомощна и несчастна. Второй стала Маргарет - она была прекрасна и добродетельна. Третья - Алессандрина.

Алессандрина, которой претило воображать, что он делает и каков он - потому что за считанные дни она успела узнать его лучше, чем Инес - за годы.

Инес почувствовала это, едва пробежав письма глазами. Но поняла до конца только сейчас, на второй день путешествия в новую, как ей думалось, жизнь. Потому что сейчас и она - не воображала, не представляла - а лишь размышляла о жизни, что осталась за спиной.

“Ох книги, книги…”

Понял ли Карлос, какой Инес была книжной пиявицей? Не потому ли избегал открывать ей душу - боялся, что сокровенные его чаяния она перетолмачит на возвышенный лад? Получается, он питал ее грезы, быть может, и сам отчасти им предаваясь. Но смерть сына их разметала. И вместо “спасенной дамы” или “нежной подруги” он увидел… Кого он увидел?

Вот Алессандрина умеет смотреть на себя его глазами. Ну, Инес, попытайся и ты. Поверни взгляд внутрь себя. Ты, которая обязана ему жизнью - какой он тебя увидел над гробом вашего сына?

Он увидел женщину, которая никогда его не любила.

Мысль пришла словно бы со стороны.

Он увидел женщину, которая никогда не любила его - а только эту пресловутую грезу о рыцаре, властелине…

А он не мог более быть ни ее рыцарем, ни ее властелином. Потому что с ней - не избыть горя, не найти утешения, не облегчить душу.

А дальше… А что дальше? Разве ей было куда идти?

Вот он и позволил ей остаться при себе.

А куда ей идти сейчас? Ведь тот новый мужчина, кого она найдет и женит на себе - его она точно также не будет любить, но только уже и грезить не будет.

Она тихо села на придорожный камень.

Ей часто приходилось слышать о том, что месть опустошает. Когда год назад после “подменной свадьбы” она ощутила, что ненависти ни на йоту не убыло - она решила, что отмщение не завершено. А ныне ею владело горестное удивление - почему она познала себя только сейчас, так поздно? И почему ради этого Господь попустил ее обречь на смерть ее спасителя?

Господи, почему?

Хотя первый раз он видел ее вблизи десять лет назад, и тогда она не подымала вуали, он не мог не узнать ее по осанке.

Но теперь она откинула вуаль - и давняя догадка подтвердилась.

С усилием, едва сдержав кряхтение, он склонился к ее ногам.

- Сеньор, подымитесь. Ваша старость взывает к почтению большему, чем заслуживаю я.

Она легко опустилась в кресло.

- Как и десять лет назад, я пришла к вам за помощью. Могу даже сказать, что дело касается того же самого человека - только совершенно иным образом. Теперь мне нужно спасти его жизнь, ибо на него возведены ложные обвинения и ему грозит отсечение головы. Я поделюсь с вами одной мыслью, а вы скажете мне, возможно ли это. Надеюсь, что все же возможно…

- И я надеюсь. Ваше разочарование разобьет мое сердце, о владычица.

“А мое уже почти разбито”.

Она не успела проглядеть приобщенные к делу документы - ими завладели дон Фернандо и законники, призванные составить вердикт – король счел доказательства вины столь бесспорными, что решил судить племянника не то, что келейно – заочно. Упрекнуть коррехидора у нее не хватило совести - он и так горбился под бременем ее внезапного неблаговоления, и наверняка уже помышлял об отставке. В то, что найдут Инес, уже едва верилось. Время уходило.

Поэтому она решилась обратиться к тому же самому человеку, что изготовил ей восковое подобие - хотя бы за советом: он знает всех тайных мастеров города, если что, подскажет, к чьей помощи прибегать.

И не ошиблась.

Время шло однородным прозрачным потоком, не ускоряясь, не замедляясь, не разделяясь на промежутки. Этот поток нес с места на место людей, и уносил их за пределы мира, в одних местах намывал города, в других - смывал прочь, оставляя руины. Рано или поздно в этом потоке поплывут каравеллы дона Кристобаля, и достигнут вожделенных Индий - время одно на всех, оно не ветвится на рукава.

Но его смерть - безвременна.

Он невольно подивился пришедшей в голову игре слов.

Ну да, он словно бы на берегу. Ход времени более не имеет к нему отношения. Ничто не имеет к нему отношения.

Даже его собственное прошлое.

Даже Алессандрина.

Потому что вчера он отступился от себя и от нее. Не предал, не оговорил - отступился. Не хватило сил противоборствовать судьбе, как прежде. В один миг ему стала ясна тщета всех оправданий перед королевским кривосудием. И в этой тщете показалось бессмысленным претерпевать муки - за что? За собственное доброе имя? Стоит ли оно того? И он позволил им считать ее той, кем они ее считали – лазутчицей. А себя – ее послушным орудием.

И впрямь, за этот год он разучился отличать добро от зла. Похищая Маргарет, он знал, что этот великий грех он искупит великой любовью, которая - он верил всей душой - не останется безответной… Так ведь и случилось. Только вот он был уже не тот.

Двусмысленно обхаживая Алессандрину, дразня ее поначалу подарками, учиняя с ней у всех на виду дерзейшую шутовскую «Игру о великой любви», он все не мог осознать, что на самом деле ее любит - до такой степени он разуверился в себе.

Когда же осознал? В ту единственную их ночь? Перед алтарем? Целуя ее на сходнях каравеллы? Оставшись наедине с купчими и золотом? Наедине с Маргарет?

Или вовсе только сейчас?

Ибо сейчас он терзается не своей - ее тоской. Его гнетет ее одиночество. Он думает о том, каково будет ей после его смерти, и от этих мыслей хочется плакать - да только последние слезы он пролил над гробом матери, в той самой часовне, где Алессандрина открылась ему с той же спокойной смелостью, с какой срисовывала карту злополучного дона Кристобаля.

Для нее, далекой, он еще свободен и благополучен - до тех пор, пока по незримому течению времени не приплывет весть о его смерти, верно, скорой. Донесут ли ей также о его слабоволии? Достигнут ли ее слуха вести о Маргарет?

“…Я смотрю твоими глазами…”

Он попытался взглянуть ее глазами. Вернее, услышать ее ушами о своей смерти и своем отступничестве.

И испугался за ее сердце размером не больше кулака.

“Господи, не наказывай ее долгой памятью и черной скорбью. Пусть печаль ее будет светла, и незаметно иссякнет в сиянии новой любви. И пусть тот, кто полюбит ее, вовек от нее не отступится”.

После вечерни ему сообщили вердикт - казнь через отсечение головы - завтра, на рассвете, в стенах тюремного замка, и спросили о последнем желании. Он высказал его, и стражи досадливо крякнули: приедтся тащить в узилище табурет и пюпитр. Он показал взглядом на свои скованные руки, и начальник стражи кивком разрешил отомкнуть цепи.

Дверь лязгнула, он был наедине с белой, наспех нарезанной бумагой, непочатой свечой, огнивом, полной чернильницей и полудюжиной очиненных перьев. И с мыслью о том, что если даже вовсе не будет слов, ему придется выдумать их наново - ради того, дабы печаль ее была светла и… далека, дабы никогда больше она не ступала на кастильскую землю.

“Друг мой Алессандрина!..”

Подумав с полчаса над этой строкой, он понял, что признать себя отступником не проще, чем выдержать пытку. И разве у него есть право обращаться к ней “друг мой”, “душа моя”, “радость моя”, “свет мой” - если он отступился от ее дружбы, души, радости и света?

“Алессандрина, храбрейшая изо всех женщин…”. Куртуазно и отчаянно глупо.

“Моя благородная супруга!..” – нет.

“Жена моя…”

Это все, чем она для него еще остается.

“Когда ты прочтешь эти строки, меня уже не будет в живых. Завтра на рассвете меня казнят за измену королям и Отечеству. Всю жизнь мою я опасался оговора и облыжных обвинений - и вот неизвестные недруги меня оговорили и обвинили облыжно перед Их высочествами, да еще подстрои…”

Нет, только не жаловаться.

Но если написать, что обвинение напрямую связано с их и браком – она будет терзаться чувством вины.

“ …за измену королям и Отечеству. Сам я свои деяния изменой не считаю…»

Ей наверняка станет известно обвинение. Лучше подробнее:

“…Отечеству. Известного тебе дона Кристобаля недавно пытались убить, и Бог весть по какой причине убийца под пыткой назвал мое имя. Сыскались и другие доказательства, косвенные, но столь множественные, что они не оставили мне надежды...»

Словно он и впрямь виновен!..

Когда стемнело, он впал в отчаяние. Что бы он ни писал, письмо делало его лжецом – и ложь эта была не во спасение.

Он попросил исповедника. Возможно, после исповеди он найдет нужные слова.

Исповедать его пришел незнакомый ему ранее рослый патер, отец Хуго. Патер казался рассеянным, но лишь казался: стоило смертнику заговорить, как глаза исповедника под сухой седой челкой словно бы распахнулись внутрь. Будто он вбирал смятенные слова трепещущими кромками век. Про невиновность и вину, про Маргарет, про неподдающееся перу письмо.

- Стало быть, сын мой, не только королевский суд, но и вы сами себя приговорили; и ваш собственный вердикт вы считаете справедливым?

Карлос опустил голову в медленном кивке.

- Да пошлет вам Господь мужества.

Отец Хуго причастил его.

Кровь Христова необычно горчила.

Теперь можно было вернуться к письму.

С внезапно обретенной легкостью он стал переносить на бумагу свою недавнюю исповедь – как будто писал уже из-за гроба, в печальном бесстрастии смерти. В сознании

стояли слова, коими он намеревался завершить послание: «Лишь то, что завтра я покину земную юдоль, дает мне силы быть честным; ты заслуживаешь последней правды обо мне, ибо...»... Он со страхом почувствовал, что окончание ускользнуло. Записал его кое-как наново на одном из замаранных набросками листков. И в полной беспомощности понял, что упустил нить повествования и не ведает, как продолжить прерванное на середине. Виски наполнил шум ужаса, рука задрожала, и он бросил почти сухое перо. Господи, что... Шум заглох, но веки, пальцы, все тело стало наливаться неведомой темной тяжестью. Сердце билось в груди из последних сил, как бьется угодившая в топь косуля.

Горькая кровь Христова... Господи... Яд. Он попытался встать, но рухнул с табурета на колени. Дверь узилища темнела одновременно близко и в недосягаемой дали – он никак не мог попасть по ней кулаками; «на помощь!», должное быть криком, вырывалось хрипом.

Когда стражи услышали шум и отперли узилище, он еще дышал, лежа ничком на полу, но очень скоро дыхание пресеклось.

- Ваше высочество дон Фернандо, я настаиваю, чтобы вы меня выслушали. В деле дона Карлоса появились новые обстоятельства, которые все меняют.

- Донна Исабель, дело решено. – Король откинулся на спинку кресла, и скрестил на груди руки. – И никакие обстоятельства не могут изменить того, что наш недостойный родич замышлял предательство.

- Слуги дона Карлоса готовы клясться на распятии, что первое из голубиных писем, в котором, будто бы, находится тайное указание убить дона Кристобаля, было получено одиннадцать дней назад, в понедельник, после полудня. Тогда как покушение на дона Кристобаля имело место накануне поздно вечером в воскресенье. Эти слуги находятся здесь. Они под моей защитой. И они готовы ради своего несчастного господина повторить свое признание в чьем угодно присутствии. Голубя поймал привратник, и он точно помнит, что голубь прилетел в тот же день, что прибыла и покойная донна Маргарет – в понедельник. Это же подтверждает капитан судна, на котором донна Маргарет прибыла. Дона же Кристобаля пытались убить вечером воскресенья – что подтвердят как он сам, так и маркиза Мойя.

Глаза донны Исабель промерзли насквозь. Но дон Фернандо не сдался.

- Слуги могут и лгать, донна Исабель.

- Под страхом пытки, защищая приговоренного? Зачем бы им?

- Из обезьяньего мавританского упрямства, хотя бы.

- Тогда почему бы не спросить дона Карлоса?

- Да. Почему бы не спросить дона Карлоса, с наущения которого они говорят так складно и правдоподобно? Нет уж, донна Исабель, что бы они не говорили, но мне куда больше говорит брачное свидетельство и купчие на зе...

В двери постучали. Секретарь сообщил, что коррехидор дон Ксавьер, чрезвычайно взволнованный, просится с докладом.

Дон Ксавьер был не то, что взволнован – на нем лица не было, он заметно дрожал, и даже докладывать начал не по установленному порядку...

- То есть как умер? Отчего умер? – дон Фернандо смотрел на коррехидора во все глаза, едва ли не повторяя про себя слова доклада «...скончался вскоре после причастия, вероятно, от сильного душевного потрясения и сердечной слабости...».

Бывает, что, упав с лошади и сломав руку, подымаешься и пытаешься ею шевелить, еще не ощущая боли – вернее, ощущая ее как бы со стороны. То же самое случилось с доном Фернандо: ненавистный племянник так врос в его мысли, что осознать его смерть было невозможно. Слова коррехидора казались нелепостью, самое его появление – сном. Дон Карлос никак не мог быть мертв в то время, как они о нем спорили...

- Вероятно, от сердечной слабости, - цепенеющим языком повторил коррехидор, предчувствуя уже не отставку – опалу.

Донна Исабель стояла статуей, и тишина густела вокруг нее, словно она навораживала ее усилием мысли.

- То, что Господь не попустил его умереть от секиры, есть знак его невиновности, - наконец, сказала она. А потому следует похоронить его достойно, и оповестить о его смерти его вдову, Алессандрину д'Агилар, маркизу Морелла.

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ,
В КОТОРЫЙ ИНЕС ВОЗДАЕТСЯ ПО ДЕЛОМ ЕЕ.

- Сеньора Инес, дон коррехидор вас принять никак не может. – Голос секретаря был так скрипуч, словно он издавал звуки человеческой речи не языком, а зубами.

- Но у меня наиважныйшие дополнения по делу маркиза Морелла... – Инес готова была умолять едва ли не на коленях. Она чувствовала – вот-вот страх перед наказанием возьмет верх над решимостью сознаться.

- Должен вам сообщить, дело данное прекращено по высочайшему распоряжению в связи со смертью обвиняемого. Посему дополнений к нему не принимается.

Дело... прекращено... в связи... со... смер...

В связи... со... сме...

Смерть...

...

... Как он мог умереть?

Секретарь едва ли не возмущенно пожал плечами.

- Сердце разорвалось, если вам так угодно знать. – И повторил для верности: - а дон коррехидор вас принять никак не может. Если что, за вами пошлют.

Инес поклонилась и тихо вышла на жаркий просторный двор, почти с ужасом ощущая, как денежный пояс отягощает ее бедра, и – главное - как ровно, хотя и сильно, бьется ее собственное сердце, не способное разорваться ни от горя, ни от любви.

ДОЛЖНИКИ И ЗАИМОДАВЦЫ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ,
В КОТОРЫЙ МОНА АЛЕССАНДРИНА ВНОВЬ СТУПАЕТ НА КАСТИЛЬСКУЮ ЗЕМЛЮ.

Было утро, уже довольно позднее. И хотя солнце еще не достигло высшей точки небосвода, в воздухе не ощущалось промозглости даже здесь, на самой середине реки.

Она стояла на палубе под пестрым провисающим пологом. Расцветающая зелень не влекла ее взора, с некоторых пор обращенного вовнутрь.

...Торнадо был рядом.

Но это был уже не он.

Зримо упругий, точно свитый не из воздуха, а из прозрачных жил, сверху донизу пронизанный белым сиянием столп толщиной в ее - не больше - охват стоял, казалось, на расстоянии протянутой руки, не вызывая не малейших колебаний воздуха.

И, глядя на него, она у з н а л а.

Она протянула руки, шагнула – и медленная тугая сладость стала прорастать от лона вверх, выгибая тело в несносимом блаженстве. Она закричала...

И проснулась с расходившимся сердцем и влагой меж бедер. Сладость приснившегося соития еще расточалась по жаркой со сна плоти. Господи, помилуй. Как если бы наяву.

Она впервые за все годы не печально, а пытливо, чуть ли не подозрительно посмотрела на его портрет. И с усмешкой подумала, что любая другая на ее месте приняла бы сон за наваждение с инкубом.

Однако надо было подыматься – сегодня праздновали ее именины, и належало в последний раз проверить, все ли готово, и во всем ли, главное, соблюдена та аптекарски точная мера изысканности, что приравняла ее ко многим знатным от рождения.

Сегодня же надо дать ответ князю Анжело Скьяволи – одному из тех знатных. Самому, пожалуй, знатному. И она даст ему тот ответ, которого он уже немалое время ожидает. Стало быть, драгоценнейший подарок в день ее именин она не получит, а преподнесет.

- А я говорю вам – он великий человек! – Синие глаза мессера Анжело сверкали так бесподобно, что Алессандрина теряла нить его мысли: ей хотелось расцеловать эти глаза, греческий нос и вдохновенные губы, особенно после трех выпитых ею бокалов вина. – Князья еще поймут, как они слепы в своей гордыне, однако будет поздно: устав от их упрямства, он наверняка решит избавиться от них! По крайней мере, я бы так и поступил на его месте!

- Ну так за чем же дело встало? Герцог охотно принимает на службу люд со всей Италии. Пока только тем он Италию и объединяет, что в войсках его обок служат патриции, бастарды и брави со всей страны! – едко встрял поэт Анзо.

- Потому что Родина превыше рода!

- Прошу меня простить, мессеры... – низкий голос с сильным акцентом врезался в беседу. Все смолкли. Смуглый человек в долгополом платье медика подался чуть вперед, - прошу меня простить, что я вас перебиваю с суждением, которое, возможно, покажется вам наивным...

Несколько голосов живо – даже преувеличенно живо поддержали доктора: от него ждали историй, его затем и привели, однако до сих пор ему слова вставить не удавалось в блистающий цитатами и остротами разговор прочих гостей. Объяснялось это тем, что доктор не вполне владел итальянским. Он чувствовал себя, как ополченец с палицей среди фехтовальщиков. И вот, наконец, все притомились, и речь замедлилась достаточно, чтобы он мог заговорить на равных.

- Герцог Чезаре, по-моему, делает для Италии одно доброе дело – он преследует разбойников. По крайней мере, в своей области, в Романье. И это есть большое благо. В Кастилии, откуда я родом, Их высочества также начали свое славное царствование с того, что

извели разбойников и прекратили произвол на больших доро...

- Зато они расплодили произвол в иных местах! – снова встрял Анзо. – И не потому ли вы, мессер доктор, нынче имеете несчастье терпеть наше шумное общество?

- Полноте, Анзо! – не выдержал Анжело, - ты как будто пил не вино, а чистую желчь! Мессер Торрес, я прошу у вас прощения за то небрежение, которое мы все поневоле вам выказали, будучи увлечены легковесными разговорами, тогда как вы видели и знаете более всех нас вместе взятых... За исключением моны Алессандрины, конечно. – Он со значением поклонился хозяйке.

- Слова мессера Анзо горьки, но справедливы... – тихо заметил Торрес. – Если бы произвол Инквизиции не был поддержан с высоты престола, я бы сейчас был, возможно, под неведомым небом в неведомых водах. Дай Бог чтобы герцог Чезаре, о ком так много спорят, не последовал их примеру, а перенял терпимость и милосердие его святейше...

- Ха-ха-ха, не сомневайтесь, почтенный доктор! Ибо его святейшество герцогу Чезаре не только что духовный, но и вполне природный отец!

- Анзо, ты пьян и будешь наказан. – Алессандрина скрыла улыбкой недовольство. - Изволь, пожалуй, сочинить...

- ..?

- Венок сонетов. Так уж и быть, на любую тему.

Анзо притворно застонал. Вкруг засмеялись в предвкушении удовольствия. Анзо был большой мастер на рифмы – он даже говорить мог в рифму сплошь.

- А чтобы тебе было проще сосредоточиться, прошу удалиться в мой кабинет...

Когда шаги Анзо затихли, у доктора вдруг вырвался вздох.

- Да не прогневлю я Господа невольной завистью – как же богата весельем ваша жизнь. По крайней мере, она такой предстает передо мной, гонимым и потерявшим надежду, - поправился он, заметив, как посерьезнела Алессандрина.

- Вы правы, доктор. Жизнь – большая притворщица.

- Если бы только. Порой она жестока, как... – он замялся, подбирая сравнение.

- Сравнивать почти что не с чем. Даже смерть не всегда жесточе.

- О да, мона Алессандрина. О да. Не столь давно я в очередной раз имел возможность в этом убедиться. На моих руках умер человек, чья жизнь была к нему столь немилосердна, что смерть он принял с благодарностью.

Доктор обвел глазами кружок нарядных, едва знакомых ему людей. Все молчали, ожидая, наконец-то, историй. Его совесть могла быть спокойна: он не угощался даром.

- Это было как раз в Романье, на лесной дороге. Я с несколькими случайными спутниками направлялся в Родзини. Вместе на свел общий путь и страх перед разбойниками, хотя воинами мы все были неважнецкими. И вот уже под вечер мы оказались на лугу, где незадолго перед тем бились разбойники и герцогский отряд. Судя по многим признакам, победа не досталась никому: вожак разбойников и его люди были убиты, а командир отряда умирал от раны. Он был иностранец, англичанин, но по случаю бегло говорил по-испански. И поневоле мне пришлось стать его исповедником и душеприказчиком. Так что история эта его, а не моя – я ее только выслушал. Он был благородной крови, однако в Войне Роз в Англии его отец взял неверную строну и все потерял. С отрочества он был принужден зарабатывать на хлеб, служа приказчиком в лавке одного купца. Купец, правда что, не был скаредом. Но главным богатством купца была его дочь, Маргарет...

Голос Торреса зазвучал для Алессандрины словно из отдаления.

Что за день сегодня, кроме того что ее именины, если и сон, и явь напоминают ей о былом?

Рассказчик меж тем перешел уже к злоключениям англичан в Кастилии. Карлоса он называл «одним из знатнейших дворян», не упоминая имени – видно, и умирающий англичанин, Питер? – да, Питер – имени обидчика не назвал.

Однако продолжение рассказа вновь заставило ее напряженно прислушаться. Питер не

был счастлив с Маргарет. Он так и не стал ей мужем в истинном понимании этого слова. Венцом всего он ее пережил, втайне уверенный, что она наложила на себя руки. До последних своих мгновений - в вечернем романском лесу, на руках у беглого кастильского марана - он недоумевал, за что ему такое испытание Господне? Разве он не был всю свою жизнь добрым воином, честным слугой, верным возлюбленным? Разве нет?

Изумленные гости молчали, порой поглядывая на Алессандрину. До сих пор лишь она была для них связующей нитью с возвышенным и опасным миром, достойным повествования. Ее история, изрядно, впрочем, подправленная, была изложена двумя соперниками-новеллистами, едва не вызвавшими друг друга на поединок за плагиат. Ее самое за глаза звали «Кастильской вдовой». И вот нашелся человек, чья история не менее, чем история Алессандрины, достойна новеллы.

- Почтенный доктор Торрес... Вы удивитесь, должно быть, но я до известной степени знаю продолжение этой истории. Вернее сказать, я знала «одного из знатнейших дворян», и знала близко.

- Боже мой, расскажите!.. – сверкнул глазами Торрес, - оправился ли он от ран, которые нанес ему Питер? Признал ли супругой Элизабету? И как его имя, если мне будет позволено...

- Дон Карлос д’Агилар, маркиз Морелла. Он был мне супругом.

Торрес немо расширил глаза.

- Милые мои друзья, - тихо продолжала Алессандрина, - вам всем ведома моя история в том виде, в каком она изложена нашими почтенными новеллистами. Думаю, все вы понимаете, что она ими приукрашена и искажена в той мере, в какой это предполагает изящная словесность. Но коль скоро история доктора Торреса в большой степени предшествует моей истории, и коль скоро доктор изложил ее без прикрас, было бы несправедливо, если бы я не рассказала своей подлинной истории. Ибо в ней есть не только любовь и ревность.

Многие из вас, верно, до сих пор втайне дивятся, как я сумела получить наследство и титул графини Эльяно, под которым меня знает Венеция, помимо прозвища «Кастильская вдова». Спорное наследство и титул были обещаны мне в награду за исполнение одного дела, сложного и опасного. В Кастилии я была не беззаботной гостьей, а лазутчицей Совета Десяти, и моим делом было разузнать о намерениях генуэзца Кристофоро Коломбо, известного в Испании, как Христофор Колумб, особенно о его карте, согласно которой Индии лежат за Морем мрака в трех неделях пути.

Доктор охнул. Алессандрина как будто не слышала.

Все эти годы подлинная история томила ее. Не раз она принималась ее записывать и отступалась: повесть о страсти, и, в конечном итоге, безумии не ложилась на бумагу. Теперь же Алессандрине можно было разве что зажать рот – ничто иное не заставило бы ее замолчать. Гости услышали о восковом подобии, о домогательствах короля, о богопротивном венчании в портовой церкви.

- ... И с тех пор я не получила от него ни весточки, хотя послала четырех голубей. А через три месяца ко мне явился кастилец из посольства и сообщил о смерти Карлоса в тюрьме, и о том, что в Кастилии мне запрещено появляться под страхом смерти. Я не могла ни посетить его могилу, ни поставить ему памятника. Потому-то я заказала новеллы. Две – чтобы выбрать лучшую. Тогда я еще не знала, сколь тщеславны писатели.

Анжело склонился и безмолвно припал губами к ее подолу.

И тут во весь рост поднялся доктор Хенаро Торрес. У него дрожал острый подбородок, и руки, стиснутые на груди.

- Мадонна Алессандрина... Нет ли у вас изображения вашего покойного мужа?

Ее пронизала такая же дрожь, и на долю мига ей помнилось, что доктора окутало тугим крученым сиянием.

- Есть. Извольте следовать за мной.

Доктор шел, боясь и того, что его догадка подтвердится, и того, что она окажется

ложной. Привыкший помогать людям, он болезненно избегал обременять их собой и пуще того превносить в их жизнь потрясения.

Но при превом же взгляде на портрет он по воле памяти перенесся в скрипучую каморку на адмиральском судне, и лишь усилием сознания смог вернуться в душистый покой.

- Это он, мадонна.

Она взгляднула на Торреса, еще недопонимая.

- Я служил на судах дона адмирала Кристобаля Колона. Он был там. Ваш муж. Доподлинно, это был он. Клянусь кровью Христовой.

И доктор истово перекрестился.

Воздух вокруг нее глухо и слитно загудел.

- Где он сейчас?!

- Там, в Индиях, в форту Навидад...

Едва помня себя, она повернулась выйти из опочивальни. В дверях стоял кто-то – она скользнула взглядом по прозрачно-бледному, точно молочное стекло, лицу, и с трудом узнала: Анжело.

- Сам я не видел, но другие рассказывали, что его привезли в раннюю рань перед отплытием, под конвоем, и сразу отвели к адмиралу. Я стал расспрашивать о нем офицеров, потому что он был очень непохож на прочих. Смугло-бледный, с постоянно мрачным взглядом, даже не мрачным, а... Да простится мне такое сравнение – со взглядом падшего, который помнит, кем он был, но смирился. Взгляд без малейшей искорки радости. Его приписали в матросы под именем Карлоса. Он рьяно взялся овладевать морской премудростью – должно быть, хотел забыться этим трудом. Но в первый же день он до крови стер ладони снастями, натрудил мышцы до боли, и оказался в моей каморке. Я понял, что ему давно не приходилось не то, что работать... Сразу, даже безо всяких таинственных россказней, было видно, что он не из простых. Ему давно не приходилось двигаться на вольном воздухе. Скажем, целый день верховой езды или поединок в фехтовальном зале точно также свалили бы его с ног. И я сразу подумал о заточении.

И вот он протянул мне руки, стертые так основательно, что на палубе от него по меньшей мере три дня не было бы никакого толку. Была уже ночь, у меня горела лампа, и при свете ее я, как мне показалось, различил в его глазах стыд и отчаяние – и мне захотелось узнать, чего он стыдится? Только ли того, что он – белоручка?

Я перевязал ему руки, сделав его совсем беспомощным, и предложил ночлег в моей кающе, а поутру позвал его в помощники: один врач на три корабля – не так много, а в Индиях нас могли подстерегать нешуточные и вовсе неизвестные хвори. Я пытался говорить как мог серьезнее, но прежде, чем согласиться, он очень горько усмехнулся – мне даже стало не по себе. Он понял, что я пожалел его – а это и было так...

- От говорил о том, откуда, как? Почему он оказался в плавании?

- Поверите ли, нет. Ни слова. Ни единого слова. Никто никогда его об этом не спрашивал, сам он и подавно не начинал разговора. Видать, это очень сильно его угнетало. К слову, из него выходил превосходный врач: трактаты Авиценны и других столпов врачевания, как оказалось, он хорошо знал, только не применял знаний. А так у него были острый взгляд, верная рука, он не был брезглив... И таил в душе сострадание к ближним, хотя никогда этого не показывал. Так вот, он рассказывал много занимательного, но никогда – о себе. Признаться, я подозревал в нем мавританскую кровь, ересь, и вмешательство высокопоставленного покровителя, который его спас. На эту мысль меня навело и то, что он остался в Навидад. Но я никак не думал, что он был так высоко...

- Значит, ни слова? Ведь кто-то же его спас... Но кто?

- Судя по тому, что вы рассказали, это вполне мог быть Его высочество.

- Да... Только вот...

- Вас вводит в сомнение та история со смертью донны Элизабеты? Гм... Если даже

король желал вашей смерти, почему бы он должен желать смерти племянника? А впрочем, нет смысла гадать...

Доктор вздохнул.

- Мона Алессандрина... Мне, признаться, уже хочется просить прощения за то, что я дал вам надежду, а между тем Карлос – далеко за морями, если вообще жив. И я не знаю, когда состоится второе плаванье в Индии.

«...он в первый же день до крови стер ладони снастями...».

Она шагнула из-под полога, коснулась ближайшей туго натянутой снасти, потом из всех сил схватилась за нее и пропустила сквозь кулак с локоть напружиненной веревки, так что ладонь опалило.

Впереди, над стальным блеском излучины, белели дома и стояли дымы – это был город – не тот, великий и равнодушный, где все начиналось. Этот город был мал, звался Палос, и жили в нем искуснейшие моряки.

ДЕНЬ ВТОРОЙ,
В КОТОРЫЙ БРАТЬЯ ПИНСОН НИКАК НЕ МОГУТ СОЙТИСЬ ВО МНЕНИЯХ.

Двухэтажный дом семьи Пинсон украшали высокие двери с вазами: хозяева были не из бедных.

Оба брата, Висенте Яньес и Франсиско Мартин, были дома, сидели над книгой расходов. Им обоим это уже надоело, но из-за природной привычки доводить дело до конца они уже третий час выкраивали, а больше того – урезали деньги для будущих трат.

Доклад о неизвестной даме стал той самой причиной, которая позволяла им оторваться от счетоводства безо всяких угрызений совести: даму надлежало принять, выслушать и оказать ей помощь, если она о ней попросит – так должен поступать мужчина, будь он знатного происхождения или простого.

Дама оказалась молода, приятной наружности, и представилась Алессандриной Адзанте, флорентийской дворянкой. В Кастилию ее привела любознательность, вернее, сказать, неуемное любопытство, с которым она никак не могла совладать, хоть и накладывала на себя суровые епитимьи. Братья заулыбались, догадываясь, что гостья начнет расспрашивать их про Индии. Вопросы и правда последовали – о трудности и продолжительности пути, о заморской погоде и тамошних жителях. Толковые вопросы – отвечать – одно удовольствие. Никаких сирен и морских чертей. Как будто она сама собралась к берегам Индий...

- ... А поскольку для этого нужна надежная команда, крепкие суда и искусные кормчие – нужда моя привела меня прямиком к вам, уважаемые сеньоры. Корабль у меня есть. Просьба моя к вам – стать моими капитанами и собрать команду. Жалование я выплачу вдвое против того, что платил Адмирал.

Братья переглянулись в изрядном замешательстве. Смелая донна Алессандрина, слегка откинувшись в кресле, ожидала их ответа – а они не знали, что и ответить!

Мало того, что сами по себе Индии их и влекли, и пугали – из-за Индий едва не случилось в семье свары; мало того, что согласно недавнему королевскому указу плавать в Индии самочинно было вроде как запрещено. Не укладывалаось в головах у братьев Пинсон, что какая-то итальянская дворяночка вот этак запросто, из единой своей прихоти может снарядить корабль, тогда как сами их Высочества на это дело скаредничают и жмутся. Итальянская дворяночка нанимает их, лучших кормчих Палоса, словно каких-нибудь проводников!..

- Если вас тревожит, в состоянии ли я заплатить обещанное, то я хоть сейчас могу предъявить гарантийные письма моих банкиров. – Она извлекла шелковый шитый кошель, а из него – тугие свитки. Затейливые бестии скалились с киновари печатей.

В тяжелом воздухе комнаты запахло барышами и морской пеной.

Едва ли не в один голос братья попросили отсрочки на размышления – хотя бы до завтрашнего полудня.

- Старшой наш Мартин Алонсо, царствие ему небесное, поди согласился бы, а?

Пинсоны часто поминали покойного старшего брата – иногда, правда, с усмешкой (напорол горячки покойник, когда с Адмиралом повздорил), но добром. Как иначе? Порой казалось, что он с того света (дай Бог, с небес, сильно каялся на исповеди в гордыне и вероломстве) помогает им в делах, внушает здравые мысли, или отводит проруху. Когда и вовсе во снах привидится. Мартин Алонсо бы точно согласился: очень уж он досадовал на Адмирала, очень уж хотел первым топтать вязкую землю индийских островов, сочащуюся водой, кишащую муравьями и червями. Он бы согласился; он бы на королевский указ не посмотрел – бурлило в нем неуемное любопытство, жила в нем буйная и непокорная душа прирожденного морехода. Новое плавание безо всяких Адмиралов и надзирателей было бы ему лучшей памятью. Кто знает, куда вынесут их ветры и течения, властвующие в океане? – быть может, мимо нищих островов прямо к гаваням Катая? К золотым кровлям Сипанго?

Так думал Франсиско Мартин, который в плавании был со своим своевольным старшим братом на одном корабле.

А Висенте Яньеса, что служил на корабле Адмирала, занимало другое.

- Старшой наш, я думаю, и за свои бы согласился, не то, что за венецианские...

- А?

- Банки-то эти венецианские, что ей гарантии выдали. А она сказалась флорентийкой...

Франсиско Мартин потер лоб, ковырнул резьбу на столешнице. Он в замешательстве никогда не мог держать руки в покое.

- И что с того? Может, у нее в Венеции родня...

- Опять же, в Венеции...

- Да что с того?

- Да венецианцы когда еще любопытствовали. Дон Кристобаль мне рассказывал. И донна Алессандрина, вишь, тоже - любопытствует.

- Думаешь, она лазутчица, брат? Пигалица эта?

- Пигалица эта, судя по тому, как она держится, кое-что смекает в мореходных делах. И на нас ей не зеваки с площади указали.

- Тем и лучше. Если будет вылезать на палубу, то с понятием.

- Ты прямо как старшой. Влюбился?

- Брось. – Франсиско Мартин против воли стал кипятиться, мысль сходить в плавание неуклонно овладевала его сознанием. – Она – одна-единственная пигалица. Обе команды – наши. Поплывем за ее денежки, куда нам угодно. Откроем такое, что Адмиралу и не мерещилось. И поднесем на золотом блюде их Высочествам: все ослушания нам забудутся.

- Ах ты вот о чем, брат...

Висенте Яньеса всегда точила мысль о том, что из-за строптивого старшого семье вместо заслуженных почестей досталось королевское неблаговоление. Тут Франсиско Мартин, что называется, в поддых его пихнул.

На легкие венецианские деньги и впрямь можно было бы снарядиться получше чем в тот раз, набрать команду, крепкую, как кулак. Будет девица артачиться – припугнуть: мало ли что с человеком в плавании может случиться? Ведь раз она пришла к ним сама, вместо того, чтобы присылать поверенного, и, как положено, рядиться с полмесяца, споря о каждом кастельяно – значит, с людьми у нее не густо. А денег – много. И дело – спешное.

Однако странно, очень странно, что она пришла к ним сама. Любопытная флорентийка. Или венецианка? Весьма недобрым словом Адмирал поминал Венецию. Чуть ли не прикончить его собирались любопытные венецианцы.

- Я всю дорогу об этом. Только об этом и об этом. Что, не зазорно быть в немилости? Это нам-то, природным мореходам?

- Понимаю твои кручины. Ты только вот о чем подумай: ну, будут у нас деньги. Начнем мы народ собирать. В Индии нынче мало охотников плавать. Сколько времени это займет? Месяц? Сколько тут в Палосе завистливых глаз да длинных языков? Как ни таись, вмиг донесут. И добро если подношениями дело обойдется. Но сдается мне, что по нынешним временам так уже и нет. Индии – дело хоть и неприбыльное, но государственное.

- Это да... Языки всем не подвяжешь.

Франсиско Мартин засопел. По этому сопению было ясно: мысль о плавании таки втемяшилась в его голову намертво, и вылущить ее оттуда можно было лишь доводом сокрушительной силы. Такого Винсент Яньес сходу привести не мог.

- Вот что. Пигалица наша Алессандрина нам только свое намерение высказала – а куда точно плыть, на Изабеллу, или к другому острову – она не уточнила. Завтра, как придет за ответом – согласимся, но с условием, что она нам свои цели откроет. А дальше посмотрим: если будет на правду похоже – одно дело. А если почуем, что врет – совсем другое.

Белые, в потеках стены, изглоданные края кровель, желтая пыль проулков и крепкий рыбный дух наводили тоску. Городок после палубы казался необъятным лабиринтом, чужая гортанная речь резала слух.

- Не отчаивайтесь, мессере. Здесь постоялых дворов не больше трех, отыщем. Вам бы посидеть в траттории, выпить доброго вина, отвлечься. Разговоры бы послушали. А я бы поискал. А то не ровен час столкнетесь на улице. Моне Алессандрине это весьма не по нраву придется, насколько я могу судить по вашим словам.

- Что мне эти разговоры! Я по-кастильски не понимаю.

Витторио Подзи, опытный толмач, болтавший до изумления бегло едва ль не на дюжине наречий, от турецкого до кастильского, и получавший удовольствие от самого звучания людской речи, будь она даже вовсе ему непонятна, прерывисто вздохнул. Деньги-деньгами, но когда наниматель пребывает в постоянной тоске – от этого кто угодно может пасть духом.

Глядя на Анжело, хотелось плакать. Тонко- и белокожий, сейчас он был смертельно бледен. Обычно изысканно причесанные черные волосы теперь крылами скорби осеняли щеки. Остерегая его от встречи с Алессандриной, Подзи про себя думал, что такая встреча была бы крайне желательна: та непременно прониклась бы жалостью и пошла бы с Анжело под венец... Или хоть в конкубины к нему – нрав у Кастильской вдовы, как говорят, легкий. Легкий-то легкий, а вот поди ж ты, сорвалась на поиски своего супруга, кого уже три года считают покойником…

А за ней - Анжело.

Как он молил о дозволении сопровождать ее открыто! На чем угодно готов был клясться, что ни словом, ни вздохом не будет ей докучать. Но она отказала. Она во всем ему отказала. Она отказала ему в себе – по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, что же случилось с тем... с тем, чей портрет он долго считал лишь искусно исполненной иллюстрацией к ее истории. Но в тот вечер мертвец уставился на него с холста надменно и насмешливо. Как не мертвец и был – а изрядно припоздавший, но самый что ни на есть желанный гость на ее именинах. А потом – прямо, но словно бы мимо, нет, сквозь него – взглянула Алессандрина, его ангел.

И на третий день каравелла, одна (как ему сказали) из самых быстрых, из тех (как ему намекнули) что обчыно посылают по тайным поручениям, унесла ее в море. Но прежде, чем последовать за ней, он выяснил, что за быструю каравеллу она заплатила сполна. Он не знал меры ее благополучия. Но знал меру своему. Сумма была большой, по любому счету.

Понятно, понятно – она не могла поступить иначе! Ведь вся Венеция слышала ее подлинную историю, и видела, как она побледнела после слов доктора Торреса. Он бы сам удивился – переложи она поиски на поверенных. Но почему она не позволила ему, Анжело, плыть с ней? Ведь это бы ничуть не умалило благородства ее поступка.

- Мессере Анжело... А вон там – не она ли? Видите, где двери с вазами?

Но он уже и сам заметил – прежде покроя плаща узнал осанку. О ней все говорили, как о высокой, о стройной. Но ему она всегда виделась хрупкой тростинкой, подвластной любому вихрю – он раньше не понимал, почему (думал - виноваты его глаза, глаза любящего). Сейчас понял.

Ее сопровождали двое весьма дюжих слуг, не скрывавших оружия – так что за ее жизнь можно было не опасаться.

Теперь оставалось только осторожно следовать в отдалении.

Какую же власть должен был иметь над ней тот, с портрета, чтобы одна надежда на встречу заставила ее лететь за тридевять морей?

Видеть это было наигорчайше.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ,

В КОТОРЫЙ БРАТЬЯ ПИНСОН К СОГЛАСИЮ ВСЕ ЖЕ ПРИХОДЯТ – НО НЕ СОВСЕМ ПО ТОМУ ПОВОДУ, КАКОВОЙ БЫЛ ПРИЧИНОЙ ИХ ДАВЕШНЕГО СПОРА.

Сухопутный вид «Дома с вазами», где обитали Пинсоны, немного ее смешил. При взгляде на него не возникало и мысли о дальних странствиях – скорее, думалось о сундуках и подвалах, полных – нет, не золота, а надежного, несподручного для грабежа добра: окорока, снизки ароматных луковиц, бочки с вином, воск в свечах и слитках, штуки сукна и льна, может, и меха, вороха одежд...

Она взялась за кольцо.

Пинсоны явно ждали. Они приоделись, украсили цепями меховые воротники. Перстни туго сидели на просоленных моряцких пальцах, врезаясь кромками в суставы.

- Ваш торжественный вид, сеньоры, внушает мне надежду: подтвердите же ее, или развейте, только не разбейте мне сердца.

Винсенте Яньес едва ли не куртуазно склонил лобастую голову; борода веером разошлась по желтому ворсу воротника.

- Донна Алессандрина, мы готовы оправдать ваши надежды при условии, что вы откроете нам ваши истинные намерения.

Она вскинула брови, одним этим выразив вопрос.

- Видите ли, нам людей нанимать, - загудел Франсиско Мартин, - людям же просто так не скажешь: мол, захотела одна благородная дама поглядеть на Индии. Люди, поскольку им вместе неделями плыть, они хотят знать, куда и зачем. Потому что если им не сказать правду, или, если угодно, ловко не соврать, когда правда неприглядна, будет на борту много разговоров, а где на корабле разговоры, там и бунт. А где бунт, там все, кто на корабле обузой, летят за борт акул кормить.

- Понимаю. Я и сама собиралась все вам объяснить, сеньоры. Нельзя же, в самом деле, нанять корабль из одной только пустой прихоти.

- Ну да, не всякий король может! – поддакнул Франсиско Мартин, потихоньку разгорячаясь от близости дела.

- Лицу частному это подчас проще, чем королю, сеньор. Так вот, я вам ни в чем не солгала: меня влечет любопытство. Только любопытство совершенно особого рода. Скажите, сеньоры, вам случалось встречать вот этого человека?

Медальон с портрета делали хоть и спешно, но сходство, по ее мнению, было передано в точности.

Братья нахмурились – Франсиско Мартин беспомощно, а Висенте Яньес – неопределенно. Лицо на медальоне он сразу узнал. У него память на лица была отменная. И имя вспомнил – Карлос. Да, так его звали – Карлос-Орел. Винсенте и одежду в подробностях рассмотрел, хотя медальон был махонький.

- Был у нас похожий палубный матрос, - наконец, ответил он.

- И он остался в форту Навидад.

- Там без малого сорок душ осталось, донна Алессандрина. Когда «Санта-Мария» на мель села. – Винсенте Яньес позволил себе проницательный прищур. - Вы с ним, стало быть, накоротке знакомы, если о судьбе его так тревожитесь?

- Я с ним тайно обвенчана.

- Вопреки воле ваших почтенных родителей? – спросил он больше для того, чтобы поколебать напряженное молчание, потому что, ясное дело...

- Согласно моей и его воле. Но вопреки судьбе и обстоятельствам, каковые я хочу попытаться превозмочь, с вашей помощью, если вы дадите на то согласие.

Винсенте Яньес медленно кивнул – не понять, то ли уже на все соглашаясь, то ли просто, чтобы впустую не поддакивать.

- А как вы узнали, что ваш супруг оказался в этом плавании?

- Случайно. Из чего и заключила, что судьба, возможно, подает мне знак. Один из участников плавания, доктор Хенаро Торрес...

- Помню доктора. Искуснейший был костоправ, хотя и жид. – Подал голос Франсиско Мартин, которому хотелось хоть словом еще поучаствовать в беседе.

- Он выкрест был, брат. А лекарь, и правда что, преискусный. Значит, он во Флоренцию подался... Стало быть, цель ваша – отыскать супруга. Воистину достойная цель. Только, может, вам стоило бы в Кастилии вестей дождаться? Дон Адмирал давно уж во второй поход ушел – скоро, даст Бог, вернется.

- А если нет?

- Все в руках Господних.

- Стало быть, на вашу помощь я могу не надеяться. – Она резко поднялась. – Тогда прошу простить, что...

- Бог с вами, донна Алессандрина. Сядьте, прошу вас. Как у вас душа-то горит, простите, не расчувствовал. – Голос Винсенте зазвучал по-отечески утешительно. – Мы же еще вам ответа не дали, верно? Только совет...

Она опустилась в кресло.

- Вы шутники, сеньоры... Прошу простить за несдержанность. Мне не до шуток.

Братья улыбнулись.

И Винсенте Яньес подтвердил от имени обоих их согласие. Глаза Франсиско Мартина довольно поблескивали, когда брат приказал подать вина и сладостей, чтобы отметить уговор.

Вина Алессандрина, как и подобает учтивой даме, только пригубила, и вскоре откланялась, предупредив, что братья смело могут беспокоить ее по любому, связанному с предприятием, делу – остановилась она в венте «Большой лев».

- Стало быть, завтра можно клич бросать и рольку расчерчивать. – Довольно подытожил Франсиско Мартин.

- Только сперва очки себе из Севильи выпиши! – в сердцах осадил его брат.

- Ась? – на лице Франсиско читалось столь искреннее непонимание, что раздосадованный брат Винсенте чуть не расхохотался.

- Очки, говорю, выпиши. Иначе не разглядишь, куда компас кажет.

На этот раз Франсиско расслышал, и чуть было не обиделся, но рассудил, что брат от волнения неудачно пошутил.

- Ну их. Разобью, а вещица дорогая.

- Как бы нам б**о**льших убытков не понести. Ты на медальон, что она показывала, внимательно смотрел?

- Ну. Вроде и вправду малость знакомая рожа. А что?

- Орден. Орден у этого... Карлоса, которого я, грешный, простым висельником полагал. Орден святого Иакова. Ее муж был гранд Кастилии, не меньше. И если он оказался матросом у Адмирала... Ты понимаешь, во что она нас впутывает? Чьи это дела?

Вместо ароматов моря и золота в воздухе потянуло холодком высочайшего

неблаговоления. Обоим был не в новинку этот сквозняк, от которого в самую жаркую сиесту до костей проберет озноб.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ,
В КОТОРЫЙ МОНА АЛЕССАНДРИНА СМЕЛО ОТПРАВЛЯЕТСЯ НАВСТРЕЧУ СВОЕЙ УЧАСТИ.

- Как съехала?

- Да вот так и съехала. Вчера под вечер явились к ней Пинсоны, все – братья и племянник, рядили они о чем-то долго при закрытых дверях, ужин потом спросили. Потом старшие Пинсоны ушли, а племянник их, Ариас, заночевал у нас в общей. И до света еще они с донной Алессандриной выехали. Да вы зря беспокоитесь – у нее двое слуг, да с Ариасом трое пинсоновских, все на мулах – они от дюжины отобъются.

Анжело поник головой, и далее не слушал.

- А кто эти Пинсоны? – продолжал меж тем расспросы Подзи, - надежные ли люди?

- Люди известные. Первые моряки в Палосе. С Адмиралом в достопамятное первое плавание ходили, в Индиях бывали. Правда, говорят, и размолвки у них с Адмиралом были... Себе они на уме, Пинсоны. Хотя без того и не проживешь.

- Куда же они могли направиться?

- Дорога у нас тут одна – Севильская.

Подзи приник к уху тарктирщика, и шепотом поведал тому, что Алессандрина – строптивая богатая невеста, Анжело – неутешный воздыхатель, словом, вы понимаете, одно расстройство с этими молодыми... Незачем было наводить трактирщика на лишние мысли. Трактирщик вполне проникся объяснением и сочувственно покивал. Надо было иметь вместо сердца камень, чтобы вид Анжело не вызвал сочувствия.

- Да вы можете хоть у самих братьев Пинсон расспросить. Они – люди открытые, заноситься не будут.

Подзи хотел было спросить, не в доме ли с вазами живут Пинсоны, да вовремя себя осек.

- Итак, чем я могу быть вам полезен? – Винсенте Яньес едва ли не веселился. «Венецианские козни» разрастались; мрачный красавец Анжело и пройдоха-толмач явно имеют к ним прямое каса...

- Мы – венецианцы, и разыскиваем нашу соотечественницу. Хозяин постоялого двора «Большой лев», где останавливалась мона Алессандрина, посоветовал обратиться к вам.

- Понимаю. Должен вам сказать, обстоятельства сложились так, что я до известной степени представляю интересы этой дамы. И потому не могу не спросить, почему вы ее разыскиваете?

- Дон Анжело в нее влюблен. – Без затей объяснил Подзи.

- Понимаю... – снова протянул Винсенте Яньес.

У этих, кажется, намерения честные. Но – неуместные.

- Как бы там ни было, я бы вам советовал дождаться вашу донну Алессандрину здесь, в Палосе, пока она вернется из короткой поездки в столицу. По дороге вы ее уже не нагоните – а там город – не чета нашему, гранда кастильского не сыщешь, не то, что простую путешественницу.

- Вы могли бы сказать нам, с чем связана ее поездка?

- Да, конечно. Она предложила нам очень выгодное дело, но под него нужны поначалу большие займы. Поскольку у нее есть гарантийные письма от венецианских банков – то ей и договариваться о займах с местными банкирами. Затем она и поехала. А наш племянник Ариас ее сопровождает. Он надежный и благовоспитанный молодой человек, хоть и простых кровей, за даму вы можете быть спокойны.

- И что, они не решили заранее, где остановятся? – вступил в беседу Анжело. Голос его был нетверд.

- Нет. Возможно, у дальних наших родственников, если у тех не будет других гостей, а, возможно, в одной из городских гостиниц. В столице немало отличных гостиниц, самые знатные не брезгуют в них останавливаться.

- Хорошо, а в чем заключается суть выгодного дела?

- Это мы и донна Алессандрина пока что уговорились держать в тайне, уж простите. Я верю, что вы всей душой болеете о ее пользе, но нарушить уговор я не могу.

- А я ему - не верю.

После разговора с Пинсоном Анжело почему-то воодушевился, в глазах появился блеск. До этого он ходил понурившись, теперь вскинул голову, и пятерней отбросил назад мешающие локоны. – Я ему не верю, милый мой Витторио, он не договаривает.

- Почему вы решили? Это обычная осторожность негоцианта, который боится потерять сделку.

- Он больше похож на разбойника, чем на негоцианта.

- Он мореход.

- Вот-вот. Морской разбойник.

- Вы, право, преувеличиваете. Должно быть, он сурового нрава. Мона Алессандрина, очевидно, предложила ему плыть капитаном в Индии. Пообещала большое вознаграждение. Конечно, он опасается, что ему могут помешать.

- Ладно. Как бы там ни было, я ему не верю. И завтра – нет, сей же час! - мы отправимся по здешней единственной Севильской дороге, расспрашивая во всех корчмах, не проезжала ли мимо женщина в сопровождении молодого человека и пятерых слуг.

Ариас, сын покойного Мартина Алонсо, уже не был зеленым юнцом. Но он не торопился с женитьбой. Да и невесты, сказать по правде, не было на примете: к рыбачкам его уже не тянуло – но кто еще за него пойдет? Даже в самой захудалой дворянской дочке гордости столько, что хоть до стропил дверь проруби – все треснется лбом в притолоку, и до гробовой доски будет попрекать низким происхождением.

Потому раз в неделю Ариас навещал одну вдовую рыбачку, которая была рада и беседе, и подарку, и ласке – с чем ни зайди.

От дробной рыси мулов с непривычки побаливала голова. Давненько он не ездил посуху. А венецианка ничего, держится.

Он искоса посматривал на нее; прикидывал. Уже не раз ловил себя на том, что порученное ему дело и исполнение оного занимают его мысли куда больше, чем ее прелести, умело скрытые дорожным шерстяным платьем и широким тяжелым плащом черного, дивной плотности сукна. Ее лицо также умело скрывало чувства – и казалось нежной равнодушной маской.

Ариас с чистой совестью мог бы назвать ее красавицей. Будь она дочерью кормчего или парусного мастера – он бы, пожалуй, попел ей романсеро, и попросил ее руки. Он не видел ее рук без перчаток, но представлял их легкими и сильными – чтобы крепко держать кривой рыбный нож, в охотку месить тесто, запросто поднимать к груди дитя... Пустые мечты, трижды пустые, да только чем еще заняться в дороге? И он продолжал воображать себе, что, может, она и взаправду дочь какого ни на есть мастера – стекольных, допустим, дел. Просто повстречалась однажды в узком переулке со знатным господином, и выказала при той встрече не обычные тщеславие и корысть, а ум и учтивость. Было же, раз, говорили, такое, что королевский племянник влюбился в дочку иноземного купца, и просил ее руки, да та отказала.

Он пристальнее вгляделся в ее лицо: красива, слов нет, красива. И не дура, хотя доверчива. Он поймал себя на том, что испытывает к ней как бы отдаленную, но явственную приязнь, даже жалость. Ну и что же с того? Приязнь делу не помешает, даже напротив – развеет последние ее подозрения, ежели они у нее есть. И жалость - достойное христианина

чувство.

Они ехали вдоль широкого устья медлительной Рио Тинто, чьи темные воды казались густейшим маслом, умеряющим дыхание еще близкого моря. Изредка воды проносили мимо берега сушнину, или островки свалявшегося за зиму в колтун тростника. Птиц было не слышно, хотя непогоды не ждали: пепельная рябь облаков стояла так высоко, что, думалось, ангелы, шествуя по ней, пригибаются, дабы не задеть макушками свод небесный.

Серая щетинистая трава ершилась по обочинам тракта, опутывая гальку терпкой паклей своих корешков.

В этой безрадостной округе, еще полной следов недавней зимы, Алессандрине чудилось нечто знакомое; тревожно-знакомое; пугающе-знакомое. Взгляд ее скользил, не находя отдохновения, вдоль окоема – вдоль изгорбистой гряды дальних холмов, и низких уже там, вдали, облачных подбрюший.

Торнадо. Почему-то она искала взглядом туманный очерк ветряного столпа, как будто ей не было довольно того, что торнадо снизошел на нее в сновидении.

Ей только бурь сейчас недоставало.

Братья убедили ее нанять второй корабль, и толковать с банкирами теперь надо было не «для порядку», а всерьез. Это требовало сосредоточенности, ясности мыслей и истовой веры в свою правоту. Вернее, в свою ложь: вхожим в королевские покои банкирам, в отличие от грубоватых, но сердечных мореходов, незачем знать ее цель.

Через час пути дорога свернула от реки и увела на пологий холм – с него, если оглядываться, дальше и дальше видна была упругая плоскость моря – но впереди вершина все еще загораживала обзор, как будто прирастала с каждым шагом мулов. А когда, наконец, мулы подмяли ее под копыта – открылась холмистая местность, почти сплошь застланная лоскульями наделов, точно обшитыми вечнозеленым кустарником. Где-то на пределе видимости облачный покров истончался, прорывался – и нежные солнечные пятна скользили по полям, то почти совсем угасая на пашне, то золотя стерню, то окутывая сиянием зелень озимых.

Банкиры... Ей случалось беседовать с иными из них в Венеции – манерой держаться и златотканой роскошью одеяний они не отличались от вельмож. Анжело, такой, каков он есть, мог бы быть и сыном банкира. Как там говорил незабвенный мессер Федерико? – кастильцы – ценители церемоний? Половина их банкиров, как говорят, мараны, другая – из генуэзцев? Мараны, по слухам, надменны, генуэзцы могут отказать из давнего соперничества с Венецией. Еще, говорят, есть флорентийские торговые дома – но их обороты скромнее. Пинсоны, впрочем, называли ей имена – поровну, кастильские и генуэзские. Полный их перечень – в суме у Ариаса.

Она встретилась с ним глазами, выждала, отвела взгляд.

Он уже давно на нее поглядывает. Чтож. Тем лучше. Если мужчина не станет возлюбленным – завоюй его дружбу. Или хотя бы привлеки его любопытство. Надо думать, в ее обстоятельствах дружба Ариаса Пинсона стоила бы усилий.

- А вы, сеньор Ариас, в детстве мечтали дойти до Индий?

- В детстве я мечтал удостоиться посвящения в рыцари. – улыбнулся Ариас. – Я слышал, это возможно для незнатного человека, если проявить чудеса храбрости. Но меня с малолетства приучали к морю. И вот приучили – теперь даже по суше ездить как-то неловко, больно все твердое и пыльное.

- А меня в детстве учили чертить карты. Один родственник, очень дальний, которого я, впрочем, называла дедушкой – за неимением родных дедов. Под его присмотром я рисовала правильно, а стоило ему меня оставить, как начинала сама выдумывать земли, страны и города. И даже сочиняла про них целые истории, в духе греческих и древнеримских...

Ариас старался не подавать виду, что смущен: в греческих и древнеримских историях он был не силен.

- А вот о чем я мечтала, не могу припомнить толком...

- Должно быть, о прекрасном рыцаре, как все благородные донны?

- Должно быть.

Сейчас бы самое время спросить про ее мужа, но Ариас боялся, что она начнет врать, ему придется поддакивать, и беседа будет испорчена.

- Где вы так хорошо изучили кастильский?

- Это была прихоть моей матушки. Она не скупилась на учителей. Во Флоренции среди нобиле это обычное дело.

Да-да. Кортезана, которая болтает на пяти языках и почитывает классиков, продается куда как дороже. Так что матушка ее безбедно жила бы на дочерние деньги в старости.

Не мытьем, так катаньем матушка своего добилась. Зря только она привадила к дому Анжело. Анжело, который немного похож на Эрколино…

Странно - когда она собралась в Кастилию, матушка не подняла крика. Старость ли уже подступила, или в глазах дочери она углядела силу, ей самой неведомую – она сказала лишь «Твоя воля – ведь он тебе супруг...» и тихонько, словно стыдясь, заплакала. Алессандрина пыталась ее утешить, но толком не утешила, потому что мыслями была уже далеко. Матушка так и простилась с ней – утирая слезы вышитой кромкой рукава.

А вот Анжело стал едва ли не жалок. Вот только в ней не стало жалости, словно торнадо вымел из души и сердца всю нежность и слабость, ее порождающие.

Осталось только одно властное стремление. Должно быть, так бывает у мужчин - во всяком случае, таков был Карлос - лишь превосходящая воля могла его остановить. Будь таковым Анжело, он бы помчался за ней вдогон. Но он совсем иной - честолюбивый, да, настойчивый, пожалуй, даже дерзкий - готов жениться на ней против родительской воли.

Но надо же ему настолько ее не знать, чтобы умолять о дозволении отправиться с ней!

- Стало быть, вы всерьез мечтали о рыцарстве?

Ариас смущенно усмехнулся, смолчал.

- Сейчас-то вы, получается, у меня в рыцарях, серьор, то есть, простите, дон Ариас. По крайней мере, на две ближайших недели. И надлежит вам меня развлекать, утешать и при возможности баловать. Согласны?

- Не только что на две недели, но до скончания дней своих, владычица моего сердца, - подхватил шутку Ариас с несовсем-то шуточным жаром. Вот он воображал, что будто она ему ровня – так и вышло, пусть понарошку, однако все равно лестно и волнительно.

Этой игре они и предавались до самого вечера, безобидно дурачась, пересказывая истории, а порой и насмешничая над встречными путниками или особо несуразными вывесками придорожных харчевен.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ,
В КОТОРЫЙ МОНА АЛЕССАНДРИНА ОТКРЫВАЕТ, ЧТО МУЖ НЕ БЫЛ ЕЙ ВЕРЕН.

Желтая, плотно убитая дорога в какой уже раз взбежала на холм.

Солнце любовно позолотило пока еще далекие башни, облекло сиянием стены – город лежал на равнине дымчатой мозаикой, неравно рассеченный блестящим изгибом реки.

Ариас глянул из-под руки на вечернюю столицу.

- Хорошо было бы нам поспеть к вечерне, моя донна.

- И я так полагаю, благородный Ариас, осталось только спросить мулов.

Они рассмеялись, и тронулись вниз ходкой рысью – такой ходкой, что остаток пути показался кратким, как во сне. Охнуло эхо под сводом ворот – и город налег со всех сторон пестрой тесногой, гомоном и сытными запахами подриды и жаркого. Вечерняя тень уже залегла в переулках, однако мелькающие в прогалах меж кровлями колокольни все еще не утратили солнечной позолоты.

Ариасу не раз случалось бывать в столице, и он начал рассказывать своей донне о здешних чудесах и достопримечательностях. Она слушала, не слыша – от волнения у нее

стеснилось дыхание – как если ее ждут там, в белокаменном кастильо, или в том старом мавританском доме; и не в черное – а в белое или алое облачен человек, которого она зовет мужем. Говорок Ариаса значил не больше стука копыт, стрекота случайной цикады, скрипа точильного колеса – тех звуков, что улавливаются ухом, но не тревожат души.

Ариас, впрочем, этого не замечал. Он тоже волновался – по своим причинам. И словоохотливостью пытался унять это волнение, чтобы нечаянно не выдать себя. Так, болтая, он сопроводил – а вернее, привел Алессандрину в одну из луших гостиниц, где цены на комнаты вызывали у него одновременно изумление и презрение.

Но при первых ударах зовущих к вечерне колоколов она словно бы очнулась, и высказала желание отстоять службу в какой-то маленькой церкви, о которой он ни малейшего представления не имел. Его смущение по этом поводу она великодушно развеяла – она, де, знает, куда ехать.

О, она знала, куда ехать. Их путь лежал в тот опасно тихий квартал, где селилась высокороднейшая знать. Ариасу даже казалось, что альгвасилов тут вдвое больше, чем в соседнем торговом квартале – наверное, действительно лишь казалось, из-за царящей на улицах пустоты. Однако в небольшую церковь, стоящую чуть на отшибе, неподалеку от какой-то площади, тянулись прихожане, судя по опрятной, но простой одежде – слуги здешних господ.

Церковь была не из тех, что внушают страх божий. Невысокие своды свежо белели обновленной резьбой, раскрашенные статуи Девы Марии и Иакова Компостельского привечали входящего улыбкой, точно добрые хозяева, а мраморный ангел над несколькими надгробиями, высеченный с невиданной тонкостью и искусством, окутанный мерцанием и тенями, казалось, вот-вот распахнет крыла...

Передние скамьи были все заняты, и Ариас с Алессандриной остались сзади, в теплой полутьме. Она молилась беззвучно, только шевелила губами – и не отводила взгляда от ангела над могилами, как будто ее молитвы были обращены к нему.

Прозвучало последнее «амен», ласково отозвалось эхо, кругом захлопали скамьями. Алессандрина тоже поднялась и медленно, словно с опаской, двинулась к могилам. Невольно задержав дыхание, Ариас направился за ней.

Опорой ангелу служило стреднее из трех близко стоящих надгробий; его крыла осеняли изголовье знатного дворянина – Ариас рассмотрел орденский знак св. Иакова и шпоры. Эпитафии не было, просто надпись – «Памяти его светлости дона Карлоса д’Агилар, маркиза Морелла». Справа и слева покоились две дамы – одна носила то же имя, другая же звалась...

«...донна Маргарет Брум, да покоится с миром».

Да покоится с миром.

Да покоится с миром.

В висках стоял тончайший звон. Все вокруг обрело пугающую отчетливость и однозначность. Те, что позаботились о ее погребении, ни о чем не забыли: пределы ее злосчастной жизни были обозначены до дня. И судя по этим датам, опираясь на эти несгибаемые трости римской цифири, она была здесь тогда, именно тогда, когда донна Алессандрина Адзанте д’Эльяно-и-Агилар, маркиза Морелла, изнывала от тоски и слала одного за другим голубей!

«Стало быть, вот оно как...»

Алессандрина легко и сильно втянула ноздрями загустелый от ладана, свечного жара и людского дыхания воздух.

Англичанка сбежала от мужа, который не был ей мужем. Карлос не мог не сделать ее своей любовницей – хотя бы из мести, из недоброго торжества. И если в жизни Маргарет хоть малость напоминала свою статую, то – о, да! – она, Алессандрина, против воли разделяет это торжество.

Что дальше?

Дальше об этом торжестве узнал весь город. Как весь город знал о золоте Ла Фермозы.

И очень вскоре вести донеслись до ея высочества Исабель Кастильской. И той стало невмоготу...

Столь невмоготу, что, верно, однажды ее человек под видом торговца сластями или притираниями подольстился к Маргарет, и... Если христианнейшая королева способна ворожить с подобием, то опоить соперницу для нее пустяк. А уж обвинить, опорочить, оклеветать... Что Карлос говорил, когда спешно отсылал ее из Кастилии? «...Полагаю, что это дело рук дона Фернандо, который оказался слишком догадлив…». Похоже, он ошибался. Дон Фернандо, может, и досадовал на племянника. Но ту стрелу направила другая рука.

А для самого Карлоса донна Исабель измыслила наказание худшее, чем смерть.

«Стало быть, вот оно как. - Ариас перевел дух, отер взмокший лоб. - Хорошенькое дело – прийти на могилу любимого мужа (пусть она и пустая) и обнаружить возле него целых двух зазнобушек. Даром, что обе – покойницы. Оно даже, пожалуй, и обиднее – улеглись под бока, законной супруге места не оставили. Одна, впрочем, кажется – родня, или прежняя баговерная, а вот вторая-то с какой радости рядом? У нее даже имя не кастильское.

Бедная донна Алессандрина, стоит, как будто сама каменная – вот-вот подернутся белизной складки одеяния, руки, склоненное, как будто смуглое в тени лицо. Торопилась, волновалась, надеялась – нате... Вот ведь ловкач этот дон Карлос-как-его-там-Агилар, Карлос-Орел. Не от сударушек ли своих он в плавание утек? Или, может, он двоеженец? Или ему грозила местью родня? Как бы там ни было, а врал он Алессандрине, надо думать, по-черному. Что же теперь с ней будет, господи-помилуй?»

И когда Алессандрина с непроницаемым лицом отвернулась, наконец, от могил, Ариас протянул ей руку – уверенно и сочувственно, ощущая себя единственным ее заступником.

Значит, Карлос д’Агилар, маркиз Морелла. Завтра надо будет навестить знакомых и между делом поспрошать об этом сеньоре.

- Да не огорчайтесь вы, все равно бы мы их не догнали, видите, незадача какая...

Анжело и Витторио действительно в пути не везло. В Палосе нашлись только мулы; на двух постоялых дворах кони были, но их придерживали для воинов святой Эрмандады. А теперь и городские ворота захлопнулись прямо у них перед носом, вынуждая их ночевать в набитой такими же неудачниками привратной корчме.

- Не огорчайтесь, сейчас подкрепимся, выпьем по чарочке, послушаем, что люди говорят – так и скоротаем ночь. А завтра примемся за поиски.

Анжело молчал. Его душевный подъем сменился холодным напором – мысленно он тоже был готов пуститься хоть в Индии – лишь бы вернуть прежнюю ее привязанность; при этом его донимали опасения. Алессандрина собралась занимать большие деньги. Ариас Пинсон может запросто ее ограбить. А поскольку она в Кастилии тайно, в нарушение предписания – она не сможет даже обратиться за помощью к альгвасилам. Даже в посольство обращаться затруднительно. Только он, Анжело, и сможет ей помочь. Если сумеет ее разыскать. Если сумеет. Уже глубокая ночь, а из-за городской стены несется глухой бессонный гул – сколько же всего насельников в этом кастильском Вавилоне, что одних только его ночных гуляк слышно в предместьях?

Он постарался узреть ее мысленно – в наемных комнатах, усталую, отходящую ко сну – но образ не давался, ускользал, и начинало казаться, что обрести ее вновь – невозможно. При мысли об этом холодела спина, и в голове звенела легкая пустота – но снова и снова он подводил себя к этому ужасу, словно пытался к нему привыкнуть.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ,
В КОТОРЫЙ АРИАС ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДАТЕЛЕМ, КАК БЫ ОН НИ СТАРАЛСЯ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ.

Солнце било сквозь круглые стекляшки окна, разбрасывало блики по резному дереву

стен, пятнало разложенное по лавкам платье, норовило дотянуться теплым поцелуем до сонных глаз, озоровало.

Стало быть, уже позднее утро, если не день. Надо бы подыматься, звать гостиничную служанку и приступать к делам. Но она продолжала размышлять над увиденным вчера, и, хотя поступок мужа казался ей объяснимым, понятным – и простительным, на душе было тяжело, и ей все отчетливее представлялось, что не поддайся он соблазну – с ним не случилось бы этой беды. Измена – что измена? Она могла бы о ней и не узнать. Оплошность его, опрометчивость – вот что ее угнетало. Сам же он предостерегал ее от королевского гнева, отсылал прочь – и сам же угодил в эту ловушку. Кровь пересилила и подчинила разум.

Впрочем, разве не за это она его любит?

Она покачала головой, сама себе возражая. Нет, не за это. Именно что за горький и острый ум...

Полно. За внятные достоинства любят только лошадей и собак. Он сделал то, что сделал, это ее разочаровало, однако и в этом поступке – тоже он, никто другой. Тоже он – никто другой... Да. А вот каков он?

Не сочинила ли она его по большей части – себе в оправдание и утешение?

Смешно сказать – двенадцать дней длилось их знакомство, из них три она была у него в любовницах, за время разлуки успела написать четыре письмеца. Воистину, история, достойная новеллы. Но и только. А речь, меж тем, о жизни.

«Каков ты? Ведь ты, похоже, скорее слаб, чем силен. Вернее – твоя сила в твоих страстях, но сколько может гореть страсть? Не так уж долго. А едва отгорит – не начнешь ли ты искать повода для новой страсти? И поводом этим станет другая, не так ли? Как это, собственно, и случилось. И точно также было бы в Венеции, надо думать. Венеция славится своими дамами и своими нравами.

Так что весьма скоро ты стал бы со мной безразлично-учтив; и потакал бы моим капризам (а я бы, надо думать, понесла, и у меня были бы капризы), с трудом сдерживая нетерпение. А вечерами исчезал бы, отговариваясь – да, вот над отговорками тебе пришлось бы поломать голову, ведь никаких «дел» поначалу в Венеции у тебя быть не могло бы – а может, ты уходил бы и без отговорок, полагаясь на мою снисходительность и понимание мужской природы – кортезане не пристала ревность, ведь правда?

Или я снова тебя выдумываю, чтобы выдумкой оттянуть горечь из души, как опытный повар оттягивает горечь из передержанных маринадов? Я предположила, что ты едва ли не рад был броситься в объятия этой своей Маргариты – но если все было не так? И, полно, было ли вообще? Надгробия возведены чужой волей. И я поддалась чужой воле, подумала о тебе дурно. Прости.

Когда я найду тебя, я приложу все силы, чтобы тебя узнать. Каким бы ты ни оказался. Между нами не должно быть умолчаний. Мы слишком долго ждали, чтобы омрачать ими нашу встречу.»

Она хоть сколько-то поспала, а Ариас вовсе не спал. С запоздалым раскаянием он понял, что слишком далеко зашел в своей рыцарской игре, слишком в нее поверил, и едва ли теперь сможет исполнить то, что ему поручено.

Где там! Он вспоминал вчерашнее, стискивая зубы от злости, ему хотелось разбить бесстыжие белые статуи – они втроем точно насмехались над ней! Он встал до света, подкрепился у себя остатками дорожных припасов, и отправился к заутрене, уповая на вразумление господне.

Перед этим он все-таки попросил сонного хозяина гостиницы присмотреть за постоялицей – долг перед дядьями взывал к исполнению. Но все равно, думал он, все равно, последнее слово за мной. Так ведь и написали в письме дону Гервасио де Галеда, земляку-палосцу, выбившемуся нынче в дознаватели при коррехидории: «...будя племянник наш Ариас найдет ее поведение вполне подозрительным, он самолично к вам явится и о том

доложит».

Его влекло в ту же самую церковь, и он рассудил поддаться влечению.

Заутреня была малолюдной; и также как вчера, едва отзвучало последнее «амен», он пошел к надгробиям. Но его опередили. Женщина, не старая, не понять, сколько ей лет, про таких, как про цветы, говорят - увяла, встала у самых могил, также как вчера Алессандрина. Он готов был биться об заклад – она немало знала о покойниках. И Ариас решился:

- Почтенная сеньора, прошу прощения за дерзость... Мое имя Ариас Пинсон, я мореход из Палоса. Я, видите ли, приезжий, в храм этот забрел случайно, и был поражен красотой этих надгробий. Увы, имена погребенных ничего мне не говорят. Не могли бы вы, если у вас найдется время и желание, рассеять мое любопытство, и хотя бы в двух словах рассказать мне, кто были эти люди?

- Мне это не трудно, - чуть медлительно отозвалась женщина, - если вам угодно послушать, выйдемте в церковный садик. Только должна вам сказать, история эта длинна и печальна.

- Раз уж я осмелился спросить, я выслушаю любой ответ, почтенная сеньора.

- Мое имя Санча Альварез, сеньора Санча... У вас, у морехода, и вправду острый глаз: не иначе вы по моему лицу прочли, что мне многое известно об этих людях.

Ариас усмехнулся, и предложил Санче руку – не как Алессандрине, почти по-хозяйски.

- Я, видите ли, служу в кастильо Агилар. Сейчас дом принадлежит кастильской короне, и вот я в нем экономкой, горничной и чуть ли не дворецким, потому что всех слуг – я, да старый привратник... А поступила я на службу, еще когда дон Карлос был жив; к нему приехала кузина его покойной жены, разделить его скорбь... – тут Санча улыбнулась как-то очень горько, - и он взял меня к ней в камерэры. Дон Карлос, что бы о нем не говорили, был настоящий кабальеро, умел угодить даме ненавязчиво.

- А что же о нем говорили? Завистливые языки, надо полагать...

- Ох, синьор Ариас, не совсем-то так...

Рассказ Санчи, словно река, тек, переплетаясь струями стронних дру другу историй, дробя отражения лиц и личин на бурных порогах судьбы, замирая глубокими омутами печали. Санча была прирожденной рассказчицей: ведя повествование, казалось бы, без порядка, постоянно к чему-то возвращаясь, отступая от главного, поправляясь, она так захватила внимание Ариаса, что он порой забывал вздохнуть, и приходит в себя от сердцебиения...

Последние слова заставили его вскочить с каменной скамьи:

- Как? Вы говорите, дон Карлос был посмертно оправдан?

- Да. Ее высочество усомнилась во всех доказательствах его вины. И сочла его смерть в узилище знаком божьим... Он был оправдан, и захоронен тихо, но с честью. Только что гроба не открывали – говорили, умер он от удара, и лицо было сильно перекошено. А он при жизни был очень хорош собой.

Ариас едва нашел в себе силы поблагодарить рассказчицу. По садовой дорожке он еще прошел развалистым моряцким шагом, но едва ступил за калитку – бросился бежать бегом, едва не сшибая прохожих.

«Господи, он был оправдан!

Значит, она - никакая не лазутчица, она – верная супруга, истинная дама, ей нечего опасаться, но все равно надо как можно быстрее разыскать дона де Галеда, чтобы снять с нее последние подозрения. А коли все так – ей могут дозволить плавание в Индии, ее договор с ними, Пинсонами, вступит в силу, и они поведут каравеллы через Океан, наконец-то, без спесивого Адмирала, не в туманную неизвестность, а прямо в Катай! Не сейчас ли прямо разыскать де Галеда? Или лучше сперва к ней? Для нее весть об оправдании будет, как ангельское послание...»

В спешке он малость заплутал, и вышел к гостинице совсем с другой стороны. Уже близился полдень, самое суетное время, но на дворе, да и в общей зале было до странности

тихо. Хозяин - удивительно, обычно его было не доискаться - подпирал косяк. Руки он сложил на животе, глаза его неуверенно бегали, как будто он готовился соврать - любому, кто ни войди, о чем угодно, что ни спроси.

- Донна Алессандрина у себя?

- Нет. – Медлительно отозвался хозяин - точно, как будто и вправду придумывал ложь послаще.

- Она не говорила, куда собирается отлучиться?

- За ней, достопочтенный сеньор Пинсон, явились альгвасилы. И искать ее теперь, я думаю, надо в коррехидории. Вместе с ее слугами. Они, дурачки, еще пытались сопротивляться.

Он ощутил толчок тошноты. А миг спустя накатил страх. Значит, их предварительному письму придали такую важность, что не пожелали дожидаться подтвержения. Значит, тайна пути в Индии столь драгоценна, что и малейшее посягательство на нее пресекается даже не по слову - по намеку. И правда, не за то ли пострадал ее муж? А теперь – она? Что же делать?

Он поднялся в ее комнаты. Вещи почти все забрали – конечно, доблестные альгвасилы найдут, кому подарить хорошие платья. У них всегда почему-то большие семьи. Оставшееся было раскидано, что из одежды – разодрано по швам: видать, искали тайных посланий.

Что же делать?

Угоди она к разбойникам-компрачос, к богатому сластолюбцу, даже к алжирским пиратам – Ариас выручил бы ее непременно. У него и рука не дрогнет в бою, и язык для торга за выкуп хорошо подвешен. Но при одной мысли о коррехидории, о цепких зрачках тамошних служак, кишки скручивалсь в дрожащий ком, за грудиной как будто сквозило холодом, а голова шла кругом, точно он с неделю не ел. Всего лишь раз коснулось их семьи высочайшее неблаговоление – и до конца жизни вселило в них ужас. Он, прошедший такие бури, что у любого здешнего альгвасила волосы станут дыбом, видавший даже неистовый ветряной столп – торнадо – не может сейчас встать, пойти к дону Гервасио (он же земляк, почти родной человек! С детства страдал морской болезнью, почему на сухопутную службу и подался) и сказать все, что знает? Он ведь может сослаться на сеньору Альварез!

Только ведь приди он туда, и начни говорить – подумают еще, что неспроста он ее защищает. Этого одного довольно, чтобы там, в коррехидории и остаться...

У дверей раздался стук.

- Сеньор Ариас, вас спрашивают. Двое сеньоров, из Венеции.

Дон Гервасио де Галеда был человеком отнюдь незлым. Но за годы службы он вполне овладел умением скреплять сердце. Впрочем, упражняться в этом ему пришлось с младых ногтей - когда он начинал блевать, точно проклятый, стоило баркасу выйти в море. Сперва его пытались исцелить морской водой, потом водили по ведьмам, потом заказывали молебны: он в семье был единственный сын, и - вот горе! - совсем негоден к морскому делу. Потом ученый брат из Рабиды догадался спросить у его матери, не рыгал ли Гервасио младенцем в зыбке, когда его укачивали. Рыгал, рыгал, подтвердила матушка, уж сколько я ромашки на него извела. И ученый брат объяснил - что, стало быть, укачивает его с рождения, и о море ему помышлять не след, одна мука будет, никакого толку. Потому по здравом размышлении Гервасио отдали в ту же Рабиду учиться грамоте: либо пойдет в монахи, либо по мирской службе, но все себя прокормит не хуже, чем на море. А то и сытней.

Но море он любил. И тосковал по нему в сухопутной столице. Даже иногда ездил на пристань - полюбоваться на корабли. Хотя свободный часок выдавался у него все реже и реже: он был из тех, кто глушит тоску трудами, и его начальники, подметив за ним такую привычку, поручений ему давали порой сверх меры.

Весть из Палоса взволновала его куда более, чем ему поначалу показалось. Хотя он и скрепил сердце, мысли о лазутчице, ее таинственном супруге и плавании в Индии никак не шли из головы - и скоро ему вспомнилась одна трехлетней давности история. Тогда, из-за

прежней малой его должности, она прошла мимо него. Но об этом столько говорили, что он поневоле знал подробности, хотя обычно в те дознания, что напрямую его не касались, старался не вникать.

Поэтому сейчас он не поленился извлечь дело из архива - с большими, надо сказать, затруднениями: архивариус, крыса скрипучая, с полчаса выдумывал отговорки. Добыв, наконец, кипу бумаг и свитков, разложив их по порядку и проглядев, он понял, почему был несговорчив архивариус: дело касалось человека королевской крови. Закрывало его посмертное оправдание «за недостатком улик» - и очень было похоже, что родовитого изменника прикончили в тюрьме тишком – недаром же и прежний коррехидор, дон Ксавьер, сразу после того подал в отставку. Таким образом, с этой стороны дело обещало быть опасным и скользким, могло как возвысить его, Гервасио, так и погубить. С другой стороны, на венецейскую гражданку Алессандрину еще тогда были возведены тяжкие обвинения - и не сняты, а нынче она напрямую нарушает последний королевский указ о регламентировании плаваний в заморские владения. Значит, его долг - по меньшей мере ее задержать, раз она посмела сюда явиться. А если говорить о полной мере, то следует доложить коррехидору - с тем, чтобы дошло до их Высочеств. И еще одно: молодой Ариас Пинсон хоть и не пришел к нему «подтвердить подозрения», заслуживает поощрения. Его непременно надо упомянуть в докладе, и послать ему денег - то, что причитается за доношение, само собой, и еще от себя. Все-таки он земляк.

- Клянусь вам, сеньоры, я не знаю, почему это случилось! Я сам в растерянности! - Ариас чувствовал, что громкая речь и взмахи руками не добавляют его словам достоверности - но, единожды взяв тон оскорбленной добродетели, сменить его не мог.

Красивый венецианец Анжело молча глядел на него ледяными синими глазами из-под сведенных бровей, и держал руку на эфесе, а толмач Витторио улыбался - очень нехорошо улыбался - когда задавал свои, невинные, как кажется, вопросы - а где они с Алессандриной успели побывать? А почему он остановился именно в этой гостинице, а не у родни? А поче...

В дверь стукнули.

- Не беспокойте нас, пожалуйста! - крикнул было Ариас...

- Сеньоры, тут минутное дело. -На пороге стоял альгвасил. - Кто из вас дон Ариас Пинсон, мореход из Палоса? Дон Гервасио, дознаватель коррехидории, с почтением просит вас принять вот это. - И он сильным взмахом протянул ему звякнувший замшевый кошель.

У Ариаса подогнулись ноги, глаза застлало пеленой. Он отшатнулся - сам не понимая - от иудиных денег или от неподвижного Анжело, который, помни**и**лось, сейчас его прикончит.

- Ну, я, вижу, не вовремя. Не причиняют ли вам беспокойства эти сеньоры, дон Ариас?

Тот только замотал головой.

- Тогда я, с вашего позволения, вот здесь оставлю. Простите великодушно, что не вовремя. - Альгвасил с поклоном удалился, оставив кошель - и поистине ужасающее молчание.

Анжело медленно усмехнулся.

- У нас, в Венеции, доносчикам живется куда тяжелее, милостивый дон Ариас. Из-за своих сребреников они неделями обивают канцелярские пороги. У вас же сбиры приносят награду на дом.

Ариас понял даже без перевода, столь же изысканного, сколь убийственного. Он только и мог, что бормотнуть:

- Я не доносил на нее... Это мои дядья.

- Теперь это уже все равно, не так ли?

- Напротив, это как раз важно. - Вступил Витторио. - если вы, дон Ариас, не доносчик, но были свидетелем того, как составлялся донос, вы сможете нам помочь. Мы сейчас же идем к послу Венецианской республики - и вам нужно припомнить все подробности доноса - с тем, чтобы, опровергнув его, посол мог добиться ее освобождения. Заставить вас мы, конечно, не

можем. Но мы, как кажется, вправе рассчитывать на вашу совесть. Не так ли?

Наставшее вслед за этим молчание уже не ужасало.

Ариас кивнул - говорить боялся: в горле стоял комок, и голос бы скорее всего дрожал.

Семь шагов на семь, жидкий свет из окошка под самыми сводами плещется в лужах на щербатом полу. Ни топчана, ни скамьи - широкая каменная ступень, даже не застланная соломой. Хорошо, что обошлось без железа. А ведь не всегда, должно быть, обходится - вон кольца в стене.

Вот, поди, почему плакала матушка, только признаться в дурном предчувствии побоялась. Вспомнился брезгливый взгляд того кастильца, что три года назад привез ей извещение королевской канцелярии о смерти Карлоса... Поди, он же поедет и с вестью о ее смерти. Только вот ее действительно обезглавят. И безутешный Анжело воздвигнет в ее память надгробие из каррарского мрамора - ведь новеллу уже не закажешь, не о чем. Разве если все переписать заново.

Стоило бы задуматься, кто ее выследил, кто узнал и донес? Хозяин венты в Палосе? Едва ли. Скорее, хозяин местной гостиницы. Не иначе, оказалось довольно ее имени и венецианского гражданства. А уж тут, в коррехидории, ее имя, должно быть, весьма хорошо известно.

Не пострадал бы Ариас. Если спросят про него - сказать, что попутчиками стали по случаю, не нарочно. Не поверят, конечно. Ничему не поверят. Даже скажи она правду. Сперва будут стращать, рвать с плеч платье, вязать к станку - но не тронут.

А ведь и Карлос... И его ведь могли... Она содрогнулась. Его руки - захлестнутые ремнем, отрешенное, все сильнее бледнеющее лицо. Она не спросила доктора Хенаро, не сообразила - а тот наверняка знал - про рубцы и следы ожогов. Хотя, может, он ей и не сказал бы.

Посол, мессер Никколо д’Адзо, принял их без проволочек, и историю их выслушал внимательно, ни разу не изменившись в лице.

- Дело непростое… - Протянул он, когда рассказчики окончательно выдохлись, перебрав все известные им подробности. – Дело весьма непростое. Я, видите ли, тоже был знаком с моной Алессандриной. И представлен дону Карлосу, ее мужу. Ему - потому что я, как секретарь посольства, начальствовал и над посольской голубятней, а у дона Карлоса было право по крайней мере один раз воспользоваться голубем – так распорядился мессер Федерико. И я не думаю, что такое разрешение было дано только и исключительно потому, что дон Карлос был супругом моны Алессандрины. Полагаю, он оказал Республике какие-то услуги, или, по крайней мере, собирался… Впрочем, это догадка. А вот что мне доподлинно известно – так то, что на допросах он сознался в злом умысле против дона Адмирала Кристобаля Колона. И соратницей своей объявил мону Алессандрину.

- Вот как… - прошептал Анжело. В нем пробудилась невольная радость – жестокая радость. И боль – что Алессандрину предают и предают.

- Мы как могли старались следить за ходом этого дела, хотя велось оно весьма келейно – ведь нас оно очень болезненно затрагивало: коррехидор даже беспокоил мессера Федерико. Но мессер Федерико сумел намекнуть ему, что мона Алессандрина… как бы это сказать… Не была под его началом. То, как она всегда держалась, нужно заметить, смело до дерзости, известным образом это подтверждало, и нас оставили в покое. Гм… Вот уж не думал, что эта история всплывет снова. Их высочества не слишком обрадуются напоминаниям о своем племяннике. Тут, мессеры, надо крепко подумать, чтобы ей невольно не навредить. Вы говорите, ее взяли сегодня? Значит, у нас есть еще два дня. В день ареста допросов не бывает, узника, как говорится, выдерживают в холодной… На следующий день только устрашение – процедура весьма неприятная, особенно для дамы – но неопасная для здоровья. И только на третий – допрос с пристрастием. За эти два дня я совершенно точно добьюсь приема по

крайней мере у коррехидора, и, если понадобится, у Ее высочества.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ,

В КОТОРЫЙ ДОН КАРЛОС ПРЕДАЕТСЯ БЕЗРАДОСТНЫМ РАЗДУМЬЯМ О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ.

- Ну вот, сеньор, все и готово!

Корабельный цирюльник Перон щегольским взмахом швырнул ножницы в тазик и сунул ему под нос оловянное зеркало.

Он отпрянул. Вгляделся. Едва совладал с желанием заслониться рукой.

Этого не могло быть. Просто не могло быть.

Как будто не было этих трех лет. Как будто Перон состриг их вместе с растрепанными лукайскими косичками, перевитыми красным и синим волокном - и эти года, эти беды упали ему под ноги. Зеркало вперилось в него тусклым зраком. Ну да, может, чуть больше седины. И еще этот тонкий шрам на виске - от удара Каонобо. Касик испытывал его смелость. Касик тогда остался доволен испытанием, и его лекари-ведуны залечили рану так, что след едва заметен.

Но все-таки - месяцы сырого зноя, кровососущая мошкара, многодневные переходы, скверная еда - едва обжаренная на огне, а то и вовсе сырая - неизвестные плоды, то сладкие до рвоты, то жгущие или вяжущие язык. И чтобы это вовсе на нем не отразилось?

Значит ли это, что он ни на йоту не искупил своих вин?

Или он просто крепче, чем думал?

Как бы там ни было...

Здесь, куда он возвращается, ни дел, ни владений, ни родни у него нет. Вернее, кое в ком течет родственная кровь, но он поостережется даже про себя об этом вспоминать - и помолится, чтобы те - не вспомнили.

Сколько же у него таких воспоминаний, которых хочется поостеречься! Скорбные, стыдные, слишком нежные, смягчающие сердце, когда ему должно быть твердым. Если вдуматься, так ни о чем, кроме самого далекого детства, не вспоминается безмятежно. Безмятежной и благодарной могла бы стать память об Алессандрине - если бы она осталась для него страстью двенадцати дней.

Что за бес попутал его венчаться? Нет. Какая сила овладела ими обоими, если она забыла о своей расчетливости, он - презрел свою набожность? Господи, его даже сейчас пробирала дрожь при одной только мысли о закоптелых сводах портовой церкви, о скороговорке священника, о ледяном кольце, которое будто само скользнуло из ее руки ему на палец..

И все стыло внутри, стоило вообразить, что он мог бы тогда шагнуть за ней на палубу. И где бы он был сейчас? Каков бы он был? «Алессандрина, почему ты тогда не сказала это свое «мне без тебя невмочь» - ведь у тебя дрожали в поцелуе губы, ведь знала, что будешь изводиться, едва расстанемся?

И ты была бы со мной, ты до сих пор была бы со мной».

Она ему даже не снилась. Он мечтал и страшился увидеть ее во сне.

А наяву?

...Наверняка она утешиласьс другим - графиня д’Эльяно-и-Агилар, вдовствующая маркиза Морелла (слуги, наверное, уже исказили звучание, превратили конечное «а» в «о» или «и»), знатная дама, выслуживавшая честь и богатство опасным ремеслом лазутчицы. А может, относив траур (ей наверняка сообщили о его смерти), она вышла замуж. Как он тогда посмеет явиться к ней - пусть даже с мольбой о прощении? Если только отправиться в Венецию тайно, украдкой подглядеть, в какую церковь она ходит, в каких домах гостит - и отливает ли по-прежнему золотом ее кожа? И носит ли она дареные им уборы?

Да, так он и сделает. Если только те, кто правит его судьбой, не распорядятся иначе.

- А вас не узнать, дон Карлос... - в голосе капитана Антонио де Торреса вроде как

послышалась лесть... Этого еще не хватало.

- Зато я слишком хорошо себя узнаю, дон Антонио. Не начать бы делать прежние глупости.

Капитан Антонио смутно представлял себе как былое, так и нынешнее положение этого угрюмца (дон Адмирал велел непременно - и тайно представить его донне Исабель, ее высочеству). Но нравом сей Карлос весьма и весьма непрост, и с ним следует быть обходительным. Не случайно же он один оставлся в живых из сорока насельников злосчастного форта Навидад - и не предательство сохранило ему жизнь: так, по крайней мере, сказали лукайцы - а они не лгут; если им надо что-либо скрыть, они просто промолчат – как промолчали о причинах смерти всех прочих поселенцев.

Человек, сумевший расположить к себе свирепого язычника Каонобо, может легко найти путь к сердцу христианнейших владык.

Эстафета с вестью о прибытии была выслана загодя еще из Кадикса, и на пристани их уже ожидали – с тем, чтобы Антонио де Торреса немедленно препроводить к Их высочествам – он едва успел уговориться с Карлосом, где того найти, будя владыки захотят его видеть. Тот назвал одну из дорогих городских гостиниц – ту, что стояла ближе всего к его былому дому…

Щедротами капитана Антонио у него были деньги на постой.

Их величества приняли и выслушали капитана милостиво, хотя привез он в основном посулы и просьбы – золота едва достало бы покрыть половину расходов. При известии о гибели насельников Навидад лицо королевы омрачила заметная тень, и когда доклад был кончен, она сама отозвала капитана для беседы.

- Так, стало быть, никто не спасся, дон Антонио, ни один человек?

- Один человек, Ваше высочество, избежал гибели…

Вот, стало быть, как. Она отпустила капитана, и стала прохаживаться по галерее, стараясь совладать с внезапной растерянностью. Ее подтвердившаяся правота – не зримая, а глубинная правота не радовала ее, скорее, пугала. Она спасала его от несправедливого приговора – и спасла; она желала, чтобы он искупил свои грехи – и потому услала его в Индии – так и вышло. Ей не в новинку было ощущать себя мечом в деснице господней; но тут почему-то казалось, что не Господь – она сама по собственному произволу распорядилась его судьбой. И ведь не только его. У него есть законная супруга, которая третий год считает себя вдовой. Или уже успела снова выйти замуж? – ведь, помнится, нрав у нее был легкий и предерзкий, она и с доном Фернандо готова была заигрывать.

«Что за жены достаются Карлосу? Неужто все еще действует та старая ворожба, неужто еще лежит на нем проклятие?

И когда его принять? Завтра? Нет, завтра доклад Торреса совету, и, значит, много суеты – а их ждет очень долгая беседа. Полезавтра будет в самый раз».

За могилами его матери и сына явно присматривали – как и за его собственной, где только осторожное «Памяти…» намекало, что могила пуста. И он невольно ощутил себя восставшим из нее призраком. Кто он, как не призрак, печальный и бессильный? Мысль эта даже не пугала: жизнь среди суевернейших лукайцев излечила его от всех предрассудков. Ну да. Словно призрак, он наведается в Венецию, и отлетит навек в какую-нибудь обитель – да хоть в ту же Рабиду, где три года назад он очнулся с тяжкой болью в голове, едва помня свое имя, и где провел томительные месяцы в полузаключении, полуубежище, пока его не препроводили на борт адмираловой каравеллы. Помнится, дня два он не был уверен, явь или сон – эти белые стены, шорох монашьих шагов и надсадный зов колокола семь, что ли, раз на дню. Потом отец-настоятель открыл ему правду, и он смиренно, как ему тогда думалось, принял эту новую жизнь в беззвестности и бесчестии. Только не смирение это было – а

равнодушие, как у тяжело больного, который позволяет делать с собой все, что угодно, ни на что не надеясь. Не настоятель вернул его к жизни – хотя ему он признателен за сердечность и терпение, а доктор Хенаро Торрес. Вот бы к кому он с превеликой радостью пошел в помощники. Но доктора, выкреста и безбожника, надо полагать, вышвырнули из Кастилии, как паршивого пса – где его теперь иска…

Сзади.

Кто-то уже некоторое время стоит сзади, едва дыша. Кое-чем он таки обязан эспаньольским дебрям и лукайцам – например, вот этим звериным чутьем: ему передалось даже напряжение незнакомца. Опасности, впрочем, он не ощущал. И потому неспеша обернулся, и по давней, вошедшей в кровь привычке к учтивости отвесил легкий поклон скромно одетой даме средних лет. Но она ему не ответила… Господи, да она просто онемела от ужаса, пепельно-бледна, вот-вот упадет. И лицо знакомое – ах, Санча. Нанятая некогда в служанки к покойнице Маргарет Санча Альварез.

Сказать, что она обозналась?

Он улыбнулся.

- Сеньора Санча, средь бела дня да в Божьем доме духи не являются. Я жив, также как и вы.

Он шагнул к ней, взял за руку и коснулся успокоительным поцелуем дрожащих пальцев.

Выслушав доклад дона Гервасио де Галеда, коррехидор уже не в первый раз подумал о том, что дону Гервасио бы родиться лет на пятнадцать раньше. Он бы как раз вошел в зрелый возраст, когда Ее высочество усмиряла дворянство – и бы был кстати со своей непреклонностью и дотошностью. Как и его предшественники, дона Гервасио он ценил, но придерживал. Подчас и изрядно придерживал. Повысил в должности, когда уже стыдно было не повышать – смешки по всей коррехидории пошли. И вот, стоило повысить – нате вам. Что бы ему сперва доложить об этой венецианской истории, а уж потом, если соглядатаи подтвердят подозрения – хватать девицу. Заодно прибрали бы к рукам и банкиров, кто согласился бы одолжить ей деньги.

Впрочем, по здравом рассуждении, дон Гервасио вполне прав: на ней тяжкие обвинения, к тому же, она была связана с особой королевской крови. Ни дона Гервасио, ни его, коррехидора, упрекнуть не в чем. А дальше есть два способа действовать: либо, как обычно в случае с лазутчиками, провести дознание с допросами ординарными и, будя потребуется, экстраординарными, либо доложить Их высочествам – а там уж как они прикажут. Последнее, как будто, было бы в таком деле предпочтительнее – но, если задуматься, опаснее: коррехидор, который спрашивает приказа по каждому поводу – негодный коррехидор. Их высочествам в любом случае важнее итог. И если итог дознания будет того стоить, они закроют глаза на многое.

Первый допрос – с устрашением – должен состояться сегодня. И смотря по тому, как он пройдет, надо будет добиваться приема у Их высочеств – или не надо будет…

В двери стукнул секретарь, и доложил, что посол Венецианской республики дон Никколо д’Адзи просит о срочном приеме.

Коррехидор едва не присвистнул – и подумал было отказать. Потом сообразил, что, во-первых, визит посла может и не быть связан с Алессандриной, и, во-вторых, если связан – то, получив отказ, посол будет добиваться приема сразу у Их высочеств – и, добившись, первым делом подаст жалобу. И потому велел просить сиятельного посла к себе немедля.

Мессер Никколо полагал свою задачу почти безнадежной. Не будь просителем молодой князь Анжело Скьяволи, не назови тот Алессандрину своей невестой, он бы скорее всего умыл руки.

Впрочем, то, что коррехидор согласился принять его сразу, показалось добрым знаком.

Мессер Никколо решил ставить на откровенность и свою – якобы – неосведомленность, а потому изображать возмущение. Конечно, коррехидор не дурак – но таким образом дело

упростится для них обоих.

И он с приличной случаю горячностью изложил коррехидору все, что думает по поводу задержания почтенной венецианской гражданки, которую в Кастилию, судя по всему, привели романтические переживания, а может быть – позволил себе мессер Никколо оскорбительный, но, по сути, спасительный намек – и помрачение рассудка. Чему косвенным доказательством служит то, что мона Алессандрина, безусловно зная о грозящем ей в Кастилии аресте, не оповестила о своем прибытии венецианское посольство, где ей, безусловно, оказали бы всяческую помощь.

Может оно и так, размышлял про себя коррехидор, может, и рассудок у нее помрачился. А скорее, дон Никколо по долгу службы ее выгораживает. Или они вовсе про помрачение рассудка сговорились заранее. Не будет ли она разыгрывать безумицу на допросе?

Но сейчас нужно избавиться от венецианца – да так, чтобы не оставить ему лишних лазеек для дальнейших ходатайств.

- Дон Никколо, в помрачении ума или в ясном рассудке, мона Алессандрина оказалась замешана в тяжком преступлении против Кастильской державы. И потому отпустить ее сейчас на поруки или перевести под домашний арест, как вам бы, конечно, хотелось, я не могу, потому что я для нее – не более чем страж. Судьба ее не в моих руках. Могу только пообещать вам, что обращаться с ней будут сносно, и что о судьбе ее вас будут оповещать своевременно.

- Но хоть адвоката для нее нанять мне позволено?

- Разумеется. И ему будет разрешено с ней видеться, когда этого потребует ход дознания. Но не ранее, чем после первого допроса.

Шаг Санчи был нетверд, и он подал ей руку.

Привратник его не признал, чему он только порадовался – старик мог не выдержать.

- Ничего не измениось, дон Карлос, как видите. Я стараюсь содержать дом в порядке. Конечно, не мешало бы нанять еще двоих-троих слуг, но жалование мне платит Ее высочество… Тревожить ее такой пустяшной просьбой я стесняюсь. Теперь ведь наверное все изменится, правда?

Он пожал плечами. Родные стены навеяли на него грустное успокоение, и даже какую-то смутную надежду. Санча собрала ужин, потчевала его вином, извинялась, что оно – скверное, прямо-таки стыдно его держать в таких славных подвалах.

- Господь с вами, Санча, вы бы знали, какую дрянь я пил последние три года. Особенно лукайские напитки.

Он отставил кубок, вгляделся в ее невеселое лицо. Что-то ее угнетало. Что же? Кажется, она – образец верной слуги.

- Сеньора Санча, я вам глубоко благодарен за то, что вы взяли на себя труд присматривать за могилами моих близких. Если бы я мог, я бы наградил вас по-королевски. А так попытаюсь выговорить для вас хотя бы прибавку к жалованию, будя мне случится беседовать с донной Исабель.

- Разве она не для вас берегла этот дом? Мне кажется, она наняла меня для этого…

- Не знаю… Мне неведомы ее помыслы.

- Дон Карлос… - печальные глаза Санчи вдруг блеснули – она решилась, - дон Карлос, помните… Однажды вы сказали мне, что дадите мне повод себя судить? Но нам не случилось продолжить тот разговор.

- Не припоминаю, - честно признался он.

- Зато я помню. Весь тот день, каждую минуту. Дон Карлос, судить должно меня.

- Вас? – он вскинул брови, - за что же вас?

У нее затряслись губы и стиснутые у самого горла руки.

- За мое иудство… - едва слышно выговорила она, - за мое проклятое иудство…

И поникла головой, видимо, не в силах на него глядеть.

- Санча… - Он осторожно приподнял ее голову за подбородок. В уголках ее глаз налились блеском слезы. И странным образом из-под морщин выступила былая ее краса. Господи, повстречай он ее лет пятнадцать назад, и в его жизни могло не быть ни Инессы, ни Маргарет, ни… - Санча… Вы – Иуда? Не верю… Не верю, не могу верить. Кто-то, должно быть, злоупотребил вашей честностью. Ведь правда? Скажите мне, кто? Я мало что нынче могу – но на то, чтобы прилюдно отхлестать его перчатками по щекам, и приволочь за шиворот Их высочествам на суд, меня хватит.

…

- Верно ли, сеньора, что подлинное имя ваше – Алессандрина Адзанте д'Эльяно?

Она ответила кивком. Зачем лишний раз сотрясать воздух. И так все ясно.

- Извольте подтвердить это, хотя бы сказав «Да». Иначе секретарь запишет в допросном листе, что вы промолчали, и это может повлиять на ход дела.

Вот, значит, как. Забавно… Черт возьми, ей забавно, она готова смеяться! Не предвестие ли это безумия – смех на краю гибели?

- Да, сеньор дознаватель.

- Верно ли, сеньора, что вы – подданная Венецианской республики, и принадлежите к дворянскому сословию?

- Да, сеньор дознаватель.

Если ей придется сказать это в третий раз, она точно рассмеется.

- Верно ли, сеньора, что вы были тайно обвенчаны с покойным ныне доном Карлосом д'Агилар, маркизом Морелла?

- Да, сеньор дознаватель.

Ей не удалось удержаться от улыбки. Дознаватель насторожился.

- Верно ли, что вам было сообщено как о смерти вашего мужа, так и о том, что вам под страхом ареста запрещено посещать Кастилию?

- Да, сеньор…

Она все-таки засмеялась.

- Я сказал что-то забавное? – спокойно спросил дознаватель.

- Меня забавляют эти повторения.

Дон Гервасио тоже улыбнулся.

- Понимаю. Вы, сеньора, должно быть, привычны к другим беседам, в вашем кругу такой суконный язык не в ходу. Уж извините. Однако же, продолжим. Итак, несмотря ни на что, вы все же здесь. Известно ли вам, по каким причинам вам запрещен въезд в Кастилию?

Она усмехнулась. И не ответила.

- У вас прелестная загадочная улыбка, но мой секретарь, увы, не умеет рисовать. Прошу вас, сеньора, ответьте «да» или «нет».

- Пусть ваш секретарь так и запишет, что я промолчала.

- Въезд в Кастилию вам запрещен, поскольку вас обвиняют в злом умысле против дона Адмирала Кристобаля Колона, а проще говоря, в том, что вы пытались с помощью вашего супруга и наемных убийц лишить дона Кристобаля жизни. Это очень серьезное обвинение, как вы понимаете. И едва ли вам будет оказано снисхождение. – Он вздохнул, как могло показаться, сокрушенно. И в самом деле: перед ним стоит молодая женщина, одетая как будто просто – но он-то хорошо знает цену этой простоте – такое тонкое сукно без вышивок втрое дороже иного расшитого; а под платьем на ней виссонная сорочка. Значит, под этой сорочкой она нежна, как расцветающая роза. Но настанет миг, когда все это с нее сорвут. Будешь тут сокрушаться.

- Это обвинение я не признаю, как нелепое и лишенное всяческих оснований.

- Вы можете отрицать его на суде. Здесь пока что просто примите его к сведению.

Да, она наверняка изнеженна. И это значит, что, дойди дело до кнута, долго ей не продержаться.

- Верно ли, что вы намеревались тайно совершить плавание к берегам Индий?

Пинсоны. Этого не могли знать хозяева ни одной из гостиниц. Пинсоны. Трусливые твари. Доктор Торрес ошибался, полагая их строптивыми и упрямыми морскими волками.

- Вы намерены отвечать, сеньора?

- Сеньор дознаватель, если здесь в Кастилии меня обвинили в покушении на убийство, то какая разница, отвечу я «да», «нет» или промолчу? Все равно меня осудят и казнят, как казнили бы моего мужа… - она чуть не добавила «не умри он раньше», но из суеверия себя осекла.

- Кастильский суд, сеньора, строг, но справедлив. И если вы сможете привести неопровержимые доказательства вашей невиновности, вы будете оправданы. А пока что я прошу вас ответить на мой последний вопрос: вы намеревались отправиться в Индии, да или нет?

- Даже если намеревалась – это преступление?

- Да. Согласно последнему королевскому указу, на это нужно особое разрешение. Таким образом, вы намеревались нарушить королевский указ – готов допустить, что по незнанию, потому что этот указ – недавний. Но нарушение этого указа карается смертью.

«Пинсоны и это наверняка знали. Стало быть, сразу решили меня продать. Стало быть, надежды не было. И спасения теперь нет».

- Я больше не буду отвечать ни на один ваш вопрос, сеньор дознаватель. Я полагаю это бессмысленным.

Но он задал все вопросы до конца. И только потом, изобразив лицом огорчение, отдал приказ пытчикам.

- Избавьте меня от ваших камерэр! – почти выкрикнула она. – Если мне будут рубить голову, я хочу взойти на помост в целом платье, а не в лохмотьях.

- Простите, сеньора. Даже в этом я не имею права на снисхождение.

Он откинулся на жесткую спинку кресла, и не отводил спокойного взгляда до тех пор, пока ее не привязали к станку. Потом медленно поднялся, подошел, встал в изножьи станка, и начал неспеша повторять вопросы – с первого до последнего, попутно следя, как ее золотистая кожа подергивается испариной.

Она молчала. И тогда, очень мягко, он сказал:

- Сеньора Алессандрина, ваше дальнейшее молчание может пойти вам во вред. Увы, вашу вину подтвердил на допросах ваш покойный супруг. Он прямо назвал вас своей сообщницей. Извольте, я вам зачитаю…

Закончив чтение, он отошел, и уже не смотрел, как ее отвязывали и помогали ей сперва сесть, потом подняться, потом – набросить разорванное платье.

Наблюдавший из угла за допросом коррехидор невольно восхитился уменьем дона Гервасио играть на людских чувствах – и подумал, что вскорости, будя представится повод, надо бы снова повысить палосца в должности.

- …И с тех пор вы не встречали вашу подругу Долорес?

- Нет… Я несколько раз ходила к тому дому, где она жила, но он был пуст и заколочен.

- Как она выглядела?

- Красивая молодая дама, смуглая, с прелестными руками, большая мастерица поговорить. Смахивает немного на мавританку, лишь самую малость. Она меня прямо как заворожила, дон Карлос. Я не так-то легко с людьми схожусь, а тут как будто век ее знала. Книги она мне давала, чудесные рукописные книги, очень искусно переплетенные, должно быть, дорогие…

- Гм, на моей памяти только один человек умел так легко входить в доверие, и столь же легко это доверие предавать. Звали ее, как вы можете догадаться, Инес.

- Я подозревала. Уже потом, после всего…

- А я так вполне уверился. Удивительно, как дарованный ему Господом ум человек

умудряется использовать впустую.

- Как же впустую? Во зло!

- Да нет… Какое там. Годами выжидать, чтобы отомстить одному единственному мужчине, который даже ничего ей всерьез не обещал. Это не зло, это злоба. Которую я однажды в ней разглядел. И которая отвратила меня от нее гораздо раньше, чем она сама полагала. Инес, знаете ли, из тех людей, которые способны пробудить сострадание в самом черством сердце, когда они унижены – но очень быстро заносятся, стоит им хоть самую малость возвыситься над другими. А я возвысил ее до себя. И был какое-то время с ней счастлив. У нас родился сын. Но со временем я стал замечать, что в ней нет одного свойства – снисходительности. Что ей по нраву унижать прислугу. И что она учит этому сына, сама, быть может, того не замечая. А потом наш мальчик заболел – как я сейчас понимаю, это была какая-то разновидность скоротечной чахотки: удушающий кашель, в последние недели – с кровью. Я едва мог на нее смотреть: эта самая злоба сквозила в ее взгляде, в изгибе губ, в каждом движении, даже в свисте ее шелков. Мне подчас начинало казаться, что не болезнь, а именно ее злоба – причина страданий нашего сына. Сын умер… До сих пор не понимаю, почему я ее тогда не отослал. Ведь все мои беды, получается, от нее.

- И вы смогли бы после этого ее простить?

- Да я, считай, уже ее простил. Она – очень несчастная женщина, я – во многом причина ее несчастий, вольно или невольно, не важно. Я не смею ее судить. И уж подавно – вас, Санча. Выбор между справедливостью и верностью – тяжкий выбор. Вы не могли знать, что на месте справедливости окажется ложь. А вот если уж кого судить за иудство, так меня. Потому что я, как последний ублюдок, оговорил свою жену. Дай Бог ей никогда об этом не узнать.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ,

В КОТОРЫЙ ДОННА АЛЕССАНДРИНА ПРОЯВЛЯЕТ ЗАВИДНОЕ УПОРСТВО – ВПРОЧЕМ, СКОРЕЕ, ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО НАЧИНАЮЩАЯСЯ ГОРЯЧКА СПУТАЛА ЕЕ МЫСЛИ.

Мессер Никколо д’Адзи отправился добиваться королевского приема с самого утра. Анжело он велел ждать от него вестей в посольстве, никуда ни в коем разе не отлучаясь. Вчерашний день, считай, прошел впустую; если и сегодня ничего не получится – Алессандрину ждут пытки и, вероятно, казнь. Дуреха, вот же дуреха… Хорошо еще удалось найти ей адвоката – ясно, втридорога против обыкновенного (кто иначе возьмется защищать обвиняемого в злом умысле и злостном нарушении королевского указа?). Адвокат должен был добиться в коррехидории свидания с заключенной, и уговорить ее во всем признаться, на что бы не намекнули – чтобы избежать мучений и хоть немного затянуть дознание.

Анжело и Витторио отстояли в ближайшем храме заутреню, от души помолившись за Алессандрину и за удачу мессера Никколо.

Дона Хуанито д’Акоста всегда мучила необходимость выдерживать цену на свои услуги: он обожал адвокатствовать по сложным делам, подсудимые по таковым обычно оказывались людьми небогатыми – и порой приходилось отказывать. Ни семейный обычай, ни образование, ни честь не позволяют ему стать заступником бедноты – сокрушенно размышлял он, не давая себе даже на миг допустить, что бедноту как таковую он презирает. Влекли его именно что сами разбирательства, дознание, крючки, ловушки и заковыки сыски, и та особая власть, которую он обретал, участвуя в судах и искусно направляя ход дела в нужную ему сторону. Любил он и задушевные разговоры с подсудимыми в тиши узилищ: страх раскрывает людскую душу, являя свету то несказанные перлы, то смрадные нечистоты.

Дело Алессандрины Адзанте, венецианской подданной, обвиняемой в злом умысле против дона Адмирала Кристобаля Колона, и в нарушении королевского указа о регламентировании плаваний в Индии представало вполне безнадежным – и потому у дона

Хуанито чуть не руки тряслись, когда он выторговывол у венецианского посла себе прибавку. Посол было замялся, услышав сумму, однако пришедший с ним угрюмый красавец, Анжело, пообещал доплатить. И договоренность была заключена.

После чего посол, дон Анжело и еще один малый, Ариас Пинсон, заняли весь его вечер своими разговорами. Но он не жалел. В его сознании решенные дела складывались в законченные истории, и оставались в памяти со всеми подробностями – точно книги в библиотеке. В свое время дон Хуанито был одним из адвокатов дона Карлоса, когда тот судился с Питером Брумом из-за Маргарет. Слухи о заключении и скоропостижной смерти дона Карлоса в тюрьме накануне казни три года назад заставили его сильнейшим образом досадовать, что такой сыск прошел мимо него. И вот теперь повествование о грешной жизни этого честолюбца завершалось достойным послесловием. Последняя обманутая им девица в рассказах ее покровителей представала особой чрезвычайно романтической и недальновидной – защищать таких –одно наслаждение, можно выступить подлинным ангелом милосердия, к вящей славе своей. Дон Хуанито ухмыльнулся. Надо бы озаботиться тем, чтоб передать ей в узилище платье: наверняка на вчерашнем допросе для пущего срама все изорвали.

С такими мыслями он дожидался в коррехидории, пока ему выправят разрешение посетить тюрьму – и проглядывал допросные листы (дело дона Карлоса, на котором строилось обвинение в злоумышлении, ему не дали – дескать, оно в работе у дознавателя) Согласно им, обвиняемая вела себя вызывающе, и не выказала испуга во время устрашения.

Наконец, письмоводитель принес бумагу; можно было отправляться знакомым путем по темным галереям и витым лестницам.

Судя по тому, чьей она была (пусть и недолго) женой, с ней могли бы обходиться и помягче. Каменный мешок, как у нее, не всякому вору достанется – даже соломы не озаботились бросить. Она сидела на приступке, обхватив себя руками за плечи, чтобы не спадало разорванное платье.

«Какой неподвижный у нее взгляд. Неужто они не обошлись устрашением? Иногда так бывает, но крайне редко. Повязок, однако, не видно, следов от ремня на запястьях – тоже. Странно, что же ее так пришибло - судя по допросным листам, вчера она нисколько не боялась. Конечно, сегодня другое дело, но обычно страх перед пыткой сообщает человеку некоторую лихорадочность и суетливость, никак не оцепенение».

- Донна Алессандрина, позвольте представиться, я ваш адвокат, мое имя – Хуанито д’Акоста. Меня наня для вас дон Никколо д’Адзи, посол Венецианской республики, вот его удостоверяющее письмо, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы снять с вас обвинения, или хотя бы смягчить ваших судей. Донна Алессандрина, могу ли я рассчитывать на беседу? В силах ли вы говорить?

- Да, вполне. – Она странно поморщилась, как будто не была уверена в подвижности своих губ.

- Я глубоко вам сочувствую, процедура допроса с устрашением, которой вы, надо полагать, подверглись, омерзительна. Я позволил себе принести вам чистое платье, быть может, вам будет угодно переодеться?

- Благодарю, вы очень добры… Если бы вы были так любезны отвернуться…

- Донна Алессандрина, я выйду!

- Не стоит трудов. Кажется, у меня отбило всякий стыд… простите за такую прямоту, дон адвокат.

Гм, а дела и впрямь плохи. Ему было хорошо знакомо это безразличие. Обычно, правда, оно приходит уже после недель заключения, после пыток.

Шуршание сзади затихло. Надо же, как быстро и ловко она одевается. Это кое о чем говорит – о том, например, что ей нередко случалось обходиться без служанок. И, стало быть, не всегда за ней носились по свету венецианские князья, не всегда о ней беспокоились сиятельные послы. Те, кто выбился из низов, из худородства и беззвестности, его привлекали

и пугали – чрезмерной непреклонностью, подчас – жестокостью. Таковы были почти все приближенные Их высочеств.

- Я готова, дон Хуанито. Вы ведь будете задавать вопросы?

- Да, донна Алессандрина. Ваши друзья многое мне рассказали, но мой долг – уяснить все до конца.

- Мои друзья? Кто бы это мог быть?

- Сиятельный посол, прежде всего. И дон Анжело Скьяволи, который называл вас своей невестой. И дон Ариас Пинсон, мореход. У вас воистину верные друзья.

Она вспыхнула, пробормотав про себя что-то по-италянски. И снова сникла.

- Донна Алессандрина… Мой первый вопрос, с вашего позволения, не будет касаться дела. Он будет касаться вас. Едва я к вам вошел, я заметил, что вы сильно чем-то удручены. И я бы хотел знать, что вас удручает, потому что от вашего душевного спокойствия зависит многое.

- Гнетет… Скорее, губит. Медленно убивает, как один знаменитый итальянский яд, аква-тофана, если вам доводилось слышать. Если его выпить, то ничего особенного не чувствуешь, только тоскливо и неможется. И угасаешь, как бы в меланхолии.

- Так кто и чем вас отравил, да будет мне позволительно воспользоваться тем же сравнением?

Она вся напряглась, нежное горло затвердело.

- Мой… Карлос…Он меня оболгал.

Вот как. Значит, ей вчера зачитали его показания. Надо, надо добраться до этих показаний. Хоть дознавателя подкупить.

- Кто ваш дознаватель?

- Некто Гервасио де Галеда.

Из новых. Бог весть, стяжатель он, или нет. Но сейчас важно не это. Сейчас надо успокоить донну Алессандрину. И внушить ей то, что требуется.

- Донна Алессандрина, а почему вы уверены, что дознаватель сказал вам правду?

- Он читал по записи. И показал мне подпись.

- Подчас и записи, и подписи подделывают. Но даже если все так и было, если ваш супруг возвел на вас ложные обвинения – откуда нам с вами знать, по каким причинам он это сделал?

- Он королевских кровей, дон Хуанито, хоть и незаконнорожденный. Он, верно, даже помыслить не мог о том, чтобы к нему прикоснулась плеть. Проклятье, лучше бы он взаправду умер. А так он где-то ходит, и даже, наверное, иногда вспоминает обо мне. Обо мне такой, какой меня никто не знает…

Она хрустнула зубами.

- Вот что больно, дон Хуанито. Думаешь, что знаешь человека, доверяешь ему себя такой, какая есть. И оказывается, что доверилась… даже слова не подобрать, кому. Это, стало быть, я и себя не знаю? Стало быть, я такая же дуреха, как все бабы – от крестьянки до герцогини.

- Дурехам, донна Алессандрина, не нанимают дорогих адвокатов. – Улыбнулся д’Акоста. – Я вас прошу – перестаньте терзаться. Перестаньте изводить себя. Лучше расскажите мне во всех подробностях, как случилось ваше знакомство с доном Карлосом, и что ему воспоследовало. Сдается мне, что ваше дело не так просто, как кажется. И потому мне нужно знать все, даже самое, казалось бы, незначащее.

Знать все это ему было вовсе не нужно. Следовало занять и расшевелить ее ум.

Когда она завершила рассказ, он, выждав какое-то время, осторожно сказал:

- Донна Алессандрина, мне тоже случилось знать вашего мужа – не близко, нет, но достаточно, чтобы изучить его нрав. Он, конечно, отнюдь не образец добродетели. И как многие грешники, судит о людях по себе. И о вас он судил по себе – тем более, что вы дали ему повод своим… ремеслом. Думаю, когда он возводил на вас напраслину, он искренне

полагал, что выпутается, и оправдается перед вами – и вы его поймете и простите. А если он впал в отчаяние, и думал, что ему не миновать смерти – он решил избежать хотя бы лишних мучений, полагая, что все равно его казнят, а вы, возможно, выйдете замуж – и вообще никогда не узнаете о его слабости.

- Все так… А самому-то ему не гадко было, как думаете? Он ведь и на себя напраслину возвел.

- Откуда нам знать, донна Алессандрина. Чужая душа, как сказал мудрец, потемки. Да и своя подчас удивляет. Однако же вернемся к нашим делам… Они обстоят, увы, неважно, думаю, вы и сами это понимаете. На допросе с устрашением вы проявили упорство. Судя по вам, вы готовы упорствовать и на допросе с пристрастием. Мне, знаете, случалось защищать женщин. Нередко они принимали на себя вины своих любовников – и шли на дыбу. И молчали… Очень недолго молчали. Вы знаете, что если в середине допроса с пристрастием вы не выдержите и признаетесь, пытку не прекратят, ее доведут до конца?

- Вы хотите сказать, что мне придется принять на себя всю эту напраслину? Может, тогда лучше рассказать, как все обстояло на самом деле?

- Как вам угодно. Хоть романсеро им пойте. Главное – не молчите. Но и не выкладывайте все сразу. Тяните, жалуйтесь на память, только не переусердствуйте и не доведите, Боже упаси, дела до станка. С дыбы пути назад нет. Хорошо? – он говорил уже почти просительно. Ее беды брали за душу.

- Я вас поняла.

- Прекрасно. Вот и прекрасно. Помните – у вас есть друзья, за вас есть, кому заступиться. Берегите себя ради них.

Королевский совет прозаседал до темноты. Их величества не приняли никого из тех, кто добивался приема. Более скверного оборота мессер Никколо представить себе не мог. Надежда была только на красноречие адвоката и благоразумние Алессандрины.

Адвокат дожидался в посольстве; по его словам, все обстояло не так плохо – Алессандрина вняла его советам, можно было надеяться, что она заговорит дознавателю зубы.

Но Анжело все равно била дрожь.

«За меня есть, кому заступиться. Есть, кому. Есть».

Надо же ей настолько не знать Анжело.

И надо же ей настолько не знать себя.

Ей худо делалось от одной мысли, что до конца жизни останется ему обязана – за свою… шкуру. За эту золотистую шкуру, которой он так алчет. И которой так упивался Карлос. И которая досталась бы за сходные деньги и тому, и другому, и многим еще – не торгуй матушка мальчишками, не окажись тетушка Бона шутницей, не будь на свете дона Кристобаля и его окаянной карты. Ее как несло по жизни, не давая роздыха – ею будто с рождения владел торнадо, прихотливый и самовластный. Что перед ним ее воля? Ее разум? Ее душа? Затаи дыхание, жди, когда вихрь ослабеет, и опустит тебя в тихом прибежище. Тебе стать княгиней Скьяволи, и тем быть довольной. Тебе рожать синеглазых детей. И держать – не в опочивальне, в парадной зале – портрет Иуды.

«Слышишь, Карлос, кто ты есть? Ты – Иуда. Дай Бог, если ты сам себя за это ненавидишь. Потому что я тебя ненавидеть не в силах – я не как Инес. И если я пожелала тебе смерти, так только потому, что мне тяжко знать, что ты живешь и мучаешься. Я не верю, что твоя совесть спокойна. Будь ты бессовестен, ты бы не взял меня в жены – меня, шлюху по ремеслу. Ты бы еще когда на меня донес.

Ты ведь испугал меня тогда до смерти. Помнишь? В церковном саду? Мне б еще сильнее испугаться, когда ты стал меня целовать. Но вместо этого на меня снизошло

умиротворение: ты был мужчиной, не более, не менее – а меня учили обращаться с мужчинами, первым делом – жалеть их, ведь они в неволе у своей природы, у своих страстей. Каждого влачит свой торнадо.

Может, тебе и должно было еще тогда на меня донести. Но ты воспротивился воле вихря, силе судьбы. Я вот пыталась убежать от него во сне – все время пыталась убежать, пока он меня не настиг, и не принес вот сюда. Ты же – противился. Всю свою жизнь. Твоя ли вина, что торнадо – сильнее? Здесь, в этой тюрьме, а может, и в этой же камере он тебя одолел. Вот и объяснение. Ты - жертва судьбы и чужого произвола. Кроме того, как сказал мой адвокат, ты судил обо мне по себе. Ты полагал, что я вскоре после твоей смерти утешусь. Все это так понятно. Тебя так легко пожалеть. Помнишь, ты говорил мне – или ты только так думал, а я уловила твои мысли, как это часто бывает меж любящими – что я возвращаю тебе твое прошлое? Что со мной ты не помнишь о своем позоре? Надо же мне было настолько не знать силу моей жалости! Помнишь еще, ты говорил – или я говорила? – что люди верят не глазам своим, а ушам? И корыстную связь можно представить великой любовью, а великую любовь – заурядным бесстыдством? Надо же мне было настолько не знать власти своего слова!

…

А хочешь, я снова сделаю все это для тебя – из жалости? Не зря же я училась этому треклятому блядскому ремеслу: жалеть род мужской? Я верну тебе твою честь. Очень даже просто верну. Для этого достаточно пренебречь разумным советом моего адвоката – только-то. И собственным телом, этой золотой шкурой. Но ведь на то я и шлюха, да?

Только вот почему меня мутит от одной мысли о твоей лжи? Иуда, Иуда… Мой прекрасный Иуда… Тебе говорили о том, что ты пре-кра-сен? Голова идет кругом… Господи, пошли мне умиротворения. Оборони меня от торнадо».

Тошнота как будто прошла. Но ее окутывал странный медлительный жар: он теснил дыхание, сердце билось едва ли не в гортани. Она принялась читать молитву, сбилась, начала опять. «Как там говорил адвокат? Не выкладывать все сразу… Но мне даже за один раз выкладывать нечего. Я – невиновна. Карлос – невиновен. Что, Господи, я на себя наговорю? Что там было, в этих показаниях? Убийство? Чье? Нет, нельзя сознаваться в убийстве. Что-то было еще… Господи, почему так путаются мысли? Я же двух слов не свяжу по-кастильски. Надо потребовать толмача – но если я потребую, они подумают… Что? Что со мной? Господи, что со мной?»

Она уже давно говорила вслух, в сырую каменную мглу, разрезанную понизу лишь алым лучиком, проникающим из-под двери.

Дон Гервасио прочел молитву и послал стражников привести венецианку. Отчего-то ему было не по себе. И вроде бы уж скрепил сердце, и настроил себя подобающе сурово – и коррехидор снова выразил желание присутствовать, что было добрым знаком, и вести второй допрос легче – а все было не по себе. В ожидании он принялся вспоминать вчерашнее – может, что-то сделал не так, и смутная память об этом исподволь бередит душу? Да нет, все было согласно уставам, и, стало быть, правильно.

Тут привели ее.

Адвокат передал ей новое платье – и коль скоро она в нем, значит, запираться не намерена. Наверняка, ей присоветовали мешать ложь с правдой, водить его за нос. Она лазутчица, и может оказаться в этом весьма ловка – надо слушать внимательно, чтобы вовремя поймать на слове.

В ее глазах появился какой-то стеклянный отблеск, взгляд блуждал. Дону Гервасио сразу вспомнилось предупреждение коррехидора: мол, венецианский посол намекал, что она помешалась. Мол, может, и вправду помешалась, а может – прикинется помешанной. Что – глаза? Адвокат мог потихоньку пронести в одежде пузырек с белладонной: закапай, подожди немного – и у тебя во всю радужку раздернут зрак; и глядишь сущим безумцем. Еще у нее

пылали щеки – как будто ее отхлестали по лицу. И дрожали руки. Но этак с каждым бывает: редко кто остается спокоен при виде всех этих снастей, готовых по мановению руки тянуть, дробить и вгрызаться в людскую плоть.

Еще она, кажется, пошатывалась. И что-то шептала, шевелила губами.

- Сеньора Алессандрина! Довожу до вашего сведения, что сегодня, будя вы не согласитесь отвечать на мои вопросы добровольно, к вам будут применены экстраординарные меры, как то: бичевание на кобыле и прижигание плоти раскаленной шиной, попеременно. Будя эти меры не окажут на вас воздействия, и не побудят вас говорить правду, то же будет повторено на дыбе.

Мысли больше не путались, их просто не стало: удивительно, что ее ум, всегда чем-нибудь занятой, способен так опустеть, очиститься, умиротвориться. Наконец-то – умиротворение. Но молчать, кажется, нельзя.

- Сеньор дознаватель, вот и мой адвокат советовал мне повиниться… - она пыталась говорить звучно, но получалось – шепотом. Почему бы? Может, потому, что она не ела со вчерашнего дня? Но есть не хочется, только жар и слабость, такая слабость…

- И его совет в высшей степени разумен. – Кивнул дон Гервасио. – От души надеюсь, что вы последуете ему.

- Только скажите мне, в чем виниться… Вы вчера мне зачитывали, но я запамятовала.

Дон Гервасио поймал многозначительный взгляд коррехидора. Незаметно подмигнул. Да, кажется, девица собирается заговаривать им зубы.

Умом она понимала, что говорит не то и не так. Но язык как будто обрел собственную волю. Так, должно быть, случилось и с Карлосом. Так здесь со всеми. И, с другой стороны – что такого в ее вопросе? Если им непременно надо ее обвинить, пусть сами придумывают ей вины.

- Верно ли, что вы намеревались тайно совершить плавание к берегам Индий?

Об этом ее уже спрашивали. Вчера. Кажется, на этот вопрос нельзя отвечать «да». Или, напротив, нужно?

- Что я должна ответить, чтобы взять на себя вину?

Правильно ли она задала вопрос? «Как у них застыли лица… И в воздухе какой-то туман… Или дым? Должно быть, свечи дымят. Только почему-то не слышно запаха».

Дон Гервасио и коррехидор переглянулись уже в открытую.

- Сеньора Алессандрина! Похоже, что ваш адвокат дал вам совсем иной совет – как можно дольше морочить нам голову. Предупреждаю вас, что если вы не проявите благоразумие, я распоряжусь применить экстраординарные меры.

«Откуда он узнали, что говорил адвокат? Должно быть, подслушали. Или она сам им рассказал. Значит, он был подослан. Как там он говорил? Подпись можно подделать? Верно, имел в виду себя и письмо от посла. Забавник».

- Сеньора Алессандрина, вы меня слышали? Вы поняли мои слова?

Уж больно хорошо она прикидывается. Похоже, сама уверовала в свое помешательство. Так иногда случается, если впечатлительная натура что-то втемяшит себе в голову. Как же быть? Пожалуй, огреть ее плеткой несколько раз: у многих разум от этого проясняется. Однако в качестве экстраордирарной меры это в допросный лист не заносить. Потому как экстраординарные меры должно применить все полностью. А этого, даст Бог, не потребуется.

Он сделал знак подручным экзекутора - тут еще важна неожиданность. Пока с нее рвали платье, шепнул указание самому экзекутору, мастеру Рохо: несколько ударов, даже не в пол-, в четверть силы - только чтобы припугнуть. Считай, второе устрашение. Мастер хмыкнул – он «почесал спинку» стольким пропащим бабенкам, что знал до тонкости, как надо бить – толстушек, костлявых дылд, и вот таких тонкокожих белянок. Этих – и впрямь в четверть силы, никак не до крови.

Экзекутор отступил от козел, почти не оставив себе простора для замаха, коротко занес руку, хлестнул поперек узкой спины.

Венецианка обмякла с тихим всхлипом.

- Вот так недотрога! – удивился мастер Рохо. – Это же я ее считай приласкал.

- Она не оценила вашей ласки, - соизволил пошутить коррехидор.

- Она, кажется, все еще продолжает свою игру. Облейте и повторите, мастер.

Ледяная вода вырвала у нее глухой вздох. Снова свистнула плеть – удар пришелся наискось, через лопатку.

- Верно ли, что вы собирались…

…

- Приведите в чувство, и на дыбу! Вот ведь упрямая баба!

И дон Гервасио, и коррехидор взмокли и обозлились. Было далеко заполночь, в пытальной зале кисловатый запах крови мешался с вонью паленого и чадом масляных ламп. Но они ничего не добились, кроме стонов и вскриков. И кровяной лужи, которая натекла с нее, пока ее пытались привести в себя, окатывая все той же ледяной водой. Потом мастер взял ее за руку, намереваясь вогнать под ноготь иголку…

- Дон Гервасио..!

- Что еще?

- Сердце.

- Что?

- Еле бьется. Едва-едва. И, вы посмотрите, как под ногтями синё. Надо послабить. Иначе не выдержит.

- Да и нам, дон Гервасио, не помешает дать себе послабление, – предложил коррехидор, - а то уже в голове шумит.

Они удалились в соседнюю секретарскую, велели подать себе вина и хлеба с ветчиной, и принялись подкрепляться. Меж ними грузнело неловкое молчание: ни тот, ни другой не ожидали, что изнеженная узница после притворства проявит такое упорство: мастер Рохо бил в полную силу, так что кровавые брызги летели на его запон, и раскаленное железо он не просто прикладывал – прижимал.

- Дон коррехидор, я вот думаю, не довольно ли с нее? Пусть отлежится до завтра, а там я зайду ее проведать. Вдруг да образумится. Если у нее сердце еле бьется, то для нее сегодня каждый удар может последним оказаться – зайдется сердечко, и все.

- Ваша правда, дон Гервасио, ваша правда. Распорядитесь тогда, чтоб ее лекарь перевязал, ну и топчан там, соломка. Или тюфяк даже. До чего, однакож, отчаянная девица.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ,

В КОТОРЫЙ ВЕНЕЦИАНСКИЙ ПОСОЛ НАКОНЕЦ-ТО ДОПУЩЕН К ЕЕ ВЫСОЧЕСТВУ – СЛЕДСТВИЕМ ЧЕГО СТАНОВЯТСЯ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ БЕСЕД И РАСПОРЯЖЕНИЙ.

Донна Исабель собиралась отстоять заутреню: после вчерашнего совета, после доклада Антонио де Торреса (где между строк она явственно различала растерянность дона Адмирала) и долгих прений она хоть на короткое время жаждала молитвенного сосредоточения и отрешения от дел мирских. А для этого нет лучше утренней службы.

Однако, когда она уже была полностью одета и готова отправиться в замковую часовню, ей доложили, что посол венецианский со вчера добивается приема Их высочеств, а сегодня прибыл затемно еще с каким-то знатным венецианцем – и твердит, что дело, мол, идет о жизни и смерти невинного человека.

Ее высочество было подумала принять их после службы – но поняла, что теперь вместо молитвы будет думать о венецианцах, вздохнула, и велела просить.

Красота Анжело ее поразила; донна Исабель невольно взволновалась, и кровь легко прилила к ее щекам, когда дон Никколо его представил.

- Ваше высочество. Смиренно прошу простить меня и моего соотечественника Анжело за нашу почти неприличную настойчивость. Мы никогда не посмели бы вас обеспокоить,

если бы дело не шло о жизни и смерти несчастной венецианской подданной.

- Я охотно помогу вам, если только дело не касается Святой Инквизиции, тут я бессильна.

- Нет-нет, Боже упаси. Мона Алессандрина Адзанте д'Эльяно, за которую я прошу, добрая христианка. Весь ее грех – в пылкости и опасном легкомыслии…

Донна Исабель вздрогнула, и жестом велела послу замолчать.

Она, стало быть, здесь. Можно быть уверенной – из-за него. И с ней случилась беда. Королева неслышно вздохнула.

- Мне прекрасно известно это имя, дон Никколо, донну Алессандрину мне представлял ваш предшественник, дон Федерико Мочениго, котрому она, кажется, приходится родней. И само собой разумеется, мне известны многие обстоятельства ее предыдущего пребывания в Кастилии – и последствия сего – думаю, вы понимаете, о чем я. Итак, что снова привело ее в Кастилию, и что с ней здесь случилось?

Мессер Никколо приступил к рассказу, частенько обращаясь за подтверждением к Анжело.

Донна Исабель слушала молча.

Вот, значит, для кого она стала карой Господней, сама того не подозревая. Вот кого терзала, и погубила бы, не найдись у смелой дамы заступники. Слава Богу, ошибку можно исправить.

- Значит, ее взяли три дня назад. Будем надеяться, она вняла совету адвоката, не слишком честному, но в данном положении единственно разумному. Я не числю за ней никакой вины, и потому немедленно отдам приказ о ее освобождении и освобождении ее слуг, и о том, чтобы ее с почестями сопроводили в посольство. Но я должна сообщить вам, дон Анжело, неприятную для вас новость: супруг донны Алессандрины жив. Он находится в Кастилии. Я не знаю, каковы его намерения, ибо он еще не осведомлен о приезде донны Алессандрины. Но ему непременно сообщат об этом. Ибо, вы понимаете, союз меж ними скреплен Господом, при каких бы обстоятельствах это не произошло, и расторгнуть его можно лишь по очень веским причинам.

- Ваше высочество, прошу простить меня за дерзость – но разве предательство, подвергшее ее жизнь опасности – не достаточно веская причина для того, чтобы отказать ему в супружеских правах?

- В вас говорит ревность, - невольно улыбнулась донна Исабель, - но ведь решать – донне Алессандрине. И я прошу вас, дон Анжело, не скрывать от нее этого известия. Я полагаю, будет правильно, если она услышит об этом из ваших уст.

Дон Гервасио как раз собирался проведать венецианку – и читал краткую молитву об укреплении сердца – когда его вытребовали к коррехидору.

Дон коррехидор был бледен – столь бледен, что, можно подумать, сейчас упадет без памяти.

- Дон Гервасио, похоже, мы с вами совершили большую ошибку. Извольте вот прочесть.

Дознаватель пробежал глазами приказ за подписью королевы (с требованием непременно доложить об исполнении), и не удержался от моряцкого проклятия.

- Вы у нее еще не были?

- Как раз собирался.

- Идите. Узнайте, как она. Дай Бог, опамятовалась – тогда исполним приказ, и пусть век Бога благодарит.

- А если не опамятовалась?

- Тогда придется перед венецианцами виниться. И перед Их высочествами.

Дон Гервасио откланялся, но про себя подумал, что виниться – не за что. Донос был правдивый, доказательства ее намерений при обыске нашлись… Однако по галереям и переходам он едва не бежал.

Тюремный лекарь явно его поджидал.

- Дон Гервасио, беда у нас. У той дамы, что вы вчера допрашивали, горячка открылась… Мы уж свольничали, перенесли ее, куда почище, постель хорошую устроили. Только, я боюсь, не сегодня, так завтра ее Господь приберет. Больно уж она нежная…

Коррехидор дурную весть выслушал молча. Придется докладывать, что приказ исполнить невозможно. Из-за чрезмерного служебного рвения и старательности дона Гервасио. Нда.

В королевской приемной ожидал еще один проситель: высокий, сумрачный, в черном простом платье. Он поклонился – с неожиданным, едва не куртуазным изяществом, и сразу отвернулся. Беглый взгляд на него оставил у коррехидора смутное ощущение – как если бы он этого сеньора уже встречал, но вот кто он и что – напрочь запамятовал. Должно быть, тоже прожектер вроде дона Кристобаля.

Донна Исабель решила принять коррехидора вперед. Его доклад об исполнении приказа был бы кстати.

…

- Дон коррехидор, вы и дон Гервасио исполняли свой долг, вас я ни в чем не могу упрекнуть. Не ваша вина, что вы не осведомлены обо всех обстоятельствах этого дела. «Оправдание за недостатком улик», в частности, было внесено в дело с излишней поспешностью, и не соответствует истинному положению вещей, согласно которому ни за доном Карлосом, ни за донной Алессандриной не числится преступлений, подсудных кастильскому суду: и он, и она подпали под подозрение в силу злосчастного стечения обстоятельств. Сейчас я попрошу вас позаботиться о донне Алессандрине: пригласите к ней лучших врачей, от себя я пришлю одного из придворных докторов, обеспечьте все, что может потребоваться ей в ее положении. Не исключаю, что я лично навещу ее, когда она достаточно оправится. Посему прошу сообщать мне время от времени о том, как у нее обстоят дела.

Коррехидор откланялся, должно быть, счастливый, что ему не досталось.

С минуту она размышляла, как же себя вести, что сказать. Поймала себя на том, что… боится. Даже попыталась вообразить его, того, что ждал сейчас в приемной, постаревшим. Не сумела, велела просить.

И едва не охнула, когда он вошел.

Он преклонил колена, целуя ее подол. Прикосновение губ к запястью вызвало краткую дрожь. На миг представилось вовсе невозможное: этот человек со знаками королевского достоинства… Прочь, наваждение. Она указала ему на кресло.

- Дон Карлос, я несказанно рада найти вас в добром здравии после стольких испытаний.

Он усмехнулся, устраиваясь на бархатной подушке: с отвычки было слишком мягко и кругло – как болотная кочка.

- Ваше высочество, я несказанно рад, что могу доставить вам эту радость.

Она подняла брови. Дьявол, он возвращал ее в прошлое, в блаженные и опасные дни, когда они играли в Ланселота и Гвиневеру.

- Вижу, и ваша дерзость вам не изменила.

- Прошу простить. Я малость отвык от придворных обычаев.

Он дерзил, но взгляд был полон сумрака.

- Я понимаю. – Она расстаралась улыбнуться – сколь только возможно ласково. – Дон Карлос, прежде всего, я жду от вас рассказа о судьбе насельников форта Навидад, и обо всем прочем, что, по вашему мнению, могло бы представлять для нас важность.

- Ваше высочество, не лучше ли будет, если я изложу это письменно?

- Не лучше, поверьте. Писаные слова подчас лукавят, дон Карлос.

Ей надо понять, что с ним стало. С виду он почти совсем не изменился – разве что вот шрам на виске. А кое у кого останется куда больше шрамов… Ладно. Неужто и душа его осталась в неизменности?

- Как вам будет угодно. Хотя рассказывать, признаться, особенно нечего. Большой ошибкой, Ваше высочество, было посылать в Индии идальго. Новым поселениям нужны работники, а не нахлебники.

- А кем, к слову, были вы?

- Цирюльником.

- Что?

- Цирюльником, костоправом, коновалом – словом, того рода лекарем, к которому тащатся с любым чирьем. А подчас и с антоновым огнем, принимая оный за особую разновидность чирья.

Она невольно улыбнулась.

- Это достойное занятие.

- Это, прежде всего, весьма зловонное занятие. Я до смерти буду помнить вонь отгнивающих пальцев, простите за прямоту. Кто там нужен еще, помимо работников – так цирюльники на все руки, вроде меня. Цирюльники, которые не гнушаются спрашивать совета у дикарей-лукайцев, если им попадается неведовая ранее хворь. Лукайцы, надо сказать, весьма недурные целители. Они изрядно мне помогали, пока наши доблестные идальго вконец их не обозлили.

- Обозлили? Чем?

- Грабежом, Ваше высочество, прежде всего грабежом. Вместо того, чтоб мыть золото – что, я понимаю, нудно и утрудительно – они предпочитали его отнимать. Тогда лукайцы стали отнимать у них жизни. Сперва у тех, кто разбойничал в лесах. А потом они осадили Навидад – и взяли. Потому что в крепости осталось двадцать человек, а их пришло добрых пять сотен.

- Невелика доблесть одолеть пятью сотнями двадцать человек.

- Грабить почти голых дикарей – доблесть еще меньшая. Тем более что золота у них мало. И вообще, золотом эти острова небогаты. Да ничем они особенно не богаты. Хотя сперва и кажется, что угодил в рай земной. Вот это, может, и было единственное подлинное их богатство – райская безмятежность. И та – до времени.

Ей сделалось неловко – как будто он ее стыдил. Также неловко, должно быть, было коррехидору: все, как будто, делал правильно – а виноват.

Стало быть, он научился сносить душевную боль – и без страха ее выплескивать. Таких людей лучше держать в отдалении – но доверять им при этом можно беспредельно. Не странно ли только, что она думает о доверии, хотя кто, как ни он, способен это доверие обмануть?

- Дон Карлос, я могла бы предоставить вам возможность исправить эти невольные ошибки. И если бы вы соблаговолили принять пост на вновь открытых землях…

- Увольте, Ваше высочество. – Сказал он так веско, что для продолжения беседы понадобилось помолчать.

- Что же в таком случае вы намереваетесь делать? Вы еще не стары, полны сил, вашему опыту могут позавидовать многие и многие государственные мужи…

- Если не будет к тому препятствий, я собираюсь совершить путешествие в Венецию…

Она намеренно не дала ему закончить:

- И воссоединиться с вашей супругой, не так ли?

Он покачал головой.

- Ваше высочество… Она моложе меня на шестнадцать лет. И я три года, как числюсь покойником. Я всего лишь хочу убедиться, что она счастлива, что ее жизнь – тем или иным образом устроена…

- А если – нет? Если она хранит вам верность?

- Донна Исабель… Смею думать, я слишком хорошо ее знаю, чтобы на это надеяться, и потом…

- Вы совсем ее не знаете, дон Карлос.

Его будто окатили ледяной водой – так холодно и резко прозвучали ее слова. Затем последовало безмолвие – и в безмолвии на него снизошел страх.

- Вы хотите сказать, Ваше высочество, что все эти годы вы следили за ее судьбой?

- Нет, дон Карлос. К большому сожалению, нет. Но я знаю, что она хранила в сердце любовь к вам. Ибо она совершила величайшую глупость, на которую только и способно любящее сердце. Случайно узнав о том, что вы можете быть живы, она бросилась в Кастилию.

- И была схвачена, как венецианская лазутчица… - одними губами закончил он.

Вспомнилось давнее, явившееся в миг злой досады, видение: крепкие руки королевского экзекутора рвут с ее плеч открытый ворот, стаскивают разодранный лиф до пояса, а тут же рядом ровно дышат мехи возле жаровни, и секретарь покусывает кончик пера...

Когда Анжело узнал о случившемся с Алессандриной, на него нашло оцепенение. Звуки окружающей жизни угасли, краски – поблекли, слова – утратили смысл. Он выслушал уверения огорченного д'Акоста (которым мессер Никколо в досаде стал помыкать, как мальчиком на посылках), что коль Алессандрину не подымали на дыбу, то, стало быть, все члены у нее целы, и она быстро оправится; вытерпел сочувственную болтовню Витторио (тот пытался хоть самую малость его развлечь); вынес неспешный посольский обед.

Жизнь раскололась надвое, как резной помпейский фриз при землетрясении. В прежней были любовь, красота, высокое томление духа, благородство речей и дел, стремления, порывы и ясность; в нынешней – глухое страдание, стыд, боязнь. Как теперь с ней разговаривать? Шутить? Как прикоснуться к ней – если оба первым делом подумают о рубцах – и о корявых руках палачей? Чем клясться ей в верности – если однажды ее предали? Как говорить ей о любви? А где-то таится трус и сладострастник, смазливая мавританская тварь, Иуда – кто ей законный супруг. О, Парки, вы – признанные насмешницы, но это уже не насмешка, а пытка, мука! Вы терзаете ее у меня на глазах, и тем вы терзаете меня. За что? Все хотите проверить, достоин ли я ее? Разве я не доказал, что достоин? Что уж всяко достойнее этого… этого… Дай мне, Господи, силы не прикончить его, если встречу. Потому что он уж точно не достоин смерти от моей руки.

Сквозь смеженные веки сиял чистейший розовый свет. Открыть глаза и слиться с этим сиянием, истаять в нем, исчезнуть без следа. Нет, зачем открывать глаза? Так хорошо…

«Как она?» – как будто знакомый, встревоженный голос. Кто бы это…

«В забытьи, дон коррехидор, но опасность миновала. Я неотлучно при ней, не беспокойтесь…»

«Беспокоюсь не я, как вы понимаете… Скорее, меня беспокоют. Как думаете, завтра-то она хоть очнется?»

«Надеюсь… Ей, по крайней мере, надо поесть…»

«Да уж, вид у ней – краше в гроб кладут…»

«Бога не гневите, дон коррехидор…»

«Бог простит. А Их высочества могут и не простить…»

«Не волнуйтесь, я вполне уверен, что сумею ее выходить. Дней через десять она уже встанет на ноги…»

«Дай-то Бог… Спокойной вам ночи, сеньор доктор Брагамо…»

«И вам, дон коррехидор, спокойной ночи. И не пренебрегайте тинктурой, прошу вас…»

Тяжкие шаги. Веки как будто стали тоньше – чудеса – неужто я таю?

Розовое солнечное пятно на беленой стене. Только то. Что-то защекотало подбородок – меховая кайма одеяла, которым она укрыта. Которым ее укрыли чьи-то чужие руки. Мужские, скорее всего, руки. Наверное, те же самые руки накладывали эти тугие, теснящие дыхание повязки, которые она вдруг ощутила всем телом. И нельзя шевелиться – даже на волос сдвинуться нельзя: будет больно.

«Я не вынесу ни малейшей боли. Нет. Ни за что».

- Вы очнулись, дитя мое?

Она вздрогнула, и боль, точно озлясь спросонок, ползучим огнем занялась под бинтами. Проклятье, как жжет. Как будто на ней живого места не осталось. Она впилась зубами в нижнюю губу, но сдерживать слезы было уже выше ее сил. Больно…

- Ради Бога, простите, я вас напугал… Простите.

Он нагнулся ближе – седой, опрятный старик; тонко пахнуло благовониями от его мехового воротника

- Потерпите, - шепнул одними губами, - сейчас все пройдет. Это я виноват, я вас окликнул, вы вздрогнули. Попробуйте закрыть глаза. И, ради Бога, больше не шевелитесь.

Странно, кажется, это помогло. Ползучий огонь утих, лишь иногда острая искра, жгучий укол боли заставлял ее скрипеть зубами.

- Вам непременно надо поесть, дитя мое. Вы истощены.

Судя по звуку шагов, он направился к двери, или… Нет, он не ушел. Ах, камин… Цоканье огнива, треск. Одышливое пыхтенье мехов… Только не… нет. Бояться нечего. Это такие маленькие, будто игрушечные, мехи, которыми раздувают огонь в камине, а совсем не те, на голенастой подножке, возле жаровни.

Трещит огонь. Что-то кипит. Все так спокойно. Как будто она просто больна. Или даже не больна – смертельно устала. Устала. Смертельно. Надо спросить у него – только бы не соврал – спросить… Нет, в голос не получится. Она шевельнула губами. Распухли. Едва повинуются. «Сейчас… надо заранее. Как это будет по-кастильски: «Меня казнят»? Меня казнят? Так правильно? – кажется, да. Теперь открыть глаза. Когда спрашиваешь о таком, надо глядеть в глаза. Чтобы увидеть – врут тебе или нет».

Он подошел, присел на край постели, баюкая глиняный носатый сосуд. Доктор. Сеньор доктор. «Сеньор доктор, меня казнят?».

Он покачал головой.

Разве она спросила вслух? Или он прочел ее мысли?

- С вас сняты все обвинения, дитя мое. Все обвинения. В вашей судьбе принимает участие сама Ее высочество. Вам только надо постараться выздороветь. И потому я вас очень прошу – даже если вам совсем не хочется – выпить несколько глотков бульона. Отличный куриный бульон на белом вине. И вы будете вовсе умница, если после этого примете снотворное средство.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ,
В КОТОРЫЙ ДОННА ИСАБЕЛЬ ДЕРЖИТ ОТВЕТ ЗА СВОИ ДЕЯНИЯ.

Донне Исабель была хорошо ведома людская неблагодарность. Бережливая что к деньгам, что к благодеяниям, сама с отрочества умевшая довольствоваться малым вспомоществованием, она давно привыкла к тому, что от нее всегда ждут большего, чем достаточное. С чего, любопытно, просители – что знатные, что простые – решили, что расточительность есть первейшая королевская добродетель?

Сейчас, полагала она, венецианцы ни в чем не могут ее упрекнуть: их несчастной соотечественнице носят кушанья с королевского стола, ее выхаживают лучшие врачи. И платит за все это она, Исабель. Нет, ни дону Никколо, ни прекрасному, как Парис, дону Анжело не в чем ее упрекнуть.

Если кто выскажет ей укор, то Алессандрина. Ей достанет смелости даже требовать ответа за тот – и в самом деле, жестокий – обман, за ложное известие о смерти мужа. Ха. Если б только ее обманули. А то ведь и дона Фернандо, и коррехидора дона Ксавьера, не считая уж людей маленьких, вроде Санчи, которую королева наняла хранительницей отобранного в казну кастильо Агилар.

Но только по ней этот обман ударил так больно – и столь незаслуженно.

Ее высочество покосилась на отвесный профиль своего спутника, почти грозный в полумгле крытого возка. Карлос казался спокойным; даже руки в перчатках не стиснуты – просто сложены на коленях. Да, он научился покоряться – чужой воле, обстоятельствам, необходимости, судьбе, наконец. Потому что на ее просьбу (прозвучавшую, как приказ) сопровождать ее в коррехидорию, он отозвался лишь медленным кивком. Отчасти в этом была ее цель – научить его покоряться. Однако печально видеть плоды урока.

Он не мог знать ее мыслей. Он просто отрешился, как учили его лукайские ведуны: если сейчас не в силах превозмочь, отрешись. И то, что он не в силах был сейчас превозмочь, была вовсе не королевская воля – но его вина.

«Что я ей скажу? Что недостоин воздуха, которым она дышит. Недостоин ни одного слова из ее уст. Ни одной ее мысли. И потому не посмею принять ее прощение… Но скорее всего, она не захочет меня видеть, и будет тысячекратно права. Потому что я не знаю, чем искупать иудин грех. И никто этого не знает, кроме самого Иуды».

В светлом, окнами на две стороны, покое крепко пахло травяными отварами. Алессандрина боком полусидела в подушках, ее левая рука с перевязанным запястьем лежала поверх мехового одеяла, на правую она пыталась опираться – и при этом не морщиться. Ее волосы были забраны в свежий чепец. Но сильно осунувшееся лицо казалось белее этого чепца, губы покрывала кровавая корка, и Ее высочеству стоило усилий не выказать явной жалости. Она даже не осмелилась заглянуть Алессандрине в глаза.

Донна Исабель уселась в поставленное у постели высокое кресло.

- Донна Алессандрина, прежде всего я бы хотела вам сказать, что не числю за вами никакой вины, и глубоко сожалею о случившемся с вами. В другом случае я могла бы упрекнуть вас в опрометчивости – в любом другом, но не в этом. Должна прямо сказать, я удивлена и восхищена вашей стойкостью, вашей верностью, вашим благородством. И желала бы, чтоб вы скорее оправились от ран. Как телесных, так и душевных.

- Благодарю вас, Ваше высочество…Ваше участие придает мне силы. – Ее голос бы слаб, но ровен. А взгляд – прям. И дотемна налит тихим отчаянием.

- Донна Алессандрина… - королева позволила себе легчайшую невеселую улыбку, - у вас, должно быть, очень много вопросов – нелицеприятных вопросов. Я готова их выслушать и ответить на них.

- У меня только один вопрос, Ваше высочество… Хотя нет, два. Жив ли мой муж? И где он, если жив?

Ее взгляд не изменился, голос не дрогнул. Наверняка она знает о его предательстве. Вот откуда отчаяние. Донна Исабель на миг ощутила, что сама готова отчаяться.

- Он жив, донна Алессандрина. И он гораздо ближе к вам, чем вы можете подумать. Он за дверьми ваших покоев – вот так близко.

Алессандрина зажмурилась, как от ужаса, и с силой прикусила губу. Кровь окрасила зубы. Донна Исабель испуганно подалась к ней. Но ее уже отпустило, две слезы скатились по щекам, она обмякла, и отчаяние, прежде прятавшееся только в зрачках, проступило в заострившихся чертах, в распухших пальцах руки, выступающих из-под повязки, в тонкой выпуклости ключиц – во всем ее теле, скорчившемся под ласковым мехом одеял.

- Простите, Ваше высочество… Я просто… Господи, почему он это сделал?

- То есть, почему он вас оговорил?

Она только прикрыла глаза в знак согласия.

- Потому что, донна Алессандрина, он к тому времени, как это ни горько, полностью разуверился в людях. И, должно быть, роптал на Господа нашего. Все обстоятельства сошлись против него. Все было против него. Вы скажете – то же самое было недавно с вами? Но вы верили в свою любовь. А ему все стало безразлично…

- И… даже Маргарита? – Алессандрина не удержалась от усмешки.

- Я боюсь, именно она стала последней каплей в чаше его неверия. Женщина, которая из

гордыни отказала ему, любя его безумно. Она умерла от разрыва сердца, узнав, что он женат на вас. Донна Алессандрина, я могла бы многое вам поведать с его слов, но вместо этого я попрошу за него. Я, королева, прошу за него, потому что я никогда не верила возведенным на него обвинениям – даже когда им поверил мой супруг, дон Фернандо, и настоял на смертном приговоре. Я прошу за него, потому что в конце-концов я отыскала доказательства его невинности. И потому, что я спасла его жизнь. Я стала его добровольной заступницей – перед светом, перед собственным супругом, и вот теперь перед вами. Донна Алессандрина, я прошу вас лишь о снисхождении…

- Почему же вы не отпустили его тогда, Ваше высочество? Тогда мне было бы проще быть снисходительной… Я бы, даже, наверное, не поняла толком, в чем он провинился…

- Почему я его не отпустила? – Королева взглянула ей в глаза, миг они испытывали взгляды друг друга на твердость. – Потому что, донна Алессандрина, я полагала себя мечом в деснице Господней.

Алессандрина едва заметно кивнула.

- Донна Алессандрина, я знаю, как велика его вина перед вами. Потому и прошу – лишь о снисхождении, о толике снисхождения, об одном-единственном свидании – пусть оно будет сколь вам угодно кратким, пусть молча. Я даю слово, он подчинится любому…

В ее глазах мелькнули и погасли искры.

- Ваше высочество… Один раз вы уже изволили дать за него слово.

- И тем самым спасла его жизнь, донна Алессандрина. Причем не в первый, и не в последний раз. Должно быть, мне это написано на роду. Но сейчас, мне хочется думать, я спасаю его душу. И я не премину повторить свою просьбу о снисхождении. А если сегодня ваше сердце останется твердым, я приеду сюда и завтра. Потому что ради его души я готова на многое.

«А ведь королева искупает свою вину. Она виновата перед ним. Не признается толком, но виновата. И она искупает вину. Если б только не было так… страшно его увидеть. Страшно. Вид мертвой любви ужасает. Почти как вид мертвого ребенка. Я – калека, что ему во мне? Он – предатель, что мне в нем? Кто мы друг другу? Мы – как семья, где отец по глупости убил ребенка; мы стоим над мертвым телом; мы бы оба хотели упасть на мертвое тело и дать волю рыданиям, но мы боимся даже случайно коснуться друг друга».

- Ваше высочество, мне было бы очень стыдно заставлять вас приезжать сюда повторно. Ваши доводы трижды убедительны, просто мне не хватает решимости. Но я готова принять его завтра. И выслушать…

- Сегодня. Донна Алессандрина, пожалуйста – сегодня. Сегодня, сейчас. Потому что – кто знает – что случится завтра. Печальная судьба Маргариты – тому пример.

Донне Исабель было почти стыдно: Алессандрина заметно устала, и лицо ее приняло выражение безнадежной отрешенности… точь в точь, как у Карлоса.

- Хорошо, да будет так, сегодня. Вы правы во всем, Ваше высочество.

…

«…Я недостоин воздуха, которым она дышит. Недостоин ни одного слова из ее уст. Ни одной ее мысли. И потому не посмею принять ее прощение… Потому что я не знаю, чем искупить Иудин грех. Этого не знал и сам Иуда. Оттого и повесился. А я до конца дней моих замурую себя в собственной вине».

Дверь медленно отворилась, выпуская донну Исабель.

- Идите, - сказала она одними губами, - вас ждут.

Он придержал дверь и шагнул через порог.

Он едва различил ее на подушках – словно она таяла, обращаясь в призрак. Жили только глаза – черно сияли от боли.

И он увидел себя – в ее глазах, ее глазами: он двоился: Карлос, который целовал ее на сходнях после венчанья – и Карлос, который под взглядом коррехидора выискивал в ее письме строчку, хоть отдаленно походящую на условный знак.

Она с протяжным вздохом спрятала лицо, не в силах видеть ни того, ни другого…

- Алессандрина, - тихо позвал он. Она не пошевелилась, конечно.

- Алессандрина,- было сладко повторять ее имя, вслушиваться в его хрустальную нежность, - я не стану вымаливать у тебя прощение. Ты сама меньше всего этого хочешь, верно? Единственное - единственное, что я могу для тебя сделать – постараться тебя вылечить. Рубцы будут почти незаметны. А дальше – я поступлю так, как ты мне велишь…

Пала тишина, ее тревожили лишь их дыхания.

Сперва он подумал, что ослышался. Но нет – она смеялась. Едва слышно, сквозь всхлипы, смеялась в подушку. Вздрагивала от боли и смеялась.

Потом повернулась, вся в слезах, и уставилась на него, пытаясь согнать с губ и без того слабую улыбку изумления.

- И Ее высочество еще просила меня о снисхождении… А ты взял да сделал из меня дурочку…

- Слава Богу, не покойницу… - тихо ответил он, - но ты не сказала, согласна ли…

Это было похоже на опрашиванье при венчании; оба вздрогнули, прежде чем она уже совсем едва слышно ответила «да».

Седой доктор Брагамо сперва смутился, узнав, что у него появился добровольный помощник – однако имя Хенаро Торреса оказалось ключом к его сердцу. Впрочем, невзирая на это, он засыпал дона Карлоса каверзными вопросами по медицине и целительству. И многозначительно цокал языком, когда испытуемый затруднялся с ответом.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ,
В КОТОРЫЙ АЛЕССАНДРИНА НЕЧАЯННО УСТРАИВАЕТ ДЛЯ АНЖЕЛО НЕПОСИЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ.

- А вот сюда бы уже пиявки, как думаете, доктор Брагамо?

- Из твоих рук – хоть гадин злоязвящих.

- Дитя мое, вы и сами, надо заметить, довольно-таки зло язвите – чего дон Карлос, как мой помощник, по моему мнению, не заслужил.

- Не смеши меня, а то ведь выроню склянку – и потом придется по всем щелям их собирать.

- Ты сам говорил, что если и есть на свете панацея – то смех.

- Но ведь смеяться-то прописано тебе, Алессандрина.

- Ну так смеши.

- Тогда пиявки не сядут, если будешь смеяться. Они –создания чрезвычайно нежные и чувствительные. Посмотри вот. – Он выловил одну из скляницы щипчиками. Голодная пиявка сжалась в маленькое веретенце.

- Изверг!

Она затаила дыхание – напрасно; это оказалось скорее щекотно, чем больно.

- Тебе надо бы укрыться. Им вольготнее в темноте.

- А по постели они не расползутся?

- Нет. Как наедятся – отвалятся, не в силах пошевелиться, и все.

- Ладно, коли так.

Время уже подходило, а он все пребывал в тоскливой растерянности. Как одеться? Надо ли, войдя, улыбнуться, будто ничего не случилось, или лучше лицу быть сочувственным? Как и о чем с ней заговорить? Если она примется плакать – то как ее утешить? А если, Господь не приведи, расплачется он? И еще этот… Как спросить об этом, о ее так называемом супруге? Ведь придется. Так или иначе – придется. Проклятие.

Витторио снизу крикнул, что носилки поданы. Он так ни до чего и не додумался. Да

поможет ему его любовь исцелить ее душу – как до того помогла спасти ее жизнь.

Ее высочество держала слово: отведенные Алессандрине покои, несколько просторных смежных горниц под самой кровлей коррехидории, не наводили никаких мыслей о тюрьме. Окажись иначе, он бы настоял на том, чтобы перевезти ее в посольство.

Ему отворил седой доктор; за его спиной возле очага докторский, должно быть, ученик, старательно тер что-то в ступке. В воздухе крепко – но не удушливо пахло лекарственными отварами; сквозь этот запах пробивался пряный дух какого-то кушанья. Все это внушало надежду, и он невольно уверился, что увидит ее едва ли не вставшей на ноги, чуть ли не в платье.

Но нет, она лежала. Он едва узнал ее – похудевшую, в чепце, какие она всегда презирала, до подбородка укрытую легкой пеленой – даже руки не выпростаны поверх. Она улыбнулась – неузнаваемой, медлительной улыбкой, точно не была уверена в самом своем праве улыбаться.

Анжело пал на колено, и коснулся лобзаньем края ее покровов.

- Как мне тебя благодарить? Ты спас мне жизнь, Анжело…

- Не благодари, разве я мог иначе?

- Я поглагала, ты не решишься нарушить мой запрет. Я не знала тебя, выходит. Прости.

- Я и сам себя, кажется, не узнаю. Твой супруг жив, ты знаешь?

- Да. Мы виделись.

- И? Что он?

- Он… сильно изменился.

Ему показалось, что она улыбается.

- А ты? Что будешь делать ты?

- А что бы ты хотел, я сделала?

Анжело осекся. Казалось, сейчас надо сказать ей – он имеет право, он спас ей жизнь – отвергни его, откажи ему в себе, как ты это умеешь, как едва не проделала этого со мной! Пусть отмаливает свои грехи в отдаленной обители, или пытается забыть их в разврате – что угодно, только бы не стоял между нами страждущей тенью. Но он не посмел.

- Я бы хотел, чтоб ты была со мной до гробовой доски, Алессандрина.

- Ты уверен, что хотел бы этого?

Ее голос звучал странно. Он звенел, как перетянутая струна: казалось, она спросила о гораздо большем, нежели можно вложить в эти несколько слов.

- Если ты полагаешь, что меня смутят твои… смутит то, что тебя…

- Это уже тебя смущает, не так ли?

- Нет! Я просто страшусь при тебе называть эти… вещи своими именами.

- Или страшишься сказать про меня, свою нареченную – что меня пытали? Ибо тебе представляется, что Алессандрине Адзанте д’Эльяно-и-Агилар, маркизе Морелла, такие ужасные слова, как экстраординарный допрос, бичевание, раскаленная шина – не к лицу?

- Алессандрина, что ты пытаешься сказать? Я люблю тебя – кажется, я доказал это.

- Ты уверен, что любишь меня? Меня, которая лежит перед тобой, не в силах пошевелиться?

- Но ведь твоя болезнь не навек!

- Нет. Но рубцы – навек, Анжело. Память – навек. Ты уверен, что я нужна тебе – такая?

- Хорошо… Покажи мне эти…

- Рубцы? Изволь.

Она осторожно откинула пелену.

Меж ее грудей багровел глубокий косой ожог; он источал сукровицу, подсыхавшую желтоватыми корками, и его венчиком окружали крупные, уже едва шевелящиеся от сытости пиявки.

- О, Боже… - он заслонился.

- Господь наш, Анжело, не брезговал ранами.

Она укрылась. И взгляд ее стал безжалостен.

- Ты несправедлива! Тут всякий ужаснется.

- И почти что всякого передернет от отвращения, Анжело. Подумай, до конца жизни с тобой я буду помнить, как при виде моих увечий тебя передернуло. Но при этом знать, что этой самой жизнью я обязана тебе…

- Что же, ты выберешь предателя?

- Я могу и вовсе не делать выбора между ним и тобой. Я могу до конца жизни остаться Кастильской вдовой. Со временем я возьму под свое покровительство сиротский дом, выберу изо всех самую смышленую сиротку, и отпишу ей мое имущество. Вполне достойная жизнь, не так ли?

- Ты неблагодарна… - вырвалось у него.

- Прости… Я опасалась чего-то подобного, потому и не позволила тебе сопровождать меня в Кастилию. Ты, верно, уже понял, что я не люблю быть обязанной. Я предпочитаю одалживать, чем делать долги. Но если уж говорить об обязанности и благодарности, Анжело: такой, какой ты меня встретил, и полюбил, я стала только благодаря моему супругу. Потому что будь я просто девица Адзанте, пусть и получившая чудом наследство, едва ли бы ты посмотрел в мою сторону, ведь правда?

Он одним махом поднялся. И, не кланяясь, выскочил вон. Доктор и его помощник, теперь оба занятые ступками, разом подняли на него глаза. Помощник. Лицо с портрета. Ее муж. Проклятье!

Тот встал – рослый мужчина с воинской повадкой. Оружия при нем не было. Испятнанные порошками руки – опущены. Он был готов принять удар. Любой – что словом, что кулаком, что, должно быть, клинком.

Анжело предпочел плюнуть. И вышел, чтобы не глядеть, как тот утирается.

Доктор Брагамо рассыпался ему вслед меленьким смешком: плевок угодил в стену.

- Слава Богу, не в ступку. – Без улыбки отозвался Карлос. – Вот это, согласитесь, было бы обидно, не правда ли?

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ,
В КОТОРЫЙ КНЯЗЬ АНЖЕЛО СКЬЯВОЛИ ОБРЕТАЕТ ОПОРУ В ЖИЗНИ.

«Неблагодарная, неблагодарная!»

Он даже не сразу понял, что задержавшаяся у его стола красавица обратилась к нему – «Сеньор!», и еще какой-то кокетливый вопрос. Потом резко ответил ей, что не понимает по-кастильски. И тут, среди свечного чада, брани, вони, она перешла на латынь. На смешную высокопарную латынь! «Мой господин, я лишь хотела спросить, не нужно ли вам утешение на ночь?». Мой Бог! От нее так и несло пороком – и темной угрозой: может, виноват в этом был смуглый цвет лица, столь искусно подкрашенного, что он бы поостерегся гадать о ее летах. А может быть, он чуял в ней двойное дно: не заведет его эта утешительница в притон к разбойникам? Не опоит ли зельем? Не продаст ли в рабство? Наверное, он, на ее взгляд, стоит того.

- Утешение? Да, мне не помешало бы утешиться, госпожа. Изволите ли для начала разделить со мной чашу? – он кивнул на уже ополовиненный кувшин вина. Его тянуло поиграть со смертью после того, как он проиграл любовь. Они выпили, представились друг другу – она назвалась Хуаной, «как ее светлость госпожа принцесса». Он не стал скрывать ни имени, ни титула, ни подданства.

Потом она долго вела его проулками и задворками, пока они не оказались в каком-то старом, поди еще при маврах строенном доме, в увешанной коврами каморке с тонконогими многоугольными столиками и широким ложем. Вино, которое он до того пил, как воду, размягчило его сердце – и распалило. Хуана, пританцовывая, разоблачалась – кастильские одежды спадали, под юбками оказались шальвары, открывавшие восхитительную округлость

живота; спелые груди манили подведенными киноварью сосцами; он припал к ним, с удивлением ощутил медовый привкус какого-то притирания, не отрываясь, обхватил ее бедра, поднял, уложил ее на мягчайшие перины. И с ним сделалось странное. Кто бы ни была эта кастильская шлюха, что бы она ему ни уготовила поутру – сейчас, в ночи, ему стало ее нестерпимо жаль; он почувствовал себя утешителем; и всю нежность, которая годами в нем росла, предназначаемая той… той… Господь с ней, не стоит памяти – Хуана, ты заслужила мою нежность всем твоим существом!..

…

Хуана плакала. Даже – верней было бы сказать – лила слезы, которые сбегали по ее смуглым щекам, пятная кожу потеками черной басмы и ляписа. Анжело с трудом преодолел сладостное изнеможение, в последний миг вспомнил, что говорить с ней надо на латыни.

- Я тебя обидел?

- Нет, мой господин… Вы были так… так трепетны…

Он смутился. Подумал-было спросить, сколько он ей должен – верно, немало: ее жилье богато обставлено, а сама она искусна не только в любовных играх, но и в притворстве, какого все ждут от шлюхи, но редко когда дожидаются. И спросил о другом:

- Тогда что же, Хуана? Что тебя так расстроило? Быть может, я кого-то тебе напомнил?

Она безмолвно закрыла лицо руками.

Шлюх не стоит спрашивать об их прошлом, по крайней мере венецианских – они всегда лгут. Говорят, что их первым возлюбленным был богач или знатный рыцарь, «столь красивый, сколь учтивый и щедрый». Из прихоти он решил испытать Хуану: кого назовет первым возлюбленным кастильская шлюха? Хотя она так хороша собой, что, возможно, и впрямь начала свой путь с ложа какого-нибудь идальго. Жил же один местный король с еврейкой, и влюбился же однажды этот ублюдок, маркиз Морелла, в купеческую дочь.

- Я похож на твою первую любовь? Прости за это.

- Вы похожи на мою единственную любовь, мой господин. Так похожи, что я едва не назвала вас его именем – но это худшее, что может сделать женщина в постели, даже хуже, чем рассмеяться.

Он едва не хохотнул. Худшее, что может сделать женщина в постели… О, нет, далеко не худшее, если судить по вчерашнему.

- Что же с ним стало, если вы так горько плачете? Если он оставил вас – то стоит ли он ваших слез?

- Я погубила его, мой господин… И с тех пор я пытаюсь искупить свою вину – утешаю тех, кто нуждается в утешении. Мужчины, с кем я провела ночь, наверное, полагают меня развратницей, но мне это безразлично – главное, чтобы они вышли от меня утешенными, чтобы они вышли от меня мужчинами в сердце своем. Мой господин, у каждого есть мечта о женщине – я стараюсь, сколь могу, исполнить эту мечту.

- Неужто вы были жестоки к вашему любимому?

- Я была безжалостна, мой господин… Вы думаете, я довела его до монастыря или до солдатчины – как это обычно водится у гордячек? Если бы.

Она сглотнула.

- Я убила его. Он спас мне жизнь, а я свела его в могилу.

Ему вдруг послышалось, как те же слова скажет однажды Алессандрина… Нет уж, он не позволит свести себя в могилу.

- Мой господин, я могу рассказать вам свою историю. Она длинна, но она уже истомила меня до крайности, а у нас еще много времени до рассвета. И потом, вы тронули меня до глубины души… И это дает мне надежду, что вы меня поймете. Только поклянитесь мне молчать обо всем, что услышите, потому что мое искупление еще не завершено.

- Клянусь.

Он выслушал ее, осушил поцелуями ее слезы (к тому времени сквозь цветные стеклышки окна стал сочиться свет, нежно подкрашенный розовым и зеленым), уговорил

вздремнуть, прилег и сам – но сон не шел.

Она еще взяла с него клятву молчать!

Ну чтож. Сердце, уязвленное любовью, да исцелится справедливостью, в которой – и только в ней – он будет искать отныне свою опору.

Он оделся, долждался, пока зазвонят к заутрене, на цыпочках вышел из спаленки, едва не заблудился в коридорах и каморках, но, наконец-то, выбрался на улицу, совершенно неузнаваемую в сиянии утра. Пришло-было в голову сходить в церковь, укрепить душу молитвой. Но решил, что обойдется, вознеся молитву в сердце своем, и зашагал к ближайшему перекрестку в надежде встретить дозор городской стражи: надо было справиться о кратчайшей дороге в коррехидорию.

MCMXCIX—MMV
(1999 — 2005)